

ЮРИЙ ДАВЫДОВ

# БЕСТСЕЛЛЕР

A red-tinted photograph of a modern interior. In the foreground, a spiral staircase with a dark railing descends from the right towards the center. In the background, a large oval mirror reflects a brightly lit room with a white wall and a dark piece of furniture. The overall atmosphere is dramatic and contemporary.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

ЮРИЙ ДАВЫДОВ

# БЕСТСЕЛЛЕР

РОМАН

*Книга первая*

МОСКВА

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1999

*Посвящается С. Тароциной*

*Издание осуществлено при содействии РОСБАНКа и  
Академии русской современной словесности (АРСС)*

Давыдов Ю.

**Бестселлер. Роман. Книга первая.** – М.: Новое литературное обозрение, 1999. – 320 с.

Для нового романа известного мастера исторической прозы Юрия Давыдова, автора «Марта», «Глухой поры листопада», «Зоровавеля» и многих других полюбившихся читателю произведений, характерен интерес к прошлому в его неразрывной связи с настоящим. Автобиографические мотивы, мемуарное начало сочетаются здесь с художественно-документальным исследованием феномена предательства. В центре романа – фигура В.Л. Бурцева, знаменитого «охотника за провокаторами». Перед читателями проходят такие исторические лица, как Азеф, Роман Малиновский, Ленин, Сталин, агенты охраны, революционеры, приоткрываются малозвестные факты, проливающие неожиданный свет на до сих пор подернутые завесой тайны события российской истории XX века.

Роман «Бестселлер» (книга первая), первоначально опубликованный в журнале «Знамя», удостоен Большой премии имени Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности (АРСС) за 1999.

**ISBN 5-86793-079-3**

© Ю. Давыдов, 1999

© Художественное оформление. Новое литературное обозрение,  
1999

*Дело, кажется, идет к тому, что скоро романом будет считаться все, что угодно, но только не сам роман. Впрочем, может быть, это всегда так и было.*

Томас Манн

*Слова: прошедшее, настоящее, будущее — имеют значение условное и переносное.*

П. Вяземский

---

В прихожей шубу надевал старик. Я поклонился. Он сказал:

— В соседней лавке — четвертинки.

Не стану вас томить, сейчас все объясню.

Коммунистическая ул. стремилась к Дому творчества.

Творили в Доме по мандату долга, а кое-кто — по совести.

Приехал я в Голицыно. Автографы меньших собратий янтарно метили сугробы. Торчали палки выше елок. И это значило, что радиоантенны — знак цивилизации, а елки-палки — черте что. Поземка слизывала след. Семен Израилевич Липкин прав: есть мудрость и в уходе без следа. Но прах меня возьми, охота наследить в литературе.

А вот и Дом. Он зажигал огни, как пароход; большая застекленная веранда казалась рубкой. Робяя мэтров, я вошел в прихожую. Там шубу надевал писатель Виктор Фи-к. Четвертинки! Не надо усмехаться, господа. Он дал мне направление, где булькает Кастальский ключ, источник вдохновенья. Отнюдь не западный, а коренной, калужского или рязанского разлива.

Чернила ж были марки «Мосбытхим». Работать надо, а не плакать, хоть на дворе февраль. А вечером ступай к застолью. Умный монархист Шульгин сметал съестное дочиста, как зек перед отправкой на этап. Потом они с Виктором Фи-ком, иудеем, имели дружелюбные беседы; казалось мне, старик Василь Витальич позабыл свой роковой вопрос: чего нам в них не нравится... А рядом опрятные старушки вычисляли, кто спал с поэтом имярек тому лет сорок. Засим, мечтательно зевнув, определяли — таблетки эти до еды иль перед сном?

---

Давно уж написал я очерк «Бурный Бурцев». Никто и ухом не повел. Несправедливо! Врагу спецслужб веревку мылили и монархисты, и коммунисты, и нацисты. Казалось бы, передовое человечество мой очерк примет на ура. Так нет, молчок. Обидно!

Имеет каждый век свою черту, заметил хитроумный француз-энциклопедист. А Пестель слямзил, и все решили, что Пал Иваныч в корень зрит. Приоритеты не моя забота. Но дело здесь серьезное. Наш с вами век, он тоже наделен чертой: Христос — лишь догмат, Иуда — руководство к действию.

Ваш автор приступил к работе, блуждая по кривым дорогам февраля. В положенные сроки ударила капель. И это означало: запрягай коней. И отворяй ворота. А ежели без аллегорий, наготове романские зачины.

Прошу взглянуть.

*«Цыплячья грудь и толстый бас у козлоногого Свердлова. Коба на него серчал. Оба ударили за актрисой. Сей треугольник воочию увидел Бурцев».*

*«То в кибитке, то пешком переместился Пушкин с Кольмы на Енисей. На крутояре монастырь стоял. Лествица вела на колокольню. Студила студа, был слышен шепот звезд, огромной полынью дымился Млечный путь, и там витал Васёна Мангазейский, рубаха распояской, босоногий. А умерт-*

---

вил Васёну не кто иной, как Пушкин, и Бурцев это знал».

*«В Париже, в отеле Дье, был госпиталь. Там умирал Владимир Львович Бурцев. В антоновом огне слились начала и концы: Гвоздь плотницкий с креста Христа и маленький кривой сапожный гвоздик... Похоронили старика близ православной церкви, где был священником отец Илья, мой лагерный товарищ».*

Пора бы, кажется, и в путь. О, эта робость. Но тут все глянет нарочитым. А между тем всего лишь факт биографический. В кануны первой мировой писатель Фи-к жил в Париже. Эмигрант и журналист. И он, представьте, был Бурцеву сотрудником в издании газеты. Как было не прочесть отрывки из обрывков?

Смеялся мэтр, мой сосед: «Заладил лад баллад». Смахнул слезинку и принялся пихать табак в чубук. Зарезал без ножа.

В тот день обосновался в Доме Ю. Олеша. В клозете по утрам не пел, но мне, конечно, не завидовал. Не позавидуешь тому, кто с вилами на рифмы прет, а сам, на грабли наступая, ищет ритмы. Занятие опасное, оно чревато аритмией.

Пример мой — всем наука. На «скорой» увезли в реанимацию.

Там смерть юрит воровкой.

Меня загородили ширмой, и я лежал в долине Дагестана с винцом в груди. В день без числа разорвалась завеса. Ни дать, ни взять клеенка или коленкор. Исчезла ширма, явился НЛО. Но вовсе не предвестием антихриста. Нет, братцы, текстом. От альфы до омеги; как говорится, целокупно, а главное-то вот: за выслугою лет уволен Хронос; все в настоящем, как эта капельница, и это смертное шурх-шурх, и жаркая долина Дагестана.

Синюшными губами я шептал: «Продли мои земные дни». Он вял и повелел: «Ступай».

В слиянье Бронных, Большой и Малой, два анста, воздевши  
кловы, вторили Вергинскому: «Я ма-а-аленькая балерина». У  
ресторана приседали лимузины, таков индустриальный кник-  
сен. В витрине бутика мадам надменна, будто бы не манекен, а  
манекенщица. А дальше уж моя парадная при всем параде —  
лохмотья пакли, дохлая пружина свое бессилье превозмочь  
не может. На лестничной площадке напрудил Толик-алкоголик.  
Ура, я дома!

И никаких застолий. Тотчас к столу.

А ты, читатель-друг, а также и читатель-недруг, откупори  
бутылку пива и перечти, пожалуйста, эпиграф.

---

На улице Сен-Жак... Не правда ли, хорошее начало? Оно лас-  
кает слух привычной беллетристикой... На улице Сен-Жак в  
невзрачном доме жил парижанин Анатоль, такой же алкого-  
лик, как наш московский Толик. Но Анатоль, страшась консь-  
ержки, угрюмой тетки (в Париже тоже тетки есть), не напру-  
дил на лестничной площадке.

Скажу вам сразу, Владимир Львович Бурцев любил Рос-  
сию и потому почти всю жизнь прожил в Париже. Гонясь за  
дешевизною, менял он адреса. Но оставался позтажный запах  
лука и жареной селедки. А дух квартирный был керосинно-  
типографским. О мебелих не стану — их историческая роди-  
на какой-нибудь блошинный рынок. Три с минусом, не так ли?  
Оно бы так, но фотографии на белой стене! Никто в Париже  
не имел такой коллекции: агенты-провокаторы, творцы гря-  
дущей революции, по совместительству ее могильщики.

Противодействовал В. Л.\* В департаменте полиции, в доме  
на Фонтанке давно он значился как сын штабс-капитана и бег-

---

\* Здесь и далее имя и отчество Бурцева иногда обозначается литерами: В. Л.

Здесь и далее авторские сноски обозначаются литерами Д. Ю. Ибо из Ю. Д.  
возникает звук почти неприличный.

лый каторжник. Сказать точнее, сукин сын. И было удивленье, скрытно-уважительное: уникам! Оно и верно, кому вподым срабатывать такое без штата и вне штата? Рассказывать нет нужды, он сам когда-то рассказывал о всех перипетиях. Читайте, тошно станет.

Так вот, портреты. Злодеи в узкобортных тройках, усы ухожены, а трости с инкрустацией и без. Одни напряжены, как в поисках, где справить второпях нужду; другие напряженно раскрывают секрет фотографических процессов.

И вдруг ты цепенеешь. В простенке между окнами портрет размером больше прочих. Ага, Азеф! Губасто-мокрогубый, извиняте, масляное масло. Низколобый. Подстрижен ежиком. Покатая плечистость. Едва не лопнет от натуги крахмальный воротничок. Всё вместе — биндюжник и его бугай.

Азеф — всемирного масштаба обер-иуда. Вариант фамилии — прошу заметить — Азиев. Его портрет имеет сходство — см. «Портрет» — с ростовщиком, которому наш добрый Гоголь придал черты малоазийские, то есть жидовские. Азеф-Азиев и этот ростовщик имеют общность выраженья глаз. Что в зеркале души? Тайнственная страсть к предательству. У, молчаливый ген, который притаился в каждом.

Бурцев, усмехаясь, повторял: «А мне, ей-ей, не страшно». Его и Леонид Андреев не пугал. Нисколько. Поскольку тот ему писал: «С великим интересом, порою прямо-таки с восторгом, смотрю, как вы идете по этому зловещему маскараднему залу, где все убийцы и мерзавцы наряжены святыми».

Андреев думал об Иуде. Бурцев — об иудах.

А г-н Неймайер то бишь Азеф, вопрос ребром поставил: Иуда был, но был ли он иудой?

Случится посетить Неаполь, рекомендую отель «Британию».

Едва выходишь, как убеждаешься: вулкан дымится. Имеется в виду — и умозрительно, и визуально — известнейший

Везувий. Мне не забыть, как Франс, который Анатолий, неосторожно воскурил вулкан. В рассказе «Понтий Пилат». А ведь во времена Пилата, пусть и позднего, Везувий-то еще не раздражили. У Анатоля Франса промашка вышла. Не столь уж крупная, по-моему. И все же следствие — утрата моего доверия. Рассказ-то сочинил он ради одной строки. Дряхлого Понтия, бывшего римского прокуратора, спрашивают о распятом еврее из Назарета, а бывший столп империи... Франс его не портретировал, а потому и сообщаю, что этот Понтий был с челкой из висюлек, похожих на охотничьи сосиски; глаза имел белесые, размером — яйца третьей категории; живая копия тех римских бюрократов, изваяния которых видишь в музейном зале, коли приходишь не затем, чтоб закусить бычком в томате... Пилата, повторяю, спрашивают об Иисусе, каратель же, поморщив лоб, ответил, что он, хоть вы его убейте, такого не припомнит. Причиной не маразм, добро бы так. И не то чтобы Пилат вторично руки умывал, это бы куда ни шло. Автор дает понять, что Распятый всего-навсего еврейский агитатор-пропагатор, а таковых всегда в еврействе много, всех не упомнишь. Вот это он имел в виду, французский Франс. Ан нет, не веришь автору. Какое может быть доверие, коли слевшил в детали, про вулкан-то?!

Потом поправку внес: нет, не дымил Везувий, он «смеялся». И все, нас уверяет Франс, остались им довольны. Поди-ка угадай, где пышку получишь, а где синяк набьешь. Горький щегольнул: «Море смеялось» — досталось на орехи. А между тем, оказавшись на корсо Витторио, вы увидали бы не только вулкан, но и залив — смеется солнечная рябь. На горизонте — абрис, сизый абрис острова. А там, конечно, Горький. Там и Андреев. Он размышляет об Иуде.

---

Какая пудра, голубая эта пыль. И тусклый запах захолустья — горящий с треском хворост, навоз иссохлый да клок верблю-

жьей шерсти. Иуда был из Иудеи. (А все другие ученики Христа из Галилеи, и в этом потасенный смысл.)

Родил Иуду некто Симон. То было в Кариоте-городке. Отсюда: Иуда из Кариота, Иуда Искаротский. Как Житомирские или Бердичевские. Да и такие, прошу прощенья, Вяземские или Шуйские.

Но Житомир и Бердичев, Шуя и Вязьма хоть и не всегда на карте генеральной обозначены кружком, а все же как-то обозначены. А Кариот... Его, гм-гм, нет в текстах Ветхого Завета, но есть в Евангелии от Иоанна. С меня довольно. Скажите, вы встречали, например, Кандер? Однако Искандер встречается на презентациях в Москве. У нас, на Каменноостровском, в Петербурге, жила Надежда Искандер, дворянка; притом потомственная. Прибавлю: в том же доме, что и свитский генерал Джунговский. По слухам, сей красавец состоял в опасной связи с высокородной дамой, ее убили на Урале, он сгинул на Лубянке, но это здесь как будто б лишнее.

Следите за Иудой. Он домоседом быть не мог, как всякий коммивояжер. Он Палестину видывал от края и до края и пальмовую ветвь задумчиво не вопрошал, где та росла, но все ж поглядывал на придорожные каменные столбы с изображеньем указующей руки. Шли пастухи в плащах верблюжьей шерсти, в сандалиях на натруженных ступнях. Шли не по-нашему: ведущими, а не ведомыми. А позади скотины — сторожевые псы. О, кротость осликов. Невольно вспомнишь въезд в Иерусалимские врата, что рядом с Рыбным рынком, — гравюра называлась «Шествие на осляти», гравюру в «Ниве» рассматривали умиленно под дачной лампой-молнией, а добрый майский жук жужжал, жужжал... А это окликанье отары? Нет, не по-матерному, как в ГУЛАГе женскую бригаду, а каждую овцу по имени, и слышишь хруст и теплое соленье в яслях. Но не забудьте жертвоприношения — в тот час ягнят ведь тоже окликали поименно... Зной дней струился длинно; ночь обжигала скулы холодом. Звезда с звездой не говорила — созвезд

дья молчаливо слушали беседы человек у костров, просто-народные беседы на арамейском. Шакалы падали окрест шатров. Но вот светает. У водопоя не соблюдает очередность поголовье, влажны следы копыт. На ослике или на верблюде, случилось, и пешком Иуда продолжает путь.

Иуда, повторяю, иудей. А иудей, сказал бы вам любой еврей, куда как падох на барыш. О том, что брал сребреники, знают все. Но он не отвергал и драхмы, и динарии. Что до таланта, то в землю он талант не зарывал. В залог же брал все, что угодно, за исключением жерновов (нельзя ведь бедолагу оставлять без хлеба), не брал и вдовье платье (нельзя несчастную оставить в ужасной нагоде ее). Не будь Искарיות Иудой, а также иудеем, мы были бы вправе поставить его выше той карги-процентщицы, что в Питере жила, в Кузнечном переулке.

Итак, день ото дня спускался он с гористой Иудей в Галилею — в живую зыбь полей пшеницы, в веселый вздор ручьев, в недвижно-сизую туманность оливковых садов. Едва сквозь марево проглянет глинобитный городок, как возникают виноградники. Их гроздья тяжелы, как груди у Юдифи, Иуда ощущал истому в чреслах. Однако, что ж скрывать, нет, не Юдифь делила ложе с ним.

Кто же? Мне Голованов указал: «Вероника». А Голованов кто? Москвич и дед соседа моего. Но про это и про то речь впереди.

Поговорим о сексе. В Стране Чудес он будто бы отсутствовал, в Стране ж Обетованной он присутствовал. Афанасий Фет воспел златоволосую еврейку. Понизив голос, сообщил, что и Христос отлично сознавал, «как увлекательно паденье». Но это вот «паденье» не лучше ль представлять пареньем?

Танцовщицы спасали мир красою сладострастья, изгибом бедер, движеньем ног, сплетеньем рук, благоуханьем благово-ний, усиленным — простите прозаизм — обильным потом. Он — следствие вполне земных усилий, и это придает мне смелость, продолжив тему, задержать ваш взор... Нет, Магда-

лину — богословам, а мы замолвим слово за бедняжку Саломию. Она была сопутницей Учителю. Увы, в библейском тексте она лишь мельком упомянута. Написан текст мужской рукой. Ночным светильником, дневным светилом озарена крутая власть патриархата. О, феминистки правы: жаль, что ни одна фемина не была мемуаристкой, то бишь в известном смысле евангелистом; тогда б Иисус из Назарета, исторический Иисус предстал нам... Однако умолкаю. Страшусь вчерашних атеистов, которые из коммунистов, такие, знаете ль, ханжи, что вон святых: глядишь, и на костре сожгут.

Иуда может оставаться. Сын Симона отнюдь не свят. Святые не краснеют; Иудушке, как вам известно, случалось покрываться краскою стыда.

Искарriot, представьте, изменял своей законной Веронике. Ох, шеи лошадиной поворот, и плоскостопость, и иссушенность деторождением. И уж, конечно, нервы, нервы, нервы. А вот Юдифь, позвольте доложить, была созревшей штучкой ерусалимской. Признаться, вислозадой, зато уж груди тутие и тяжелые, как гроздья виноградника за Силоамским прудом.

Прелюбодейке нравился прелюбодей. Иуда ведь еще уродом не был. Уродом вышел много позже — на фреске Джотто ди Бонде. Да, «Поцелуй Иуды». А нуте-с, вспомните Азефа. Прежде, до того, как Бурцев-то извлек его из мутного кровавого потока, говаривали: «Какие чистые, какие детские глаза!» А уж потом он стал урод, как на картине Джотто. И потому нам следует признать бесстрашие Нагибина, покойного писателя. Увидел он в Иуде, в форме головы большое сходство с головою пса, но пса добрейшего. Уж не намек ли на собачью преданность хозяину? Засим он указал — не пес, конечно, а художник — на то, что ноги у Иуды были не только хороши, но и опрятны. Уж не намек ли? — мол, и ему, Искариоту, Мария Магдалина омывала нижние конечности... Я отвергаю богохульство. И предлагаю, как, впрочем, и всегда, самостоятельную версию: наложница Юдифь была и педикюршей.

Еще прошу заметить, что обладатель прекрасных ног не знал мозольных мазей. И пахло от него — Нагибин прав — духмянным разнотравьем. Однако знатоку природы не худо было бы дать нам справку — не мятой пахло и не анисом, нет, иссопом, красою Палестины.

Но полно, пора насторожиться: «Чу!» То не рога трубят, а каменные колокольца брякают. Трубят, как воют, однажды в полстолетия, и это называют юбилеем. Искарниот же возвращался в Кариот гораздо чаще.

И вот вопросы: где, на каком ночлеге его пробрал грядущей жизни смысл? Знаменье было иль не было знаменья? Искал ли он Христа иль сам Христос нашел его?

Все это крайне важно. Но и опасно в крайность власть. Не лучше ли в белесо-голубеющем, в зелено-желтом с черными тенями просторе всласть растянуться под добротворною смоковницей у речки Иордан? Она не шире нашей Яузы, но чище, хоть сейчас испей. А тишина такая, какая только в Забайкалье — огромная, как и небесный купол. Не в дрему клонит, а наклоняет в сновиденья.

Не в счет, простите, тот, где героиней Вера Павловна. Сочинитель не читал, бедняга, Юнга, а сочетался с утопизмом. Каков же результат? Ужасный! Кого-то он перепыхал, кого-то переехал. Никто теперь над этим автором слезинки не уронит. Хотя, как многие из нас, он пребывал в двойном плену: миражей и тюрьмы.

Совсем иные сновидения на берегу, в тени кривой смоковницы. Они — виденья яви, и ты встречаешь артель Его учеников. Они и пахари, и рыбаки. Еще вчера их было меньше дожины, а нынче к ним примкнул Иуда.

Спасителя в изображенье иконописцев и живописцев он никогда не видел. И потому увидел плотника из Назарета: рыжебородого и крепкого; волосы короткие, чтобы в работе не мешали, падая на лоб и на глаза. Движенья точные. Ел вкусно, с аппетитом, а пил не только воды ключевые. Учеников не ста-

вил в угол на колена. На шуточки соленые мужицкие не отвечал им: «Фю». (Две тыщи лет спустя таким Его увидел и Чарли Чаплин.)

Примкнувший был принят без восторга. Говорил, как все, по-арамейски, но с акцентом, выдававшим иудея. К тому же не мозолистые руки. И белоручка, и, наверно, грамотей. Держитесь, братья, начеку. Мы, галилеяне, любим труд, а иудей, известно, денежку. Однако назаретский плотник им не внял. Он и доверчив, и юмору не чужд. Он говорит себе: что ты надумал, делай-ка скорее. И, улыбнувшись всем своим ученикам, велит Искарноту заведовать артельным ящиком-глюссомоном, мирской казной. Переглянулись мужики, сообразив, кому живется весело, вольготно в Палестине. И проворчали что-то вроде «снова наша не взяла». А может, что-то и другое, я не расслышал.

Он подал знак, Двенадцать поднимались в дальнюю дорогу.

И вот, гляжу, пошли, палимы зноем и духовной жаждой. Он шел, как ходят в тех краях все пастухи; я говорил вам — впереди отары, стада; за ним — Двенадцать; в числе Двенадцати — Иуда. И Александр Блок об этом знал, однако, как ни странно, промолчал. Вот оттого, наверно, голодный пес сбегал от нашего поэта, теперь он замыкающим трусит и сознает себя при настоящем деле.

Они ушли в народ, меня взяла досада. Пишу, ей-богу, как кочевник, — не проникая в сокровенное. Проникновение даровано другим. И независимо от школ и направлений, за исключением соцреализма. Один из тех, кто наделен умением читать в сердцах, мне очень нужен консультантом, как тот писатель, Виктор Фи-к в Голицыне. Но этот беда как щекотлив, обидчив и бранчив. Чуток ты не по нраву, тотчас из-за бутра ругается: «Антисемит!» (Случаются евреи, для которых антисемитизм — род допинга. Без юдофобства им и скучно, и грустно, и некому морду набить в минуты душевной невзгоды.

Так русским худо в отсутствии уродо-русофоба. Как не понять? Приходится искать источники невзгод в самом себе, а не вокруг, не рядом и не далеко.) Так вот, обидчивый, бранчливый не будет назван. Хочу, однако, подчеркнуть: его суждения об Иудиной натуре не повторение задов, а проищанье вглубь; как эхолот — в пучины.

Так что же там, во глубине? Особая черта натуры сильной, чуткой, нервной, страстной — желание любви Учителя. Обращенной только на него, Искарюта. Не спешите возражать в том смысле, что это просто-напросто томление институтки перед учителем словесности, который, кудри наклоня, читает нараспев стихи. Нет, тут напряжение высоковольтное. Не надо также и предполагать, что Учитель — зеркало, в которое глядится Нарцисс из Кариота. Нарциссы в общем-то самодостаточны. Не то иуды. Они куда как требовательны. Им подавай-ка доказательства любви едва ль не ежечасно. Как раз вот этим они и причиняют страдания тем, кто любит их. Христос же, уверяют нас, любил Иуду. Искарютский был красивым юношей и лучшим из учеников.

Красивый? Юноша? Гм! Нагибин ограничился предобрым псом с опрятными ногами. А здесь уж не подобиет ли флорентийского Давида? Э, тот, сдастся, не обрезан. Какой же он еврей? Но я боюсь перечить. Готов признать Иуду красивым малым. И снять укор в прелюбодействе с ерусалимскою Юдифью, коль скоро это было обычным фактором совместных действий.

И все же я робел свое суждение иметь. Но тут вмешался Гений Местности, а это, извините, отнюдь не местный гений. Вмешался, да. Наваял, нащептал, напел. Не по-арамейски, не на иврите, не на идиш — представьте, на живом великорусском. Там Гений Местности стоует, и есть уста, что изъясняются на вашем языке.

Там — под смоковницей, среди овалов желтых и зеленющих увалов, при влажных плесках овечьего источника, в неж-

данно налетевшем запахе дымов — там я расслышал... нет, не умею в точности назвать. А в изложение выйдет плоско, объяснительной запиской.

Искарriot страдания причинял Христу не только и не столько своею странною любовью. Христос страдал его грядущею изменой, грядущим преступленьем. Страдая, сострадал. Что так? Да потому, что был Искарriot лишенцем — Вседержитель лишил Иуду права выбора. Лишил даже моления об избавлении от чаши, когда, как всякий смертный, затосковал бы он предсмертною тоской. Христос жалел Иуду; жаленье — высший род любви, а может быть, ее синоним.

Все это нашептал, навел Гений Местности. Увы, совместный со злодейством. Оно имело быть в Пасхальную неделю. Пейзаж иной — урбанистический. Вступил Он в город через ворота Золотые. Я это видел, повторяю, в журнале «Нива», освещенном дачной лампой-молнией; жужжали майские жуки, неподалеку тихонечко струились воды Клязьмы, а чудились кедронские.

Ворота Рыбные минует Он в начале скорбного пути; ворота Древние — неподалеку от Голгофы. Он пронесет свой Крест незримый, а на плечах — весомый, грубый, сдирая кожу в кровь и сглатывая пот, как зек на вывозе лесоповала, поставленный под комель. Он пронесет орудье медленного умерщвления, сработанное для Него собратьями по ремеслу, чтоб не сказать — по классу. А плотничьи гвозди скуют и заострят ерусалимские гефесты. И к одному из тех гвоздей, коржавому и длинному, приложится горячими губами юный Бурцев. Слышу: хватили, сударь; ваш В. Л., быть может, и приложится, да ведь когда? Нет не тогда и не потом — сейчас и присно... Как и Верховное судилище, дворцы и крепость, которые обозначает Гений Местности и этим завершает пейзаж злодейства, прибавив напоследок и казармы оккупантов-римлян.

Понтий Пилат не упомянул имени распятого. Никто не помянит имена Его распявших. А справку не добудешь — ар-

жив при Нероне сгорел, гудел пожар на холмах Рима...

Легионеров нет еще на карауле у Креста. Но есть уже легионеры в усиленном режиме. В большие праздники их отряжают на поддержку евреев-стражников. Само собой, на случай беспорядков. В урочные часы — от первой до четвертой стражи силовики вершат союзные обходы и в Верхнем городе, и в Нижнем, и в Предместье, и в Новом граде. Свершат и загородную вылазку — от ворот Темничных в темный Гефсиманский сад.

В саду заплещет пламя факелов, к Христу приблизится Иуда и губы вытянет для поцелуя. И факелы мгновенно вспыхнут, резь в глазах и тотчас же все вместе и все врозь: и дрожь учеников, готовых разбежаться, и валуны, и лица множества евреев, мечи легионеров, и ветви, и стволы олив.

---

Эн. Эн., не князь, но мой племянник, он и ботаник, наведался однажды в Гефсиманский сад и дал высокую оценку тамошним маслинам. Образованщина! Точь-в-точь аграрий Игрек — один вопрос он задавал всем возвратившимся из вояжа в чужие страны: картофель там почему?.. В досаде на ограниченность племянника я спросил, а какова же там осина. Племянник пресерьезно отвечал: осины в Палестине не растут, как не растут в Сибири пальмы. И прибавил: Иуда удавился на саксауловом сучке; он, хотя и хрупкий, но и крепкий.

Вот и толкуй! А между тем своим вопросом я сел на кол. У нас и вправду саксаулы не растут, и потому Иуда самоказнился на осине. Но отношение к ней противуречий полно. Суровый славянин, не проливая слез, вам скажет: «Дрожит осина в память Божьего Сына». Другой насупится: «У, дерево Иуды, будь ты проклято». И, колупнув, укажет красноватость: «Гляди-ка, это кровь Христа». Мужик в сердцах воскликнет: «Эх, на осину бы его!» А барин, осерчав на поглупевшую борзую, велит псарям: «Повесить на осине!»

Однако практика и практицизм идут наперекор. Корой осины, бывало, бабушка лечила зубы, а дед, подсунув под ноги полешко, гнал ломоту в костях. Осиновые чурки они укладывали в бочку с квашеной капустой, чтобы не перекисала... А то, вишь ты, «поганая», «нечистая». Она ж и признак доброго: дрожит, ну, значит, скот в лугах наелся досыта; в сережках, ну, значит, урожай овса. Из дерева, дрожащего то ль в память Сына, то ль дрожью преступления, умелец мастерил товар, аж пальчики оближешь — ложки, чашки да лукошки. И в тех же вот краяхширотках мы, зеки... Еврей, замученный чекистами, затем приконченный нацистами, Кроль, Петр Кроль, поэт несчастный и безвестный, а значит, и высокой пробы, не хныча,

...валит древесину в груды  
 Весь день и позже, до зари:  
 Осину — дерево Иуды,  
 Его боятся упыри.

Упырь двуногий, начальник Вятлага, держался мнения такого: осинники рубить себе дороже, «выход» древесины не того-с. Иль что-то в этом роде. С ним соглашался Юра Юдинков, наш бригадир, чернявый и крикливый малый, но не злой... Как мысли-то по звеньшкам все нюжуются и нюжуются... Послушайте, ведь Юдинковы, Юдины — они ж Иудины! И вот уж слышишь мнение диссидентов, то бишь раскольников, честнейших староверов: «Иуда не повиснул на осине, Иуда пожевился на Аксинье». Ей-ей опешись: выходит, расплодились на Святой Руси?

Но юдофобы Юдиных не тронут — был и такой Иуда, сын Алфеев, который и не помышлял предать Христа. Иной салтык Юдовичи, двух мнений быть не может — хриstopродавцы. Какой же вывод?

Нужна большая осторожность. Пример — Жиденов, петербуржец. Он, помню, жил в 3-й Рождественской и учредил в своей фатере «Общество изучения иудейского племени», дабы познать его вредоносные качества и злокачественную рели-

гию. Жиденова, конечно, сторонились интеллигентки-чистюли, но черносотенцы с его фамилией мирились. Иль, скажем, генерал, герой, и нате вам, извольте радоваться: Жидов. Но сердобольный Сталин махнул пером, и Жидов обернулся Жадовым. Тотчас долой сомнения кадровиков и подозрения контрразведки, что, впрочем, тавтология.

Короче, вы, юдины, паситесь мирно. Но вот с юдовичей, уж извините, спрос глобальный.

---

Один из них отправлен был этапом корабельным. Из палестинской Кесарии в Рим. Каботаж большой. Но не длинней, пожалуй, чем из Находки в Магадан. Конечно, климат ну ни в какое, знаете ль, сравнение... Ха! Бригада Юры Юдинова расхохоталась, когда нечаянно досталась нам газетка; была в ней слезница гречанок верных: так, мол, и так, великий Сталин, мужья и сыновья все как один боролись за социализм, теперь же изнывают на островах и островках; великий Сталин, друг всех узников, мы просим, помогите... Валившие осину под надзором упырей до слез смеялись над этой слезницей... Да, климат не сравнишь. Но ведь и там, на Средиземном море, случались бури. Апостол Павел, неутомимый путешественник, бывал уж в переделках. Авось Господь спасет и в этом, четвертом путешествии.

Власть предержавшая равняла его проповеди с подстрекательствами к мятежу. Ни дать, ни взять статья 58-я. Такая же, как и у нас, безбожников, под сению осин. Апостола намеревался судить Синедрион. Тот суд, что передал Христа на суд Пилата. Однако Павел добился судебного имперского там, в Риме, где кесарю — все кесарево... А я, прошу мне параллель простить, я, ответный Особым совещанием, воззвал изпод осин — меня судили, мол, заглазно, пусть я предстану пред судом хотя бы и мундирным, военным, но очным.

И Павла, и меня отправили этапом. И он, и я вчинили б

явку добровольно. Э нет, шалишь, изволь-ка под конвоем. Апостол на то он и апостол, чтобы к нему приставлен был не рядовой, а сотник. Меня же, мелкого врага народа, принял под надзор ефрейтор.

Евангелист Лука, биограф Павла, удостоверил: сотник Юлий был человеколюбом. Ефрейтор... Гм! На пересылке знакомые из уголовных сумели передать мне пачку чая, а он отнял, чтоб я не чифирил. Вот сволочь!

---

Теперь вернусь в отель «Британию». Ну, тот, в Неаполе который. Я где-то указал и адрес. Никто из вас мне не писал, что иногда не огорчительно.

Страну я чуял, но к вечеру не чуял ног. Усаживался на террасе, неторопливо, не по-русски пил вино, рассеянно следя Бог весть за чем, но надо полагать, за солнцем — оно, совсем-совсем уже нежаркое, садилось где-то там, за Капри.

В тот вечер, как и давеча, я услаждался культурным винопийством, а также наблюдал Залив, Везувий, Корабли. И проникался прощально-ясным, как бабье лето, чувством к жизни, которую уж лучше терпеливо объяснить, чем переделять, не объясняясь с ней толком.

И вдруг... Точней, не вдруг, а как-то исподволь я ощутил отсутствие Везувия на скате неба. Не враз, однако, и без промедления я осознал, что вот же он, Везувий, а только, черт дери, вулкан-то не дымится, как при Понтии Пилате, пребывающем в отставке, владельце виллы, рукою до Неаполя подать, а именно в Путело, теперь вам скажут Puzzuoli.

Везувий, повторяю, не дымился, как будто бы французский классик уж внес поправку в свой рассказ. И оттого, наверное, ко мне причаливал какой-то текст. Он зыбким был. Как не понять? Текст не имел еще балласта из свинца подтекста. Приплыл же и причалил корабль «Диоскуры».

Кораблям не дано примелькаться. Но этот оскорбил бы

---

мариниста. Он не вбежал, как покоритель моря, стопоря машины, не взбурлил винтами. Судно едва тащилося, коренясь на левый борт; опасный крен, как и на правый; а малый парус был изодран вдрызг.

Нельзя, ей-ей, не испытать сочувствия. Но вместе с тем щемило и предчувствие. Забыв вино, прощальный взгляд на жизнь, я в этих «Диоскурах» различил черты невольничьего корабля. Мерещилась мне «Ялта», а вслед за «Ялтой» — «Умба». Ревел пароход, надрывался — увозили зеков из порта Ванино да в Магадан, на чудную планету. А «Умба» ... Забыл, одна иль две трубы, но трюмы не забудешь... Она из города Архангельска — на Соловки: ах, длинной вереницей пойдём за Синей Птицей... Все это наше, родимое и, полагаю, неизбывное. Но «Диоскурь»... Хм, приписана к Александрии; нагружена египетским зерном. И что же? Сотник Юлий со своей командой конвоировал не только Павла. Нет, на борту томилась узники, числом немалым — двести семьдесят шесть, как указал Лука, евангелист... Мы знаем, что случилось с нашими. А эти, с «Диоскурь»? Кто след их обнаружит; не говоря уж о могилах, они, как и у всех рабов, конечно, братские.

Теперь взгляните пристально на пристань. Когда он Савлом был, то был, по-моему, плюгав и суетен. Совсем иное Павлом. Белобород и статен, величав, спокоен. Пристукнув посохом, апостол улыбнулся, как моряк в минуту возвращения на твердый берег, когда подошвы ног дают сигнал освобождения от качки.

Явление Павла свершилось без конвоя. Сотник Юлий отпускал апостола, как отпускали зеков-анархистов проводить в последний путь апостола анархии Петра. (Да-да, Кропоткина.) Сравнение, впрочем, хромоногое. Бутырское тюремное начальство исполняло распоряжение высшего, и только. А сотник-римлянин, что называется, по зову сердца. И если б зек сокрылся, Юлий не сносил бы головы.

Корабль «Диоскурь» встал под разгрузку. Она продли-

лась неделю кряду. Произошли престранные события, ничем не связанные ни с навигацией, ни с коммерцией, ни с нарушением этапного порядка.

Франс, французский классик, в своем рассказе о Понтии Пилате все увязал со встречей отставного прокуратора с давно знакомым соплеменником. На деле было все не так.

Подагрик, возлежавший на носилках, после Христа не умывавший руки, беседовал с апостолом-евреем.

Я видел собеседников с гостиничной террасы на фоне виноградников, усталых от уборки урожая. Подагрик Понтий на носилках возлежал, апостол Павел оставался пешим. Да, я видел их, как соглядатай. Но не слышал: мешали горничные две сороки — чернявые головки и крахмальный фартук. Скажу вам шепотом, смазливые. Однако каждый, кто со мной знаком, тотчас же догадается, что суть не в этом.

Апостол, нет сомненья, «достал» (пронял) вельможу. Сужу так по тому, что Понтий Пилат доселе, из года в год, в страстную пятницу, скорбя, слоняется в горах Швейцарии. Чего он далеко убрел от этого Путело, пусть объяснит Сергей Аверинцев.

А я, чтоб нить не потерять, вам сообщаю: на randevу Пилата с Павлом отсутствовал его биограф, евангелист Лука. Имел он поручение апостола. Секретное. Но шлюпку нанимал легально и, нисколько не таясь, плыл к отвесным скалам Капри. Рукou подать, но какова же цель? Ужель на виллу Горького? Лука писатель, кажется, не пролетарский, хотя, конечно, его читал и пролетарий. И все ж визит евангелиста к Алексею Максимычу — ну ни в какие ворота. А как прикажете понять?

---

Обложные облака, расположившись на ночлег, гасили солнечные блики, штилюющий залив не искрился, слепя глаза. Об этом я не живописи ради, а для того, чтоб указать на нимб Луки, который, то есть нимб, был виден.

Свечение вокруг головы, изображенное иконописцами, есть символ святости. Но что такое «святость»? Свет мыслящей материи; свет долгой напряженной мысли. И это угадали художники-иконописцы. А подтвердили медики-ученые едва ли не вчера. Прибавьте-ка стило евангелистов — тростинку, и вот вам мыслящий тростник, угаданный поэтом.

Соображения сии достойные не вашего ума. Прошу ссылаться, а не красть. В такой надежде преломляю с вами, как преломляют хлеб, замету о Евангелиях.

Их тексты, как известно, боговдохновенны. Но природа человека с тростинкою в руке не выключена, не упразднена. Отсюда мелочные разночтения; для развлечения охотников за «блохами». Глобально, замечательно и важно то, что все евангелисты — Матфей и Иоанн, свидетели земной Христовой жизни; Марк и Лука, сотрудники апостолов, как сговорившись, отвергли психологическую прозу.

Господь ее не жаловал. Правдоподобия не боговдохновенны. Они плоды усидчивости, как цыплята у наседки. Поступок, действия — вот правда. Едва приложишь к ней записку-объяснение: причины и мотивы, следствия, и вот уж ты в силках правдоподобия.

Да, Господь не жаловал психологическую прозу, но как Поэт любил он точность прозаическую.

Не спешите ухмыляться. Иначе, как говорили талмудисты, на вас не сделаешь и маленького комментария, а это значит, что вы, пардон, большой дурак. А комментарий даю петитом. Так иногда хитрит наш брат, подозревая, что примечания бывают интересней текста.

---

В годину первой мировой войны сэр Алленби, командуя 6-й дивизией, сражался с турками-османами на всяческих плацдармах Ближнего Востока. Однажды приказали генералу взять г. Иерихон, который в Библии неоднократно упомянут. Воз-

ник препон: на стратегическом направлении, в ущелье лепилась деревня Михмас. На подступах к деревне располагался сильный неприятель. По глупому (на наш взгляд) английскому обыкновению, генерал берег живую силу и не решался на лобовой удар.

В минуту трудных размышлений к нему явился офицер. И доложил — должна быть тайная тропа; иудеи, воины Саула, прошли по ней к Михмасу и одолели филистимлян. И офицер на Библию сослался.

Его превосходительство опешили. Не будь они на королевской службе и в столь высоком чине, уместен был бы и другой глагол, весьма соленый. Впервые от сотворенья мира Библия была и руководством к военным действиям. И что же? Тропу нашли и силами всего лишь роты взяли Михмас; открылся путь на г. Иерихон.

Конечно, мы не предлагаем Библию путеводителем в войне с арабами. Задача примечания — указать на поразительную точность текста.

Сие ценил св. Лука. В 60-х нашей эры, сопровождая Павла, писал он и дорожные заметки, и Евангелие. Каков шестидесятник! В отличие от прочих, он не кончается, он с нами навсегда.

---

Итак, св. Лука отправился к отвесным скалам Капри. Охота к перемене мест здесь диктовалась жаждой точности. Ведь был апокриф (он и к нам забрел — на Соловки) — апокриф, который утверждал, что Кариот, пославший в мир Иуду, отнюдь не захолустный иудейский городок, а остров Крит. Но то было неверно. Св. Лука предположил: не Крит, а Кипр. Опять ошибка. Так, может, Капри? И вот он курс держал в Марина гранде или в Марина пикколе — в Большую бухту или в Малую.

Лег штиль, садилось солнце, небо меркло. Нимб предвещал восход луны. Все это четко видел я с террасы гостиницы

«Британию». Да, четко. Такая «оптика» сменяет мглу в глазах у фаворита Бахуса. И оттого случилось то, что и должно было случиться. Увидел я портовые плавсредства, прожектора, юпитеры. И враз смутился духом: снимали фильм.

Кому теперь уж невдомек, что жизнь-то не театр, а кино. Киношники, однако, не показали мне Везувий. А он ведь не дымил. И тем оповещал, что на дворе тысячелетий нет. Я благодарен: вулкан не отказался подтвердить все то, что я посильно декларировал в прихожей моего романа.

Финал здесь не открытый, как нынче повелось. Финал закрытый, как было встарь. Картину о путешествии св. Павла прекратили съемкой. Наверное, по недостатке средств. Св. Лука на Капри не попал. И не наведалься к писателям, потолковать об уроженце Кариота.

Нимба нет, но тромб в наличии — отсюда лад баллад. Недолго вам хихикать. Еще минута, и я переменюсь на вилле у вдовы.

---

На пристани Марина гранде Андреев взял линейку с осликом.

Кремнистые дороги, петляя и блестя, вытягивали море из разрывов скал. Кипарисы шли, как факельщики бюро пожарных процессий. Все это — от меня. А Леонид Андреев всего-то-навсего решил, что Капри пахнет Алуштой. В Алушту он не заглядывал, на Капри был впервые. Он сближал неблизкое. Привычка утомительная, однако и не вредная.

Андреев был хорош собою, как только может быть хорош собою декадент. Ему необходимы матовая бледность, холеная борода и долгая волна волос. Прибавим темно-синий рытый бархат свободной блузы.

Ему понравилась вилла вдовы художника. Не интерьерами. Они не имели художественной ценности, хотя в Италии все имеет художественную ценность. Андрееву приглянулась большая зала. Он назначил ее своим кабинетом. Привлекал и

аспидный камин размером с топку парохода. Писатель наш, как Собакевич, любил все циклопическое. И то надо признать, что бархатная блуза как будто бы перетекала в толстый, как фуфайка, и такой же мягкий слой каминной сажи.

А на дворе грузнел от влажности февраль. Водосточные трубы маялись насморком. Ненастье не огорчило Андреева. Сюжет был продуман дома. На Капри он его решит в один присест.

— Хочу писать об Иуде, — сказал он Горькому. В черных глазах зажглись, словно от спички, желтые огоньки. — Читал стихотворенье о нем, очень умное. Чье — забыл.

У Горького был крепкий, крупный, выскобленный подбородок. Как у вахмистра. Горький тер подбородок тылом ладони. Приходило на ум: солдат шилом бреется.

— Знаю, это стихи Рославлева, — сказал Горький. — Не ахти умные, Леня. А примечательно то, что Искарриот нынче претендует на знамение времени. Предал Бога, а Бога-то предать не пустячок. И глупо думать, что он польстился на тридцать сребренников... Ты бы, Леонид, прочел... — Горький твердым пальцем больно тыкал настольные книги. То были: «Иуда и Христос» Векселя; рассказ Тода Гедбера; «Искарриот», драма в стихах Голованова.

Андреев отстраненно повел плечом.

— Не стану, брат. Запутают, с толку событ. — Замкнул решительно: — Не надо, не надо. Лучше уж я тебя послушаю...

Горький — читатель неустанный, жадный, памятливыи — назвал некоего Раймарса, век восемнадцатый, писал о Христе без пиетета: еврей из Назарета — политик, стремившийся освободить народ свой от римского владычества. Так или не так, а надо нам признать: догматический Христос — не предмет биографии; биографический — не слишком уж подходит для изложения догматов.

Окающий лектор пропускал сквозь усы тугой табачный дым. Андреев подумал: зубы Алексея скоро пожелтеют. Не

желая быть послушником, встрял со своими соображениями о Евангелиях: Матфей говорит, что Иуда повесился, а все другие евангелисты ни гу-гу, да вот никто этого не замечает и на сию тему не разномыслит...

Да, один Матфей, согласился Горький. И ведь он-то и есть самый достоверный свидетель. Очевидец. Назаретянина видел и слушал на расстоянии локтя. В одно время в Капернауме жительствовавший. Не захоластье, нет. Торговля, легионеры, таможня. Матфей служил мытарем. Зачем, спрашивается, Христу сборщик налогов? А он, видишь ты, чиновника-то и призвал к апостольскому служению... Свидетельство об Иуде важное. В сознании обывденном: иудей кто? Не христов народ, а иудий. Происхождение Христа долго в забвении пребывало, Лютер напомнил: еврей. Да? Ну, а евангелисты тоже евреи, а вот о покаянии-то, о раскаянии Иуды — воды в рот набрали.

Возвращались молча, каждый в своих мыслях. Андреев колотил тростью по стволам кипарисов. Он не желал подвергаться воздействию чужих мыслей. Тем больше не желал, чем больше не умел их опровергнуть. Ну и пусть, ну и пусть, у него своя идея.

И утвердился в тяжелом кресле черного дерева. И попросил зажечь огромный сажистый камин. Огонь взялся рьяно, гулко. Это было приятно. Неприятной была возня со стальными перьями. Черт дери, они, как обычно, цепляли бумагу и этим, сбивая ритм и скорость записи, унижали автора; округлые полупечатные буквы, толкаясь боками и плечами, выстраивались в слово, как недотепы-новобранцы. Перья он менял безжалостно, но рассказ, и вправду, написал в один присест, который длился три недели.

---

Господь, напоминаю, не жаловал психологическую прозу, и потому евангелисты не вдавались в психологию Иуды. Всем нам втемяшились сребреники, тридцать счетом, цена раба. Да

полноте! Казначей, распорядитель всех артельных средств, не замарал бы рук такой ничтожной взяткой. Ее отверг и Леонид Андреев. Предварив эпоху войн и пролетарских революций, он уроженца Кариота вообразил народным мстителем, готовым грянуть всем еврейством на оккупантов-римлян. Сын Симона все пылкие надежды возложил на плотника из Назарета, а на себя взял роль сподвижника. Харизма у Христа была. Ему внимали простолюдины и не только. К нему сбегались из дальних деревень и городков. Он был известен в Иерусалиме. А главное, он доказал свою способность сотворить и чудо. А ожиданье чуда — двигатель восстаний, революций. Что говорить, харизма у Христа была. Но не был он воителем-вождем. Иуда, понимая это, страдал и унывал, потом решился на поступок, которым проклял сам себя до окончания веков.

На Тайной вечере Христос тихонько говорит: что ты задумал, делай скорее. Как это понимать? А так: Христу известны намерения Иуды; Христос от смерти не бежит; душа Его готова, хотелось бы, однако, и укоротить, и укротить предсмертный трепет плоти, ее томленье, то есть эту смерть поправить бесстрашьем перед нею.

Распятый был распят. Народ, однако, не взъерился, чтоб с громом опрокинуть Рим. Что ж было делать Иуде Симоновичу? Надел петлю, повис, стал длинным. Враскачку тень его легла на земли и на воды. Послышались и клекот коршунов, и вой гиен.

---

Ах, Леонид Андреев, ему платили девятьсот за лист. Внемлите: золотом. Завидно? Нисколько. Завидуешь тому, что достижимо хоть во сне. Ладно. А как с идеей? Недалеко за ней ходил наш бледнолицый в черной блузе. Недолго белое чело удерживало вертикальную морщину трудных дум. К его услугам оказалась энциклопедия Брокгауза—Ефрона. Он поменял акценты, взял шаг революционный, и рассказ испечен.

Горький, сидя у огромного камина, покашливал в кулак и чуть ли не в рукав курил, как курит часовой, зевающий на скучном карауле. Его брала досада — зачем не настоял, чтоб Леонид прочел московского собрата. Нет, не прочел, бойчился, словно воробей в весенней луже: моя идея... Курил, покашливал, поглаживал собаку с большой кудлатой доброй головой. То был Искарриот, изображенный Ю. Нагибиным, но обернувшийся, как в сказке, кубелем.

А мне милее Рада.

---

Люблю я эту суку. Она оплачивает сторицей. Стон с подвизгом — выражение ее восторга. Мы обитаем в Переделкине, культурный слой растет, культура убывает. Но не умрет, покамест рядом Рада. Не только что умна, как многие дворняжки, но и претонких чувств.

Однако наблюдалась... Нет, не странность, а пагубность цивилизации. По запаху она не различала, хороший человек или не ахти. Виной тому разнообразие дезодорантов. Смешалось все, сбивает Раду с толка, кто джентльмен, а кто шпана.

Но с Ярослав Кириллычем — сосед из самых ближних, один забор — с Кириллычем особый случай. Отличный журналист, веселый и живой рассказчик, приятель космонавтов, знаток расчисленных полетов, а вот поди ж ты, не очень Раде по душе. Его завидев, она печально твякнет и отойдет в сторону, и мы решили наконец, что Рада не прощает ему опытов над Белкой, Стрелкой.

Визитации у нас не приняты. На огонек заглянешь, да и только. Где был, кого видал, что слышно? И непременно архитрагический вопрос на злобу дня: не отдано ли Переделкино нахрапистым богатым бизнесменам?! А нынче он сказал, что посетил Германию и Люксембург. А я, как вам известно, заглянул на Капри. Услышав: «Леонид Андреев», Голованов, который Ярослав, сказал, что дед его живописал Иуду двумя

годами прежде знаменитого Андреева. Ах, прах меня возьми! Пойди-ка знай, что книгу настольную у Горького сочинил не кто иной, как дед вот этого седого внука в спортивной куртке «Адидас».

Через пролом в заборе он пошел к себе, вмиг обернулся, принес изделие московской типографии, датированное Пятым годом. На твердом переплете: «Искарриот» — все литеры чернее черного и грубо стилизованы под древние, еврейские. И там же, на обложке, аляповато дорисованный портрет Иуды, похожего, как пить дать, на цыгана из ресторана «Яр».

Внука ждал компьютер, я остался с дедом. Его глаза, как у Кириллыча, лучились. Но мой сосед аккуратист, а дед его не очень. Пиджак застегивал он наискось, жилетку — на одну из пуговиц.

Жил Николай Николаевич в собственном доме. В одном из тех околотков, где старомосковское, самоварное, кръжовенное как уложилось, так и пребывало укладом. Вероятно, это утешало усопших недалекого кладбища, кладбища Данилова монастыря: Языкова, и Гоголя, и подлинных славянофилов. Могилы Голованов навещал. А на извозчике он ездил в Хамовники, к Льву Николаичу. Толстого оглучили от церкви. Николая Николаевича тоже: за изображение Иуды, оскорбляющее религиозные чувства верующих, каковые не имели ни малейшего представления, какое, собственно, это изображение.

Но оскорбление указанного чувства еще печатным не было. Оно приватно совершалось в доме автора. Там пьесу он читал всем действующим лицам. Уже в прихожей был слышен многолюдный говор.

И верно, действующих лиц едва ль не больше, чем у Шекспира. Соплился Христос из Назарета, чега Искариотов — Иуда с Вероникой; Пилат с супругой, похожей на мадам Ризнич с римским носом; Тимон из Александрии; толпа семитов в лапсердаках и картузах в обнимку с римскими легионерами.

Дом полон, все курят, спорят, Голованов просил спокой-

ствия и тишины. Ему повиновались, ведь он же автор. Стал слышен спор Христа с Иудой.

И с первых слов я понял — Кириллыч прав, отстаивая дедушкин приоритет. Да, раньше, нежели Андреев. И что важнее: глубже.

У Голованова Христос и лысый, и лобастый, как Сократ. На Иуду смотрел он не то чтоб кротко, а как бы с сожалением и даже любопытством. Иуда — огромный, неуклюжий — покамест сдержан. Он ждет и жаждет бунта: сегодня рано, а послезавтра поздно. Христос спокойно возражает: Царства Божиего здесь, на земле, Господь не обещал. И вот тогда Искарриота бросает в пот. Он отгоняет Веронику, как показалось мне, усатую и платонически влюбленную в Христа, хрипит: «Ты не учи нас быть рабами, мы уже рабы! Учи нас господами быть!»

Христос, склоняя голову, не повышая голос (впервые отмечая: баритон), негромко, ровно говорит, что он за все в ответе, что выполнит, не уклоняясь, волю Всевышнего Отца. И тут Иуда, потрясая кулаками, взახлеб кричит Всевышнему:

— Ты — трус! Обрек Ты крестной муке Сына, а сам сокрылся за моей спиной, в тылу евреев. Трус! — Он голову закинул, под черной бородой белела шея.

Казалось, автор услышал этот вопль впервые. И побледнел, и даже, мне сдается, испугался. Никто не молвил слова; слов не было: они сорвались вихрем и унеслись спиралью в трубу с открытой вьюшкой.

За полночь затихло все. Осталась ночь.

Как часто оторопь берет — не эта ль ночь твоя, не разминется ли она с рассветом? Чертовская тут путаница. Сказано: прокляты и убиты. Но это ж только раз. А есть такие, что прокляты-убиты дважды: и на войне, и в лагерях. И вдруг себя жалеешь какой-то, не поймешь, сухою жалостью. Глаза-то не на мокром месте: их вытирали не платком, а рукавом или полою, разившей вошебойкой. Ну, ну, довольно, погляди в окно. Ни звезд, ни облаков, лишь тьма. На крыльце соседа льет лам-

почка свой жидкий свет, как чай спитой. Захотелось порасуждать о траве забвенья. «Искарриота» Голованова ни мощной мыслью, ни острой ситуацией с тшедушнойшим андреевским, простите, не сравнишь. А кто, скажите, помнит Голованова, кроме Голованова, который внук? Исполненный печали, я фортку распахнул и крикнул: «Кириллыч, слышь?!»

Как медные копейки, из крана в кухне падала вода. Легонько, словно свечи, потрескивали половицы. Маятник был желто-круглым, как желток, как слово «Ялга», — так с детства, а отчего, не понимаю.

Дворняжке Раде сны не снились. Она ни вздохами и ни урчанием не обнаруживала процесс пищеварения. Однако пребывала в необычном состоянии. Такое, я слышал, овладевает всем зверьем в канун землетрясения или затмения. Она не находила себе места, не слышала и мой приказ: «На место!» Ее прихватывала нервная зевота, торчком торчали уши. В глаза мои она заглядывала пристально, в колена утыкалась. И почему-то держалась подальше от дверей.

Приблизилась развязка. И это чувствовала, а может, сознавала умнейшая из всех дворняжек. Сравните с псом на Капри, на вилле Крупа. Рассказ Андреева имел развязку со стажем в два тысячелетия, и пес не нервничал. А эта ночь взломала ход вещей. Иуда в представленьи Голованова Н. Н. с Иисусом спорил, но зла-то не держал. Не гибели Иисуса желал Искариот. Был у него расчет, как у Нечаява: довольно краткого ареста, и имярек дозрел до радикала. Но рухнул замысел, Иисус погиб. Искариота бросит в петлю не кара свыше, не покаяние, а униженье собственной промашкой. Он не растерян, он властвует собою. И так же, как давеча он Бога назвал трусом, так здесь, сейчас он гневно обращается к Распятому: о-о, знаю, знаю, Ты готов меня простить; прощать — да это ж ремесло Твое, понаторел Ты в нем, да мне-то что? Твое прощенье я не приму, прибереги-ка для другого. Нет, своею смертью я свое достоинство спасу, оно мне дорого; прощать нет нужды...

В вершинах сосен рассвет размыл потемки. А ниже тех вершин они были в изломах, трещинах ветвей: резцом работал гравер. У нас, здесь были сосны; у них, там были липы.

---

Ему под липами был выдан паспорт — липовый. Российское посольство помещалось на Унтер ден Линден. Церемонию свершил чиновник секретной службы. Пришел в посольство г-н Азеф, а вышел из посольства г-н Неймайер.

Азеф, шеф Боевой организации эсеров и ведущий агент-provokator тайной полиции, ославленный Бурцевым по обе стороны океана наместником Иуды Искарриота, Евно Фишелевич Азеф получил полную отставку и от революции, и от контрреволюции.

Вследствие двойного преступления — перед легитимной властью и властью подпольной — Азефу впору было бы повеситься вниз головой или застрелиться из двух пистолетов навскидку как в правый висок, так и в левый. Но поступил он на манер раскольничьего Искарриота: «Иуда не повесился на осине, а женился на Аксинье».

Аксиния звалась Амалией. Они познакомились в Петербурге. Амалия пела в кафешантане. У нее был низкий голос и прочная, тяжеловатая статья; она соответствовала мебелиам стиля Бедермайер. Ее желали многие. Говорили, что она была в связи с каким-то великим князем. В Азефе она почувствовала... Да, в Азефе она почувствовала верность. Изобличение Евно Фишелевича было ей неприятно — бедный, бедный, он враз лишился двух служебных и притом важных постов... Она осталась с ним и при нем. Он ценил ее старательность — и на эстраде, и в постели. Теперь она старательно вела дом. Они поселились в уважаемом квартале Вильмерсдорф. Там припахивало чайными розами. Чайными розами припахивал бензин. Другие находили, что бензин пахнет бананами. Евно Фишелевич намеревался приобрести пятиместный «Дукс»

образца девятьсот десятого года.

В первом этаже с разрешения «папочки», или «зайчика» — так она мурлыкала, ласкаясь к Евно Фишелевичу, — Амалия учредила корсетное заведение. Саша Черный шутил: «Я шла по улице, в бока впился корсет...» Какие они жестокие, эти мужчины, — «впился»! — это же бо-о-льно! Или поэтессе вот: «Я человек, я шла путями заблуждений». Критик хохотал. Тупица, ему и невдомек, что женщина — человек. В защиту сильного пола могу одно сказать: медики уверяли в гигиенической вредности изделий ее салона — корсеты якобы нарушают деятельность грудной и брюшной полости. Амалия поджимала губы. Всею статью, втиснутой в корсет с пластинами из гренландского кита, роскошным бюстом она опровергала берлинских гиппократов.

Желание Амалии иметь личный банковский счет не диктовалось осмотрительностью. Она видела, знала, чувствовала, что «папочка», он же «зайчик», любит ту, которую в интимные минуты зовет «Муши», любит ровно и прочно, а это, уж она-то знает, надежнее, нежели постельные канканы. К тому же бедный «папочка» не однажды получает от ворот поворот и ни о каком возвращении в лоно законной супруги не может и заикнуться. Эта гомельская еврейка, нервическая, как и многие ее соплеменницы, ударилась в революцию, и, вместо того чтобы растить мальчиков, рожденных от бедного «зайчика», торчит в редакции какой-то крамольной газетки. А законного своего супруга иначе не называет, как только «крававым Иудой», а мальчиков укрывает от него, словно от прокаженного. Но поступая именно так, а не иначе, эта еврейка укрепляет ее, Амалию, семейное счастье. Семья! Вот о чем мечтала она, как мечтают многие милые, но падшие создания. И уж ежели сбывается, беспечные прожигательницы жизни выказывают заботу, преданность, даже и ревность, но ровно настолько, чтобы льстить объекту своей ревности, льстить, а не вызывать досаду.

На берлинское обустройство Евно Фишелевич выложил сто тысяч марок. На мель, однако, не сел. Напротив, смело пустился в разнородные спекуляции.

Мне интересен кокон, из которого вылетает бабочка. Прежде никогда не интересовался возникновением и капиталом, и капиталистов. А теперь призадумываюсь иногда. В простеньком словосочетании — «деньги к деньгам идут» чувствуется, черт дери, тайна, загадка. Чего это они, деньги-то, идут да идут. Не держу на уме выкладки политэкономии, которые, замечу попутно, тоже ведь какие-то формулы морали, но я мимо, меня мистика на сей счет занимает. И чего уж скрывать, возникает — вроде бы независимо от меня — и кислотность плебейской зависти, и щелочь презрения неудачника к удачнику, а вместе и удивление: вот он может, а тебе, стало быть, фигушки вашей Дунюшки. Рассуждение отвлеченное, иногда, правда, имеющее, как говорится, конкретный выход.

Что же до Евно Фишелевича Азефа, то здесь случай особый, потому хотя бы, что его деньги имели резкий, устойчивый, непреходящий запах крови и динамита. То есть я имею в виду период его жизни от студенчества в прирейнском политехникуме до «увольнения в отставку» в связи с разоблачениями Бурцева, которого Азеф называл «фанатиком».

Студентом имел Азеф полсотни в месяц. И столько ж к Рождеству Христову. Христопродавцу — к Рождеству? А вот вам и пример, что в департаменте в ту пору, что называется, несть еллина, несть иудея, жила бы только родина в госбезопасности. Из сора разносортного стукачества его звезда взошла, когда эсеры создали Б.О. — Боевую Организацию. Запах динамита горек, как миндальный, но он перетекает в запах денег, а деньги у Азефа в двух «ящиках» — казенном и партионном. Он, в сущности, был дважды генералом. Не фронтовым, а тыловым, то есть внутренних дел, как напольных, так и подпольных. В канун избличенья он черпал из архисекретного бюджета, его жалование равнялось жалованию товари-

ща министра. Источник денежных средств не повергал Евно Фишелевича в меланхолические раздумья. Он радовался деньгам, как это свойственно нам, здоровым, ординарным людям, которым надо есть, пить и что-то покупать. Между прочим, он частенько ел-пил в ресторанах гостиниц-люкс «Адлон» и «Кайзерхоф»; не потому, что принадлежал к замечательному племени гурманов, а потому, что весело мстил еврейским «рационалам» своего скудного детства и отрочества.

Однако, чем круче росли доходы, тем резче огорчался Евно Фишелевич невозможностью щедрой рукой поддерживать жену и мальчиков в их эмигрантском прозябании; и невозможностью поддерживать старика отца, братьев и сестер. Он был хорошим сыном и отцом хорошим. Но как не опасаться зоркости подполья рахметовской закваски? О, «откуда»? и эти, гм, Азефы живут не по средствам... Что же до внепартийного источника доходов, министерского, департаментского, то — и говорить нечего — Евно Фишелевич не обозначил бы его даже на костре святой инквизиции.

Слышал, был он азартным картежником; любил холод риска и жар удачи в игорных заведениях; домашняя пулька у г-на Неймайера стала беллетристическим сюжетом, опубликованным сравнительно недавно. И верно, играл Евно Фишелевич. Не проигрывал, а именно играл. Цель оправдывала средства. Карточные выигрыши он через третьи руки пересылал и семье, и родителю. Все это, однако, пресеклось изблещением. Жена отказалась от «пособий»; ростовские братья и сестры, все из левых, все при Михайловском и Марксе, публично отказывались от иудушки.

Он почувствовал не то чтобы теоретическую, нет, нравственную, душевную потребность не в оправданиях, нет, в объяснениях. Кому они адресовались? Бывшим ли товарищам? Или родственникам, которых бывшими не назовешь ни при каких обстоятельствах? Всего вернее, двум мальчуганам, при виде которых в Латинском квартале дети из русских эмигран-

тских семей корчили рожицы: «Иудин помет!» То есть опять же, как и при игре в карты, владели им отнюдь не низменные чувства.

Но желание это, потребность эта некоторое время застилась обустройством прочного берлинского жилья, обмена живых денег на ценные бумаги, словом, заботами приятными во всех отношениях.

Мебель, сервизы, хрусталь, бронза, ковры, все эти шторы и пуфики, наконец, бриллианты, даренные «бедным зайчиком», он же «папочка», своей «девочке Муши», — все это вместило, поглотило и кровь убитого министра Плеве, и разорванного бомбой великого князя Сергея, и умерщвленных высших администраторов империй; динамит множества террорных действий, гибель боевиков, выданных властям, каторгу эсеров-комитетчиков, готовивших восстание в столице, сухой корявый хрип семерых повешенных, которых предал он в кануны своего провала.

Ему всегда требовался кредит по обе стороны баррикад. И он этот кредит имел. Обманувшего доверчивых опустил Данте в девятый круг Ада. Амалия не читала Данте. Но она иногда тревожилась, каково придется «папочке» в загробном мире, и потому, когда Азеф представился, а это произошло в восемнадцатом году, она тайно похоронила его в безымянной могиле, только дощечка с номером «446» — в душе Амалии мерцала робкая надежда, что «бедного зайчика» потеряют из виду.

А здесь, на земле, его вроде бы и вправду потеряли из виду. Сдается, ни бывшие боевые товарищи, ни бывшие департаментские начальники не искали Евно Фишелевича, не жаждали отмщения. И если уж говорить о ком-либо, кто искал его, кто хотел с ним встретиться, то только Бурцев. Он носился с идеей судебного доказательства не персональной виновности Азефа, а виновности правительства, верховной власти в провокациях на государственном уровне.

Впрочем, никто и ничто не мешало Евно Фишелевичу

жить и в согласии со своими склонностями, и в свое удовольствие. Жизнь же в свое удовольствие составляли для г-на Неймайера не столько домашние пульки, как решил один литератор... Он же, между прочим, указал на Азефовы кривые зубы — такая чуть ли не всегдашняя аналогия с джоттовым Искарриотом. Ответственно заявляю, зубы были прямые, но уже отягощенные несколькими золотыми коронками, оттого и челюсти представлялись тяжелыми, массивными.

Так вот, «жизнь в свое удовольствие»? Картеж не отрицаю. Случалось, и отвратительный — проиграл однажды ни много ни мало, а семьдесят пять тысяч марок. Срыв. Переход черты. И следствием подлое состояние *katzenjammer*. Нет, не карты были «жизнью в свое удовольствие», а курортные поездки. Шорох гравия, лепет бриза, купания, «Ай, медуза!»; Амалия не умела плавать; раскинув руки, звучно пришлепывала завитки плоских волн. Оба в полосатых купальных костюмах. Его крепкие плечи. Жесткий черный бобрик блестел. Хорошо, господа, на Ривьере. Эти плавные белые зонты, прогулочные катера, веранды, запах духов «Клео де Мерод» и окно нараспашку в черную ночь с блуждающей звездой.

Жизнь без неожиданностей (не считая биржевые), без нарочитой путаницы путаных обстоятельств, внезапных встреч, мучительного, непреходящего ожидания катастрофы — ах, черт возьми, дыши всей грудью... А если бы мальчуганы вдруг оказались при нем, Амалия не была бы мачехой. Надо перехватить ее взгляд, обращенный на детей, совершенно незнакомых, чтобы понять, каков у этой женщины запас материнской ласки...

Досужие мысли Евно Фишелевича принимали иное направление, когда он, нарушая медицинский запрет, закуривал толстую турецкую папиросу. Именно толстую, именно турецкую. Изготовленную именно на фабрике Асмоловых, а не братьев Асланди, хотя эти были дешевле асмоловских. Партии турецких папирос, изготовленных в Ростове-на-Дону, старый

Фишель регулярно высылал своему сыну то в Петербург, то в Париж и всегда «до востребования». Теперь высылал в Берлин, г-ну Неймайеру.

Предваряя запретный процесс, Евно Фишелевич надевал халат, домашние туфли, усаживался в кресло; он становился похож на трехбунчужного пашу, которому вот-вот подадут длинную трубку с маленьким чубуком и воду... что-то еще, необходимое для курения кальяна. Запах и дым асмоловской продукции перемещали Евно Фишелевича в Ростов-на-Дону. По-старинному сказать, уносили его мыслью в город детства и отрочества, и он всякий раз выходил из вагона на вокзальный перрон, хотя в детстве и отрочестве никуда не ездил. А вся штука в том, что этот громадный красного кирпича, с башенкой, часами и флагом вокзал отправлялись глядеть семьями. Считалось, что солиднее этого железнодорожного сооружения во всей России не сыщешь, говорили: «Ворота Кавказа» — и он, мальчик Евно, чувствовал горделивую причастность к этим Воротам.

Засим толстая турецкая папироса перемещала Евно Фишелевича на перекресток Большой Садовой и Таганрогского проспекта, к Гранд-отелю г-на Кузнецова. Но его нельзя было даже и сравнивать с г-ном Асмоловым. Не потому только, что Василий Иванович, статный старик, красивый великорусской красотой, владел табачной фабрикой, вот этими, в частности, толстыми турецкими папиросами, и даже не потому только, что он украсил город великолепным театром, Шервуд строил, тот самый, что в первопрестольной — Исторический музей. Нет, гимназист Евно Азеф ставил Асмолова неизмеримо выше Кузнецова, предполагая в последнем богача наследственного, а в первом — творца собственного счастья. В нелегальном кружке социал-демократического толка Евно озадачивал зеленых марксидов: он настаивал на том, что таких, как Василий Иванович, нельзя экспроприировать... Прыщеватый социалист держал на уме предположение — а вдруг фатер разбога-

теет, придет мишигине-погромщик да и заорет: «Буржуй! Отдавай-ка все трудящимся!»

Ах, боже мой, фатер, флигель, фигли-мигли... Поднять семерых — троих сыновей, четырех дочерей — это вам не классовая борьба. Старый Фишель, отличный портной, обшивал даже частного пристава. Честь! Старый Фишель, отдавая заказ, кланялся. Однажды и навсегда г-н пристав избавил старого Фишеля от надежды на гонорар; как бы даже задумчиво и вместе брезгливо г-н исправник несколько раз ударил старого Фишеля по лицу лайковой перчаткой. Честь! Фатер денно-нощно сиживал, подогнув одну ногу, а другую свесив, на широченном портяжном столе, зубы-резцы у фатера крошились. Мировую скорбь он не принимал. Его сентенции философического ветхозаветного свойства завершались ироническим «э!» и косо приподнятым плечом. Детей своих он любил, хотел, чтобы все они кончили курс гимназии или курс реально-го... В эти минуты толстая турецкая папироса не то чтобы дымилась, а прямо-таки исторгала сизый, как рассвет в Трапезунде, дым, и я не могу не поддержать боевиков, близко знавших своего шефа, — глаза его были добрыми-добрыми.

И вот что могу удостоверить. Семейство Азефов теснилось в неказистом щелистом флигеле на Кузнецкой (теперь, кажется, Пушкинская?). Потому и вспоминаю, что именно в бывшем гнезде Евно Азефа в тридцатых годах был прописан университетский студент, впоследствии мой лагерный приятель, коего черт догадал высоко оценить бухаринскую «Азбуку коммунизма». Я об этом к тому, чтобы вы, дети, не ходили в Африку гулять. Правильно я говорю? Ты слышишь меня, Костя? Иль там, у Туруньи, шумит тайга и ничего не слышно?

Ни азбука, сгубившая Костю М., ни грамматика боя, ни язык батарей, ни алгебра революции не брали Азефа за душу. Коммунизм он отрицал дельно: всем хорошо никогда не будет. Между прочим, намеки на то, что Азеф ничего не читал, кроме гимназических учебников и курсов политехникума, —

напраслина. Чита-ал. И находился в круге чтения своих товарищей. Вот только никто его не перепаживал. Ни Чернышевский, ни Михайловский. Последнего он в ту годину перечитывал. Ужели искал нравственное оправдание своим «деяниям»? А черт знает. Говорят, каждого настигает эта потребность. С разной степенью напряжения, подчас вроде бы червячка, но настигает. Такое вот сочинение его привлекало — «Борьба за индивидуальность». (Как замечательно говорил покойный Юра Коваль: борьба борьбы с борьбой.) Тут, значит, такое: борьба нашего «я» за расширение пределов своего личного существования; выяснение отношения различных форм общежития к судьбам личности... Евно Фишелевич не то чтобы четко понимал теорию относительности; он ее прагматически ощущал. И не в том пресловуто-постулатном смысле: дескать, ежели Бога нет, то все и дозволено. А пересмотром взглядов на дозволенное и недозволенное. Дважды два в будущем не обязательно четыре. Может, и вся таблица умножения — в помойку? Ибо все и вся временно и временное. Каждая теория нравственности изменяет фасон кандалов, надетых на твое «я»; каждая — смесь смелости и трусости, как, собственно, и каждое «я».

Бурцев загнал в угол? Эсеры за борт выбросили? А он, милостивые государи, наиглавное выиграл, свой Аркольский мост выиграл: борьбу за свою индивидуальность. Они думают, что он казнил Плеве, министра внутренних дел, за то, что покойник был гасильником добра, реакционером, виновником несчастной войны с Японией. Так-то оно так, ан корень иной. Он, Евно Азеф, допустил убийство... нет, казнь... за то, что этот мастер внутренних дел способствовал кишиневскому погрому. Но на счету этого мстителя за евреев числились и евреи, загубленные тем же мстителем: бомбисты, террористы, динамитчики. Все его конспиративные клички — эсеровские и департаментские — сошлись, слились в одну-единственную: Иуда, наместник Иуды. И он, я говорил, испытывал потреб-

ность в объяснениях. Последнее требовало напряженной работы мысли прагматической, не свойственной складу его ума. Задачу свою он формулировал замечательно: «Иуда был, но был ли он иудой?».

Так и озаглавил короткую рукопись, выполненную на Смес-Премье № 4, отчего она имела лиловый цвет. Принадлежность этой пишущей машины г-ну Азефу удостоверяет пишущий эти строки. Авторство г-на Азефа — некто Ъ, имя которого пока не подлежит оглашению. То был конспект беглых соображений. Не всегда последовательных, но неизменно — в соответствии с методом антропоцентризма. Так же, в сущности, как и у Андреева с Головановым.

Но обращение литераторов к Иуде представлялось Евно Фишелевичу посягательством на его, Азефов, сюжет. Посягательством дилетантов. Зато сам по себе интерес к историческому Иуде придал Азефу неожиданный вес в собственных глазах. Эйнштейн открыл зыбкость прежних фундаментальных представлений. Не зыбнутся ли вместе с ними и мораль, нравственность? Мысль эта прельщала Евно Фишелевича. Кроме того, он ощущал некие глубины, не доступные литераторам хотя бы потому, что они не были евреями. Но тут-то бывший шеф боевиков-социалистов, а ныне удачливый коммерсант, тут-то он и начинал путаться, плутать, недоумевать. К тому же Азефа, ни во что не верившего, почему-то возмущало и оскорбляло, что его древний малый народец считают иудиным племенем, а не христовым.

Возвращаясь к лиловой рукописи (такие уж ленты были, как и чернила, лиловые), выполненной на пишущей машине Смес-Премье № 4. К машинописи, озаглавленной: «Иуда был, но был ли он иудой?».

Выскачу навывередки — уж больно не терпится утешить проникательных людей от всяческих наук. Даю вам нота бене: эта же лиловая рукопись, хотя и писана Евно Фишелевичем, допустившим своекорыстное убийство Плева, содержит заме-

чательные положения и выводы, представьте, антиеврейские. Ха-ха!

Рукопись, повторяю, конспект беглых соображений, удивляет весьма свободным плаванием Азефа в сфере, совершенно чуждой ему, инженеру-электрику, а равно и двухкорытному агенту-провокатору. Не обошлось, сдается мне, без того же Ъ. (Полагаю, еще несколько лет, и я заменю эту литеру, которой он метил свои печатные работы, настоящей фамилией, отсутствующей даже в масановском словаре псевдонимов.)

Выписываю кардинальное.

---

I. Имя «Иуда» толкуют как «Вонтель»; «искариот» — как искаженное «sicarius», то есть «кинжалщик». Стало быть, Иуда, сын Симона, принадлежал к крайним левым, к зилотам. Среди 12 апостолов был еще один зилот, галилеянин Симон, впоследствии казненный.

II. Иуда не предал Христа, а передал Синедриону. Тут был двойной расчет. Верховные еврейские правители спасут выдающегося сына народа от посягательств чужеземцев-римлян. Пребывание Иисуса в узилище отзовется усилением любви народа ко Христу, а также заставит его отказаться от маниловщины в пользу действий энергических. Таковы были намерения и поступки Иуды в отношении плотника из Назарета.

III. Предательство Иуды — навет. А вместе — вопрос, некогда тактический, превратившийся в вечный двигатель антисемитизма.

Привожу «технические» подробности. Мера пресечения, т. е. арест Христа, была решена прежде появления Иуды во дворе первосвященника. Эта мера имела не столько идеологическое обоснование, сколько мстительно-экономическое. Иисус изгнал торгующих из Храма. Место торговли в Храме стоило дорого. Плату за эти места получали приближенные первосвященника. Стало быть, благочестиво-гневный посту-

пок Иисуса Христа имел досадные последствия.

Тайную вечерю Иуда покидает по приказанию Христа. Разумеется, вовсе не для того, чтобы выдать явку. Между прочим, даже конспиратор-молокосос согласится, что явка была выбрана Христом легкомысленно, в связи с приходом какого-то водоноса.

Далее. Нам говорят, что мудрецы Синедриона поручили Иуде навести городских стражников и римских легионеров на Иисуса. Нелепость этого поручения отмечена самим Христом: вы, говорит Он, меня знаете; вы говорит Он, меня слушали, видели в Ерусалиме. (К тому же, говорю я, зачем, для чего было Синедриону загодя обнаруживать осведомителя или даже штатного секретного сотрудника?) Приходится согласиться с Каутским, хотя он и тезка, и ученик Маркса, а не Христа. Представьте, смеясь пишет Каутский, что берлинская полиция нанимает шпиона, дабы тот указал ей субъекта по имени Бебель.

IV. Следует обратить внимание на обилие индивидуальных черт Иуды Искарриота, представленных в текстах Нового Завета. Ни один апостол так не поретретирован, как Искарриот. Корыстолюбец и скряга. Оспаривает затраты на благоволия для омовения Его натруженных ног. Намеки на то, что Искарриот крепко на руку нечист. Из партийной казны ссужает не сырых и нищих, а своих дружков-коммерсантов. И черта, всё определяющая: он не из наших, не галилеянин.

V. Десятилетия спустя после распятия Распятого свершилось общеврейское восстание. Империя разгромила провинцию. Начались гонения. Тору запретили. Что было делать христианским общинам, объединившим евреев? Поставить себя особняком. Размежеваться с вчерашними единоверцами. (Между прочим, каков пассаж! Первые христиане — долгоносые, пархатые, обрезанные!) Отмежевываясь, обелить римлян, обелить Понтия Пилата. Не они распяли нашего Господа. Евреи распяли нашего Господа. И первый злодей из прочих

злodeев — некто Иуда, сын Симона, рожденный в Кариоте. Таков путь к государственному, имперскому разделению христианства и малого мятежного народа.

Распространяется христианство, распространяется и антисемитизм, рожденный евреями-выкрестами. Отсюда — дописки и приписки в Евангелиях. Новый Завет содержит антисемитское электричество. Матфей и Марк шельмуют весь народ: евреи-де неверны и прелюбодейны, лживы и т. д.

VI. Но тот же источник указывает на Иуду как на исполнителя Божьего замысла. Теология объявляет его поступок не благим, но способствующим благому, то есть спасению людского рода.

Следовательно, Иуда был, но не был он иудой, а был **ВЕЛИКИМ ПРОВОКАТОРОМ**, чему синоним — Локомотив Истории.

---

Во Франкфурт-на-Майне доставил Азефа локомотив, номер которого не установлен. Он приехал не ради посещения дома, где родился Гете. И, уверяю вас, не для занятий в общественной библиотеке, учрежденной Ротшильдом. Поездка не была и коммерческой. Не имела она... Нет, все-таки имела отношение к деятельности департамента полиции, о чем, скажем прямо, г-н Азеф несколько не помышлял.

Современный читатель волен предположить карательную акцию супротив бывшего агента. Не дождетесь! Да и вообще не следует подозревать тузов спецслужб в отсутствии добрых чувств к потерпевшим крушение коллегам. Нет, судари мои, и лампасы любить умеют. Евно Фишелевич рассчитывал на солидный пенсион. Не меньший, чем положен товарищу министра внутренних дел. И был прав, заслужил. Но годы шли, а пенсион не приходил. Не станем удивляться, любовь лампасов тоже, знаете ли, имеет пределы. Впрочем, как им было не задаваться вопросом: господа, а на чью мельницу больше воды-то вылил наш сотрудник из кастрюли?

Ловко, однако, стило повернулось! Прямоухонько по завету классика: словам — тесно, мыслям — просторно. Из слов что вытекает? А то, что наместник Иуды лил воду на мельницу из какой-то кастрюли. Но мыслям-то, мыслям какой простор. Напоминаю: учился Азеф в политехникуме города Карлсруе; оттуда, из Карлсруе, он доброхотно связался с Департаментом полиции. Посему и упомянут в некоторых документах Особого отдела «сотрудником из Кастрюли» — то-то, видать, запьянствовал пом. делопроизводителя.

Так вот, о мельнице и воде. Теперь он сам, задаваясь этим вопросом, произвел подсчет. Он готовился к диспуту с кем-либо из эсеров первой гильдии. И никакого искательства, никаких сетований на обстоятельства, на власть случая. Все гиль! Спокойствие обладателя истиной, мудрецам не снившейся. Даже и сионским, хе-хе. Нет, объективный подсчет — на чью мельницу он, Азеф, больше вылил воды? И докажет — на мулен руж, на красную.

Нужна была реабилитация. Нужно было оправдание. Не ему, Азефу. Не для партии, черт ее возьми. Мария! Бедная Мария!

Пора вас уведомить, что г-н Неймайер получал письма из Швейцарии. Доктор Розенцвайг, директор психиатрической лечебницы в Локорно, регулярно сообщал о здоровье фрейлейн М. В ответ аккуратно следовали благодарность и денежный перевод на содержание и лечение фрейлейн М. Недавно эта молодая женщина, заливаясь слезами, открыла лечащему врачу, кто такой г-н Неймайер. Директор Розенцвейг удвоил внимание к пациентке. Фрейлейн М. была теперь объектом его научного сообщения в немецкий журнал — что-то об уме и инстинктах... Название доклада столь многоукладно, что утрачиваешь все инстинкты, кроме самосохранения...

В Ростове их было семеро. Семеро детей старого Фишеля. Младшей была Манечка. Не красавица, нет. Зато глаза яркие; ярко-черные. Сказал бы «загадочные», да уж столько раз

говорил, а потом выяснялось, что нет никакой загадки, а есть дрянь.

Когда газеты, как с цепи сорвавшись, примчали в Ростов известия о Евно, во флигеле с облупившейся вывеской «Портовой Азеф» наступило отрешенное существование китайских теней.

Старый Фишель, в отличие от чад своих, не примыкал ни к одной крамольной секте. Дети — другое дело. Он им не перечил, он за них боялся; филеры, говорил старый Фишель, устремляются за вами, как нитка за иголкой. Прежде он молился на царя, после кишиневского погрома перестал. Однако никогда не грубил кесарю. Он понимал, что его старший сын служил и бунтарям, и полиции, и это был редкий гешефт. Гешефт этот, по мнению старого Фишеля, навлекал страшное проклятие на весь род Азефов, и старый Фишель, раскачиваясь на широком портяжном столе, тихо плакал.

Беспокоясь за сыновей-дочерей, патер фамилии преувеличивал опасность. Они, конечно, помогали хранить нелегальщину или, озираясь, расклеивали листовки, призывающие бастовать ростовских рабочих. Но к динамиту, к бомбе причастности не было, а значит, не было и серьезной опасности. Теперь же наступило время, ни с какой опасностью не сравнимое. Дети старого Фишеля втянули головы в плечи, отводили глаза от встречного-поперечного, чувствовали едва ли не общее глумливое презрение. Как-то незаметно, ни с кем не прощаясь, семейство исчезло из города, рассеялось, расточилось, будто и не жило на Кузнечной. Могу лишь сообщить, что один из братьев Азефа учился в Петербурге, но и там, во студенчестве, он, без вины виноватый, ощущал этот гнет; уехал из России, если память не изменяет, в Австрию.

Об этих безысходных исходах Азеф знал. Не стану утверждать, будто виновник несчастий всего семейства ночей не спал. Он досадовал, что им невдомек глубинный смысл его поступков. Но бессонница посещала Евно Фишелевича: он

думал о младшенькой, о Марусеньке. Доктор Розенцвейг общал г-ну Неймайеру, что фрейлейн постоянно находится на каком-то Лисьем мысе, близ Кронштадта, что там среди длинных тонких сосен, в которых путается рассвет, вешают людей, и она, фрейлейн М., виновна в их гибели, и что разобранную виселицу привозят из Петропавловской крепости, собирают тайком, фонари светят, фонари желтые, толстые, похожи на сову, на филина; вешают на рассвете, и Манечку тоже, потому что она виновна в том, что этих людей предала...

И если уж говорить с прямою, за которой пропасть или обморок, то Азеф-то и приехал во Франкфурт ради Манечки. Предстояло важное, может быть, для Манечки спасительное свидание в кафе на старинной Hirschgraben. Там пахло рекой, железом, паровозным дымом. Отпустив извозчика, Азеф почувствовал знакомую боль в сердце — трещина там, трещинка. Так случалось почти всегда при мысли о Манечке. Но тут вдруг прихлынул знобящий сумрак, и он совершенно явственно, всей плотью внезапно сделался тем человеком, который, опустив массивные плечи, бежал, словно ныряя, из Парижа, спасаясь от кинжальщиков-зилотов, от своих же боевиков бежал, от бумеранга бежал и, казалось, убежать не мог, как во сне. А между тем ведь накануне поездки Евно Фишелевич получил твердое заверение в личной безопасности. Заверил тот, кого он называл маньяком.

---

Так костерил он Бурцева. Мне неохота с этим согласиться. А вот уж г-н Рачковский... О, Петр Иванович преследовал В. Л. маниакально.

Как много украшению человека способствует карьера в тайном сыске. Пример тому Рачковский. Ему бы место на тесной полке «Жизнь замечательных людей». Я, помню, предлагал. Со мной не соглашались. Которые из либералов, морщились; в их представлении служба в царском сыске неприлич-

на; другое дело ВЧК. Которые из русофилов брезгливо полагают, что Петр Иванович «из евреев». Которые из русофобов намекали: мол, он из выкрестов. Все вместе ждали от меня искусности а ля Семенов Ю., чего я обещать не смел. Короче, плюрализм возможен; консенсус исключен. Но как бы ни было, Рачковского не обойти и не объехать.

Да, он из главных лиходеев. Но он и примечателен как разновидность иудинной породы; ей нет извода. Рачковский мог бы и Азефа превзойти. А впрочем, пожалуй, превзошел, пойдя иным путем.

Сейчас подумал, как важен Юг в развитии страны. Оттуда и дантоны, и дангисты, и сыщики, и террористы, и стрекулисты, и марксисты. Мигрируя на Север, они, в Москве почти не оседа, бросали якорь на Неве.

Во питерском студенчестве Рачковский Петр слыл радикалом; к тому же рьяным. Различие с Азефом вот: тот добродушно нанялся, а этот шишко напугался высылки в Сибирь. Какой же русский ее боится?! Она ведь тоже русская земля... А Петр Рачковский: ой, ай, я не хочу-у-у. Хватался за голову, хватал и за грудки: ах боже мой, за что?! Да, он знал студента, который укрывал преступника; велик ли грех?! Грех невелик, да вот крючок востер — ему было предложено: Сибирь иль служба в органах... Он выбрал бы Сибирь, но БАМа не было. Он предпочел... Ну, что тут рассуждать, качая головой? И рьяный радикал, подумав, принял радикальное решение.

Здесь опускаю многое, поскольку слышу: «Смотри!», — смотрю, на улице Гренель, у врат посольства играет тростью мсье, служивший некогда на русской почте. Не ямщиком, а младшим сортировщиком. Ого, какая сортировка! Он нынче чиновником особых поручений МВД, живет не где-нибудь... То есть живет, конечно, но это называется — имеет крышу в особняке семнадцатого века на улице Гренель. О-о, этот особняк! Доселе обитают там послы с послницами. А родина гордится роскошью особняка. Особенно добром и красотой, ма-

териализованной во дни парижского визита последней императорской четы. Какие там салоны, какие люстры-баккара, посуда, мебель, картины.

В таком особняке приятно, лестно крышу занять, и Петр Иванович Рачковский имел на это нравственное право, коль скоро разрабатывал доктрину о подчинении всех левых иудейскому влиянию.

Сейчас, однако, нам не до евреев. Идет Рачковский на randevу с какой-то там мадам Бюлье.

Э, почему «какая-то»? Да, на Фонтанке, в департаменте об этой Лотге услышали впервые. И не единой справки ни в одном отделе: ни в Справочном, ни в Регистрационном, ни в Особом. Всеведующий департамент неведенья не терпит. Ему, Рачковскому, поручено разведать.

Приторможу, припоминая специфическое объяснение, которое сперва мне показалось идиотским. То было после смерти Сталина, навзрыд оплаканного всем народом, за исключением нашей «пятьдесят восьмой».

Я обратился за исторической справкой к начальнику архива, что на московской Пироговской. Начальник был родного цвета хаки, погоны с голубым просветом, глаза без всякого просвета. Он принял меня сухо. А, собственно, зачем же улыбаться на посту? Я задал свой вопрос: нельзя ли, мол, установить, такой-то был иль не был осведомителем тогда-то? (Речь шла о девяностых в девятнадцатом.) Начальник цвета хаки, покуривая, вдумчиво рассматривал меня. Решал, кто ж это заявился в кабинет: переодетый ревизор или придурок, плохонько одетый. Признав последнее, он успокоился и был, по моему, доволен. Стал объяснять. Сводилось, если кратко, к следующему. Положим, такой-то действительно такой-то. Вы это публикуете в статье иль диссертации. Ее прочтут они. (Они ведь все читают.) Теперь давайте рассуждать. Такой-то, который, значит, был такой-то, умер. А сын иль внук живут. Он поощрил мой умственный процесс полуулыбкой бледных губ:

возможно ли, как думаете, а? Я кивнул согласно. Он продолжал. Тогда они, которые у вас-то прочитали, отыскивают потомков такого-то... Тут он повесил паузу, как гирию в полсотни килограммов. И, словно бы подкравшись к жертве, объявил: они потомка-то пугают и вербуют... То есть как же это, «чем пугают»? Родством с врагом народа. Ведь тот осведомитель, тот ведь не был помощником наших органов, нет, служил в тюрьме народов. Понятно? Вот так-то, дорогой товарищ... И дорогой товарищ, ошалев, ретировался.

По этой же причине позвольте-ка не называть осведомителей Петра Ивановича. Охота ли способствовать французским органам? И никакой охоты досаждать потомкам тех наблюдателей-французов, которые работали на нашего Рачковского. Но одного я все же назову, он опочил бездетным: Анри Бинг, кузен мадам Бюлье. Он смолоду сотрудничал с Петром Ивановичем, засим завел свой сыск, был вхож в советское торгпредство в городе Париже. Не правда ли, хорош парниша?..

Но он сейчас не провожает шефа. И это странно, поскольку шеф идет к Бюлье, кухне Бинга. Прибавлю, что кузен не знал о замыслах кухни. Гм, странно, странно... А Петр-то Иваныч уже на *tu des Beaux Arts*. По памяти рисую: высок и несколько сутул, нос острый, волос темен и ус отменный, подвитой посольским куафером. В руке взлетает трость, в другой — фиалки.

Один парижский лоботряс однажды вспомнил: а знаете ли, господа, мсье Пьер был страстным охотником за маленькими парижанками. Замечу от себя и на ухо: преуспевал. Однако обойдемся без наветов: маленькие парижанки отнюдь не значит — малолетки. Гризетки, цветочницы и белошвейки — всех примечал шалун. С Гонкурами он соглашался: красоту парижанки определить невозможно. И потому, послав воздушный поцелуй, произносил, немножко шепелявя: «О, резвость грации!». Сие он подцепил у Мопассана, да ведь кому охота из уважения к себе ссылаться на другого. Но это все бенгальские

огни. Вообще же Петр Иванович был верен огнедышащей мясистенькой метрессе. Живал на ул. Гренель нечасто, все же больше жил укроменько в Сен-Клу.

Мадам Бюлье была объектом, так сказать, служебным, ее досье страдало малокровием. Однако появлялись и черты неординарные.

В ее марсельском детстве обнаружили причуды. И некая странность, которую можно было бы назвать ... а, черт знает, как ее можно было бы назвать... она мечтала повторить судьбу креолки Жозефины. Но где б она нашла-то Бонапарта? В надежде славы и добра она возглавила пиратов-мальчуганов. Сильный пол в коротких штанишках подчинился Лотте. Они опустошали сад аббатства и наводили ужас на припозднившихся прохожих.

История ее замужества темна. Вышла она рано. Ее супругом стал траченный молью скупердьяй-богач Бюлье. Он держал немалую виноторговлю. Молодые оставили Марсель. Почему? Бог весть. В Париже они поселились на Rue des Beaux Arts. Увы, г-н Бюлье недолго жил в столице. Он канул в медленную Лету, а Лотта продолжила его негоциации. Но рвения не выказывала. Все это отмечено в досье, заведенном рачительным Рачковским.

А вот и Бурцев в этом же досье. О нем скупей скупого. Всего лишь запись: Бюлье и Бурцев действительно знакомы; он оказал ей какую-то услугу; есть письма, из них, увы, нельзя извлечь указаний политического свойства.

Рачковский, впрочем, держал за пазухой иное мнение. Роль личности в истории он представлял не так, как г-н Плеханов.

Петру Иванычу доносят, будто Бурцев наостривает лыжи для вояжа в Россию, чтоб там, на родине, собрать деньги и регулярно издавать газету. Проблематичная поездка как бы совпала с проблематичным намерением мадам Бюлье. Пора! Пора составить собственное мнение об этой штучке из Марселя.

Ее предупредили, она ждала визита.

Мсье Пьер идет, играя тростью и ощущая напряжение ноздрей.

Звонок, дверь открылась.

И что ж увидел зав. агентурой? Момент ответственный. Романист тотчас бы распустил павлиний хвост. А мне мешают учености плоды. На этот раз сей плод кислит, ну, словно бы дичок. Циркуляр имеет номер 3124, а содержанием имеет приметы иностранцев. И в этом циркуляре: «Французская гражданка Бюлье Шарлотта — приметы неизвестны».

---

Она осталась бы иголкой в Сене, когда бы не Фонтанка.

А началось все на почтамте, что на Почтамтской. Разбором иностранной почты заведовал педант. Прочел он адрес: «Главному начальнику полиции России». Поди-ка угадай, кто всех главней. Но наш педант был все-таки болван: он вскрыл конверт, прочел и испугался. И с перепугу переслал градоначальнику. А тот погнал курьера к Цепному мосту. А там сидела на цепи и там ее с цепи спустили — тайная полиция. Педанту на Почтамтской сказали ласково: эй, проглоти язык. Письмо имело предложенье свойства тонкого. Некая Шарлотта Бюлье могла указать на беглого каторжника Бурцева, проживающего в Париже. Мадам подвиг на этот пудвиг патриотизм. Она была наслышана, что президент находит удовольствие в сближеньи с русским государем. Так два лица прекрасной Франции сошлись на платонической любви к царю.

Но есть еще одно лицо. И возникает тонкая материя.

То был директор департамента Дурново. Он получил неприятное известие. Осведомитель, внедренный в штат испанского посольства, сообщал: высокородная жена посла прилежно изменяет... О, нет, не лучезарной родине, а высокородному супругу. Какая невидаль? Оно, конечно, никакой, когда б испанка вместе с тем не изменяла и г-ну Дурново, что пах-

---

ло, согласитесь, изменой нашей родине.

При эдаком пассаже кому пойдут на ум служебные бумаги? А составители бумаг должны предугадать, как наше слово отзовется. А сами по себе бумаги обязаны смекать, в какой момент им отдаваться руководителям спецслужб.

И все ж откуда было знать мадам Бюлье, что некто Дурново, вставая с кресла, ходил в тот день с левой ноги, в окно глядел на мрачный замок, где порешили Павла Первого, а по стеклу стекала перемесь дождя и снега, да и вообще все было мерзко.

А нам-то с вами надо знать, какую важность придавали Бурцеву едва ли не с младых ногтей. Он дерзновенно, самовольно сменил иркутское село на град Париж. Бежал и не попался. Одно ему в зачет: не жид. Теперь вот из столицы Франции сюда вот, на Фонтанку, телеграфно доносили: честолюбец Бурцев, желая прославиться своей энергией, готов пуститься в отчаянные предприятия, дабы возродить в России революционные успехи.

Эта готовность, казалось бы, должна была извлечь г-на Дурново из «испанского» негодования и окунуть в заботы госбезопасности.

Огорченье личное отодвигало соображения служебные. На письменном прошении мадам Бюлье означен род отписки: «Принять к сведению». Но разбег пера продлила опытность почти уж машинальная — продлила в рациональное распоряжение: «Сообщить П. И. Рачковскому».

Петр Иванович, как вам уже известно, не бездействовал. А нынче он нанес визит конфиденциальный. О чем шла речь? Тсс! Имеем дело с заграничной агентурой... Одно скажу вполне определенно: мсье Пьер стал навещать м-м Бюлье. А в департамент на Фонтанке писал он недрожащею рукой: «Я лично с м-м Бюлье сношений не имею».

Так кто же с ней сношения имел?

Наш Бурцев с Лоттой вдруг отправился в вояж. Придется

лезть мне в душу сапогом. Прошу простить, Владимир Львович, но это ж назначение ли-те-ра-ту-ры.

---

Не такова она была, когда мышей ловила вот эта кошка.

Холмы текли светлей долины, где виноградники темнели. Предвечерье перетекало в вечер топленным молоком — и золотистое, и смуглое. Долины эти дарили белое вино, пил его Петрарка. Пригубливали Бурцев с Лоттой. Синьор Пирлик зажег настольную свечу и нам с Тарошиной налил по рюмке. По-моему, чертовски маломерную, ну, ладно, токай или пинот, такие легкие, веселые, светлые, как солнечные зайчики.

Дом Петрарки и музей (билет мой номер 39203) прекрасен нищетою мемориально-материального, и потому он просто Casa del Petrarca, включенный запросто в ландшафт, как и этот ресторанчик.

Петрарка пел Лауру двадцать лет, ни разу даже в мыслях не задрав ей юбку. Вот какова была литература. Лаура честно прижила детей числом немалым, больше десяти. Петрарка продолжал писать сонеты и письма на классической латыни. Таков был литератор: «Жить и сочинять я перестану сразу». К нему примкнула кошка, ее скелет — в музее. Она мяукала, мурлыкала, мышей ловила — когда? — полтыщи лет тому! И нечего вам в форточку кричать: какое, милая... Лаура, кошка и вино соединились в неожиданном эффекте. Мадам Бюлье предстала в триединстве: Лаура, кошка и вино. Объяснить? Э, выйдет слишком длинно.

Но в департамент на Фонтанке нетрудно было б сообщить ее приметы. Я сообщаю просто так. Кто же за нее теперь заплатит?.. Ну, рядовая буржуазка. От амазонки из Марселя ничего. Тогда был угол, а теперь овал. Овал лица, овал груди, овал движенья руки над ресторанным столиком, овалны губы в медленной улыбке. А волосы красивые, пушистые, темного блеска. Вчерашний девственник влюблен. Впервые не в народ,

и не в идею освобождения народа.

Мне не хотелось, чтобы в этой глупой диспозиции его бы заприметил насмешливый синьор Пирлик... Житель Падуи, женатый на милейшей Чинция де Лотта, профессоре славистики, Пирлик меня с Тарошиной привез, как привозил очередных, принадлежавших москвичей, сюда, где жил Петрарка с кошкой полтыщи лет тому назад. Теперь, мучительно скучая, не мог дожидаться, когда мы скажем ординарное: «Ах, черт возьми, как мало времени у нас», — и выжать из авто весь газ, и мчаться в Падую, и там курить, курить, курить... И вот уж мною произнесено — мол, жаль, что мало времени, но тут... тут где-то рядом, на веранде, что ли, возникло — негромко, стройно и проникновенно: «Volga, Volga, Mutter Volga»... О матушке о Волге пели австрийские туристы. Черствый человек, я сантиментов чужд. А тут слезинка. «Volga, Volga, Mutter Volga» — австрийцы пели, однако на лице у Бурцева — растерянность, тревога.

---

Бурцева пробрал озноб. Ему почудился капкан. Он пригляделся, капкан был рядом. Ужасная минута... Лауры нет, а есть мадам Бюлье, овал улыбки смят испугом. Она довольно чуткая особа, ах, Лотта, Лотта. Поди-ка догадайся, что на уме... Да, Волга, Волга, Бурцев видел ее дважды: этапное движение в Сибирь и явочное бегство из Сибири. Но Волга — муттер, это так... Однако Австрия куда как ближе; не сегодня-завтра он с Лоттой будет там; австрийцы в стачке с русскими властями; и Бурцеву капут.

Он должен был придумать повод к изменению маршрута их путешествия, похожего на свадебное. И Бурцев отрешился от предвечерья в золотисто-смуглом освещении, от этих вот холмов и слитно-черных виноградников, дающих белое вино.

Я ж нахожусь в недоумении. Во-первых, чего уж там нашел он в Лотте? Во-вторых, как этот дядя самых строгих пра-

вил польстился на турне за дамский счет? Он в Лотте то нашел, чего искать не смел и не умел, — энергию соития. (Задача Лотты вам ясна — вспомните письмо в Санкт-Петербург «главному начальнику»...) Их путешествие уж длилось месяц, подобно месяцу медовому. В Италии балда и тот признает, что красота спасает мир. Но в Падуе, в Капелле дель Арена, она бессильна — Искарот целует, как генсек, Христа.

Прельщение дамскими деньгами осудит лишь благородный вор-карманник, каких уж нет. Скажу вам по секрету, и я бы мог, едва заслышав зов подруги. Ах, черт дери, никто не зазывает, а между прочим, зря... Но вот и третье: в Россию рвался, да заблудился-то в Италии. Что ж так-то, друг-товарищ, с революционного ты сбился шага? Ага, молчишь! Однако всем нам должно знать: курорты и заграники сорвали построение социализма.

Происходил нормальный ход вещей. Мой Бурцев ощущал свободу не как осознанную необходимость, нет, как свободу от борьбы идей. Им овладела легкость обыденного поведения. И прелесть беззаботности, когда нет нужды следить за тем, следят ли за тобой. В себе ловил он любованье природой, стариной и новизной, как будто не было и нет страданий огромных масс людей труда, которым он обязан служить борьбой с царем. Ах, Боже мой, позвольте подышать всей грудью!..

Что до амуров, то мадам держала Бурцева в приготовишках любовной страсти. То был, как Пушкин говорил, разврат, но добросовестный, ребяческий. Ан исподволь кралась тревога. В мальчишестве, бывало, тронешь языком контакты плоской электробатарейки: и боязно, и любопытно; ощутишь, как кисло щиплет слабый ток. К тому и вспомнил, что поначалу тревога моего В. Л. была какой-то слаботочной. Он не понимал причину. Да, Лоттин облик иногда двоился отражением в пруду. Однако подозренья не будили никаких прозрений. Он к прошлому ее не ревновал, а к настоящему и будущему был доверчив.

А Лотта? Тонкость восприятий, казалось, ей не свойственна. Поди-ка догадайся, что фантазерка-девочка, супруга коммерсанта-сухаря, способна уловить и «слаботочную» тревогу Бурцева.

Он был конспиратором из очень осторожных. Но не догадывался о замысле Рачковского-Бюлье, пока не выдался момент неизъяснимый: слетел к нам теплый вечер на тихие поля — там ресторанчик, белое вино, свеча.

---

У, как они заторопились. Телеграммы из Петербурга в Париж и обратно следовали в течение пяти часов. Сообщаю не для истории почты и телеграфа; с ними все ясно — захватили в первую очередь, и дело в шляпе, всерьез и надолго. Нет, желаю указать... Нынче все и всюду роняют на ходу: «в принципе», «в принципе». Слышу, в кафе одна официантка — другой: «Я в принципе кофе пила, завтракать буду потом»... Так вот, желаю указать, что в принципе за день можно было двум столицам обменяться депешами, даже и шифрованными. Но директор департамента полиции г-н Дурново и зав. заграничной агентурой г-н Рачковский нуждались в некоторых перерывах, дабы обсудить возникающие ситуации в связи с комбинацией, в которой участвовали Лотта и В. Л.

Располагая эти телеграммы в хронологическом порядке, обязан с благодарностью назвать дешифровщика — коллежского асессора Иллиодора Играньевича Зыбина.

Итак:

Из Парижа — в Петербург.

*Бюлье выразила желание содействовать аресту Бурцева. Посылаю добытые агентурным путем 10 экз. его фотографии. Подписал: Рачковский.*

На телеграмме резолюция красными чернилами, всегда радующими тех, для кого любимый цвет — красный: «Благоволите разослать по всем пограничным пунктам».

Из Петербурга — в Париж.

*Я не особенно верю в ее обещания. Подписал: Дурново.*

Вероятно, г-н Дурново все еще не оправился от травмы, нанесенной ему изменой супруги испанского посла. Отсюда недоверие к прекрасному полу. (Версия).

Из Парижа — в Петербург.

*На днях Бюлье выезжает с Бурцевым в Италию. Путешествие продлится около месяца. Благоволите прислать четыре тысячи франков по телеграфу. Подписал: Рачковский.*

Резолюция теми же чернилами: «Просить Рачковского командировать за ним филера. Деньги выслать. Предупредить Вену».

Только теперь сообразил: в ресторанчике рядом с Casa del Petrarca находился, кроме нас, здакий губастенький, очень похожий на комсомольского издателя, каковой, помнится, на Лубянку шастал; ныне, завидев маковку церковную, крестится. Так вот, этот самый губастенький и был, очевидно, филером, следующим за Бюлье и Бурцевым. Операция, выходит, проводилась грамотно. Но...

Из Парижа — в Петербург.

*Личная осторожность Бурцева восторжествовала над самоуверенными расчетами его мнимой подруги, если не допустить, что с ее стороны не произошло какой-либо оплошности, которая возбудила специальные подозрения этого опытного проходимца. Бюлье крайне огорчена. Намерена предложить новую комбинацию по возвращению Бурцева, который задерживается в Цюрихе сообразно своим планам, содержание которых Бюлье неизвестно. Подписал: Рачковский.*

Из Парижа — в Петербург.

*Бурцев вернулся. Бюлье уверяет, что находится с ним в прежних отношениях. Предложила поездку в Марсель как город ее детства. Бурцев согласился. Для Марселя готова новая комбинация. Благоволите телеграфом три тысячи франков. Подписал: Рачковский.*

Из Петербурга — в Париж.

*Против новой комбинации не возражаю, хотя исполнение ее может иметь неожиданные и неприятные последствия. Следует избегать всякой возможности огласки в печати. Полагаю нужным уведомить вас, что условия, предложенные вами Бюлье, вполне достаточные. Не следует выдавать лишнюю тысячу франков. Препровождаю прошения Бюлье, желающей представиться государю-императору, дабы сообщить сведения, лично его касающиеся. Объясните просительнице, что все это она должна передать вам. Не могу скрыть, что меня посещает мысль, не играют ли Бурцев и Бюлье комедию с какой-либо целью. Подписал: Дурново.*

Ах, г-н Дурново, негоже так долго гневаться на бедных женщин. Но если честно, то и я, весьма к ним расположенный, нахожусь в недоумении: уж не игра ли, не комедия? А вместе не исключаю драму. Из очень редких. А то и вовсе единственную в своем роде.

---

Сдается, Бурцев позабыл свой знобкий страх: задержат в Австрии и выдадут России. И эта выдача — он заподозрил — произойдет по наущению мадам Бюлье. И вот он согласился на марсельскую прогулку? Конечно — это Франция, республика, не Австрия. Но все же — опять он при мадам Бюлье. Впору толковать о странностях любви. Покорны ей и опытные проходимицы? А может, Дурново не так уж и не прав?..

Я пугаюсь в догадках, не знаю, что вам и сказать, однако сознаю, что авторы романов так не поступают...

В. Л. понравился Марсель. Особенно марсельский порт. Бродила, как в чану бродильном, всемирность запахов, разнообразие фуражек и кокард, наречий смесь и лиц, одежд и, уж конечно, состояний. Да, все это нравилось В. Л. Но вот уж точно: ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя для себя никаких последствий. А между тем в одном из

закоулков гавани ничем не примечательная яхта со звучным именем «Дантес» уж изготовилась к бо-ольшому каботажу\*. Еще тщательнее на яхте изготовились к приему таинственного господина. Он пожаловал, сопровождая мадам Бюлье. Шкипер знал Лотту: мальчишкой он был в ее пиратской шайке. Ничего пиратского в шкипере не наблюдалось. Он казался добрым малым. Он улыбался во весь рот. И пригласил перед тем, как сняться с якоря, пропустить по рюмочке.

Уверен, никто не в силах отказаться от предложений марсельских шкиперов, и, пропустив по рюмочке, В. Л. и Лотта спустились вниз, в каюту.

Не минуло и часа, как она, смеясь, щебеча, шасть из каюты, как на помеле. Дверной замок на миг язык свой показал, да и прищелкнул с тем щегольским звучаньем, какое свойственно на кораблях многим предметам.

И что же? А то, что автор снова в положении олуха царя небесного, а настоящий беллетрист в него попасть не может. Плечо, перо ужасно раззудились, но поперек бревном — гипотеза от г-на Дурново. Признав, что Лотта и В. Л. вели игру, смешно живописать его смятение взаперти в каюте, словно в КПЗ. И остается лишь распорядиться упрямыми вещами — фактами. Они имели быть.

Пусть яхта развела пары, да с якоря не снялась. Владелец судна, а также бравый шкипер поскучнели, ну, будто бы заныли зубы. Скучливость сменилась мрачностью. Профит, обещанный мадам Бюлье в награду за доставку запертого господина в одну из русских гаваней, профит не окупал возмездия за незаконнейшую процедуру — ни содержание под замком, ни выдворение из Франции без санкции. К тому же и загадочность мадам Бюлье, известной с детства своей экстравагантностью. И в самом деле, Лотта переменялась. Она впадала в состояние ближайшее от покаянности. В воображении стоял он, Вольдемар, худой и бледный, в кандалах.

\* Большой каботаж — сообщение между портами различных морей. — Д. Ю.

В душе ее очнулась жалость. Мне кто-то врал, что жалость, сострадание французенкам не свойственны. Вот вам опровержение, Шарлотта устыдилась. И этот стыд вдруг отворил каюту... А я опять смущен: а вдруг ли? И этот стыд послал вдруг телеграмму г. Рачковскому — Бурцев отпущен на волю шкипером яхты, комбинацией заинтересованы журналисты.

Вдруг иль не вдруг, а там, в Петербурге, на Фонтанке, всполошились: мы потеряем Рачковского. И, проклиная гласность, распорядились — расходись по одному. «Комбинация» лопнула, пропали денежки... А может, осели на счету Рачковского? Зав. заграничной агентурой был в этом смысле типической фигурой, то есть от всякой «комбинации» имел навар.

---

Сюжет сжимая, переправляю Бурцева в туманный Альбион.

Его там привечали старики. Такие славные, как князь Кропоткин и Феликс Волжовской. Последний имел в распоряжении средства для поддержания вольной русской прессы. В. Л. стал издавать малотиражку «Долой царя!».

Все хорошо? Пожалуй. Не следует, однако, забывать — марсельской неудачей был очень, очень уязвлен зав. заграничной агентурой. Провал снижал кредит. И банковский, и профессиональный. Мадам Бюлье он выгнал, не выплатив пособия. А департамент жаждал мести.

Рачковский пересек Ла-Манш. Был зол, сосредоточен, на юных англичанок не глядел. В шепелявом говоре вдруг стал змеиться шип. Ворон к ворону летел: где бы нам бы пообедать? Рачковские интернациональны. Они стакнулись. И вскоре главный инспектор сыскной полиции прихлопнул Бурцева. Да там, где прежде-то стеснялись: под куполом Британского музея, в библиотеке. Потом уж, на суде, лорд Кольридж, адвокат, воскликнул: «Вот где находился этот революционер! Он штудировал Шекспира и был арестован английским сыщиком!» Лорд, очевидно, полагал, что Шекспир снижает жар радика-

лизма, как таблетка аспирина — температуру. В одном из заседаний, все повторяя «ваша честь», он объяснял судье, какая цель у подсудимого. И оказалось, что в Европе-то она давно осуществилась, так иль сяк, но установлена в законном преломлении. А именно, прошу вниманья, ваша честь! — свобода сходок, гласность, федеративное устройство, права отдельных областей и местностей... И это было верно. Но также верно было то, что Бурцев даже на дверях своей берлоги повесил объявление: «Долой царя!». Суд счел, что это подстрекательство к террору. Козлу было бы ясно, что государь российский не подданный Великобритании. Судить бы Бурцева во Петербурге. Но выдаче он не подлежал. Тогда высокий суд решил — не выдавая Бурцева, оставить его в Англии, конечно же, не в Гайд-парке, а за решеткой, в каторжной тюрьме.

Вот так возникла фигура А-422: обитающая в корпусе «А», в четвертом этаже, под номером 22-м. Сплюшь желтая: уродливый колпак, рубаха не по росту, хоть парусом поставь, штаны в заплатах, с бахромой. Исподнее карябало кострой и тоже было желтым. Одежду испещряли аспидные стрелки. Они имели разный вектор, но извещали все одно: вот — каторжник. Мордовороты-вертухаи изъяснялись жестами горилл. Видать, еще не овладели членораздельной речью. Но грамоту в пределах нормы уже освоили. А нормой была инструкция о наказаниях... Спать на голых досках дюймовой толщины, миска овсянки, едва разваренной, в тяжелых комьях; параша, как надежное пристанище раздумий грудных, и Библия — все в тех же черных метках. Рабочий долгий день — вязанье шерстяных чулок — был столь же безглагольным. За день один поймешь природу английской молчаливости, а также организации труда.

Охота выступить в защиту русских тюрем. Они не столь уж выверенный механизм, дробящий и камня. Инструкции, позвольте вас заверить, не всегда есть руководство к действию, бывает догмою, и только. Короче, в наших тюрьмах

были возможны послабления.

В английской каторжной с отбоя до побудки не смеешь подниматься с досок. Заказан путь к параше. Лежи, терпи. Измаявшись вязанием чулок, В. Л. ночами маялся бессонницей. Там, высоко, на потолке, обозначался стеклянный четырехугольник. Пока В. Л. производил прибавочную стоимость, лок лил, как из кувшина, несколько галлонов света. Но, воротясь с работы, зек видел сумрак неминуемый и никогда не видел ясность Божьего лица. Прочерчивался иногда лишь тонкий лунный лучик. Казался стебельком соломы, не нужным даже утопающим. Но есть соломинка другая — простая арифметика: а сколько ж суток в назначенном мне сроке, и сколько ж мне связать чулок, и каково число ночей на этих досках, вполне пригодных для устройства домовины? И сосчитав, попятиться пугливо от итогов. И учреждаешь спотыкливый пересчет. Душе своей ты надоел донельзя; скользнув сквозь лок, она, хоть безымянная и астрономам не известная, включилась в бег расчисленных светил. А ты уж окончательно не ты. Лежишь колодой. Она как будто начинает мыслить, точнее, припоминать, когда претонкий лунный лучик изогнется вдруг в сережку, в сережку старенького серебра, и слышишь ты горячий шепот Сереги Цыганова, сибирского варнака. И тут В. Л. сжимало горло... Не спазм. Ведь спазм внутри. А тут обхват: холодный, жесткий, мокрый и шершавый. Варнак сидел на досках по-турецки. Серега Цыганов с серебряной сережкой в ухе принадлежал к «отчаянным», которым, как считалось, все нипочем, а между тем они-то знают, что почем. С чего бы он ни начинал, о чем бы он ни говорил с В. Л., не без элегий вспоминая таежные пути-дорожки, а все внушал ему, склоняясь низко и блестя белками, внушал: эх, Львович, брось размазывать ты юпку, всегда есть выход, и я тебе и разъяснил, и показал в остроге-то, в последнем перед городом Иркутском... В. Л. прохватывала дрожь. И мне казалось в этот миг — ей-Богу, такая точно дрожь трясла и нас с Пономаренкой.

Ах, Коля-Коля, Николай, сиди дома, не гуляй.

Он был военным летчиком. Подбили, в плен попал. Бежал, добрался до позиций англичан. Те подкормили, подлечили да и вписали в штат какой-то эскадрильи. О, вражеское небо, получи в подарок Колко! Давай, давай бомбить всех фрицев, не разбирая с высоты, кто очень виноват, а кто не очень. Войне конец, фонтаны фейерверков. У Колечки ну никаких предчувствий. Сказал «прости» английским боевым товарищам — и домой, ребятушки, домой. Забыли мы с тобою, Коля, про абакумовских служак, про эту гниду — «Смерш» — мол, «смерть шпионам». «Ты почему не застрелился, гад?!» Вам, господа, не надрывал сердечко сей вопрос. А тон и вовсе неизвестен; он фисташкового цвета, как комнаты допросов и заседаний военного суда... Там приняли в расчет и первую награду, и плен, и подвиги у англичан, особенно последнее. И вывели итог: червонец, десять лет. За что? Как не понять — да за измену Родине... Ну, бляди, смершевские бляди, вам с пенсией-то нет задержки, ась? Советы ветеранов в руках-то держите, надеюсь. И новых русских вольны отстреливать иль охранять.

Мы в зону с бывшим капитаном пришли одним этапом. И угодили в бригаду грузчиков. Бригадир, он же бугор, попался нам из ссученных — вор, исключенный ворами из предписаний своего закона; обычно мерзость и ничтожество. А этого, как вспомню, — позыв блевать. На харе алые и белые прыщи, глаза гнилые и без ресниц, зубов латунный тусклый цок (ведь можно — «конский топ»?)... И я теперь, содеяв то, что с Колей порешил, не стал бы каяться, а так вот с этим бы грехом на вые пошел бы на выездную сессию аж Страшного суда.

А дело-то сложилось так.

Бугор решил учить нас дрыном. Пономаренко крепок был, приземист и плечист, бугор огрел его, мой Николай присел от боли. Меня ударил по спине наискось, с протяжкой, глумли-

во. Продолжалось ученье и на другой день, и на третий. Мы норму не тянули, нам в наказание пайку споловинили. Попали в круг, и этот круг замкнулся... Тут мой летун, хлебнувший лагерь фрицев, говорит тайком: «А знаешь, лейтенант...» Я кивнул. «Поможешь? Чтоб наверняка...» А надо вам сказать, любезнейший читатель, что все зека уже собственноручно подписали какую-то бумажку (не указ ли из Кремля?) о том, что за убийство в лагере — расстрел. Но я уже своею волей приблизил рубикон, вообразив, как мы его в два топора возьмем, прыщи пробрызнут, глаза-гнилушки выскочат.

Его и нас спасло вмешательство Всевышнего. Я атеист, пусть хлипкий, но признаю вполне и честно: вмешался Он посредством кроткого солдатика охраны. Почти что мальчик, ростом мал, возрос на деревенской голодухе годин войны... Пришли мы на работу. Солдатик, улучив момент, окликнул: «Эй!» — мы обернулись, он блеклыми губами шевельнул: «Не надо...». И было внятно, что мальчуган-охранник угадал наш умысел. Велел нам огородить самих себя еловыми вешками. Сказал негромко: «Колите мне дровишки для костерка. А тот не может нарушать запретку. Нарушит, я его и щелкну». И вот тогда нас с Колей забила дрожь, похожая на ту, которая сейчас прохватывала зека Пентенвильской каторжной тюрьмы.

---

Но я ошибся. Владело Бурцевым веселое отчаяние. Поймите, коли сможете. Оно бывало у староверов — веселое отчаяние самосоженья. И у ребят с одной подводной лодки Северного флота — во вражеском фиорде минрепы скрежетали, касаясь корпуса. И у беглецов из зоны в тот миг, когда вот-вот и полоснут из автомата.

Просторно, холодно, высоко. Счет шел на миги. Бурцев поступал точь-в-точь, как научил варнак Серега тому лет десять с лишком. Чрезвычайно ловко и бесшумно В. Л. скользнул с «постельных» досок на пол. Окунул в ушат с водою по-

лотенце и выжал, и соорудил особую петлю — Серега уверял, что от нее спасенья нет — просунул голову, и шею охватило шершавым, мокрым и холодным; вторую же петлю он прицепил к железной полке.

---

Не смею осуждать самоубийства. Материя претонкая. То жизнь не жизнь. А то полным-полна коробочка. То нарушение каких-то функций, а то воздействие все тех же функций. Не смею осуждать и потому, что сам способствовал. Ужасно признаваться, смолчать негоже, поскольку бабки подбиваю.

В Бутырках мне соседом был майор-танкист. Мы там заканчивали свой «следственный период». Статью богатырь, он тяжело ходил туда-сюда и басом декламировал: «Скребицей чистил он коня... Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке, насилиу шей пустых дадут, а уж не думай о горилке...»

Борька Чибиряев, так майора звали, сидел, что называется, за правду. В гарнизоне ждали военмина. Тогда им был Булганин — бородка, как у Бурцева; глаза другие, поскольку вечно подшофе. А, вот что важно — министра ждали не на учение, а на отчетно-выборное партсобрание. Дорога в гарнизон была из рук вон. К ней гарнизон все руки приложил, она преобразилась, как при Аракчееве. Что ж в том плохого? Одно лишь то, что Боречка спросил товарища Булганина: мол, ладно ль в честь прибытья коммуниста к коммунистам мостить дорогу и сортиры чистить, а боевую подготовку побоку?! А стукачи уж тут как тут. И вот «Скребицей чистил он коня...» А к щам пустым добавили и показания гр. Чибиряевой, законнейшей супруги антисоветского майора. Казалось бы, да черт бы с нею, иудой в юбке. Так нет, майор пал духом совершенно. Не следствие сразило, не угрозы, не скуловороты, а подруга... Подруга в комсомоле ведь была, а проглядела. Он это говорил. И это. И о том. На очной ставке, очей не потупляя, все подтвердила, все повторила.

---

Майор лишился сна. Он отказался от прогулок. Майор готов был умереть. И он готовил себя к смерти. Не так, как Бурцев, по-иному, а я свидетель и участник. Да, участник, врагу не пожелаешь. Не объявляя голодовки, майор решился голодать. Тайно, чтоб не кормили через клизму. Пустые щи — в парашу. А кашу — мне; двойная порция, двойное, черт дери, и удовольствие.

Боря мыслил так: от голодовки, да еще сухой, обвальная утрата сил. А мы, то есть я и он, тем временем заточим черенки. У алюминиевых ложек и черенки, конечно, алюминиевые, мягкие. Их востро не заточишь. Ну, хотя бы до степени столового ножа. Потом мы жили вскроем. (Он сказал: «Мне ж одному-то не управиться».) Но если и не вскроем, тогда ты их продавишь. (Он сказал: ночью, под одеялом, я кровью изойду, а ты лежи и мордой — в стенку.)

Он обо мне не думал. Ведь он, майор, уместится в графе самоубийц. Куда же я, в какой параграф? Ну, вроде вопля на послевоенном рынке: «Анвалид анвалида уби-и-ил!». Но — примечательно: я сам-то о себе не думал. То ль срыв всех нервных окончаний, то ли подобие самоубийства собственного «я», не понимаю до сих пор. Однако подноготно было: ох, пусть заметят, пусть заметят приготовленья наши... Нет, не был нам ниспослан тот деревенский служивый мальчик, в шинели не по росту, он полы подтыкал, тот паренек-солдатик, которого мне не забыть до гроба.

А Боря Чибиряев слабел, слабел; ему уж трудно было притворяться едоком, чтобы надзиратель не увидел, что он ни крошки не берет и ни глотка не пьет. Уж слышен был тяжелый запах ацетона... Однажды за полночь майор сказал: «Давай, поехали»... Я сделал все, как мы условились. Все быстро, быстро, но мутным глазом зацепил, что кровь пошла толчками, вялыми толчками, густая, она, казалось, выползала, словно киноварь из тюбика, и этот тюбик я узнал — тот, детский, величиной с мизинец, как в школе на уроке рисованья... Лег на

койку, отворотился к стенке. Не определю, долго ли... И словно б катапультной меня вдруг выбросило на середку ужасной камеры. Прислушался — не дышит. И я навзрыд ударил в дверь — железную и гулкую — бил кулаками и ногами, как одержимый, как в припадке. Скорее скорого сбежались командиры. Я дух не перевел — меня уж волокли в кандей. Грудь сжало, и это было перехватом сердца в горле. А дальше... Я ничего не знаю. Не знаю. Ничего не знаю. Что с ним случилось, с Борей Чибиряевым? Не знаю. Я ничего не знаю. Не знаю...

Судите-ка меня, я не сошлюсь на Ильича, который уверял, что умерщвление — не убийство. Быть может, умерщвление законом писано, но не для нас закон — для медиков... Судите-ка меня. Но я приму лишь приговор от зеков. А не от бывших из Цека или Чека; и не от тех, кто прел в шевиотовых портках в парткомах, а не кормил клопов на нарах; загорал в Форосе, а не у костра, и не от тех, кто пахнул «Красною Москвой», а не черным духом чертовой погрузки, и не от вапших жен или любовниц, а лишь от баб, которые бывали там и, не имея перемены нижнего белья, воняли тухлой рыбой и, стоя по соски в студеных водах лесосплава, утратили надежду на детей.

А нынешних и вовсе я не стану слушать. К чему? Зачем? Уж лучше перечитаю Марка Соболя. Он мудрость жизни познавал не где-нибудь, а в Темниковских лагерях времен Ягоды и Ежова. А мудрость смерти — в батальоне штрафников: «Не беспокойтесь, мы крикнем «ура» перед расстрелом...» Теперь протягивает ножки по одежке, не ожидая презентов президентов. Позволь, Маркуша, повторю:

Шуруйте, ребята, на наших костях,  
На наших костях,  
На своих скоростях.

---

На «мерседесных» скоростях шипы чернят асфальт. Остается

след, подобный грифельным дощечкам. В Пентенвильской каторжной их разносил фельдфебель. И только избранным, и только в канун свидания. Дабы счастливец разметил все вопросы загодя. А то от радости спрыгнет с ума. На этот раз фельдфебель припас дощечку и для русского под номером 22-м.

Никто и не догадывался, что русский едва не прекратил существовать. В его глазах тогда чередовались тьма и искры, как под дугой трамвая влажной ночью. В последний миг он напряженно изогнулся, пустил мочу — и вывернулся из петли. И ощутил, как говорили в старину, чугуна во всем составе. А утром он опять чулок вязал.

Гм, фельдфебель и ему принес дощечку.

Ни мне и, уверяю, никому другому он не рассказывал об этом, единственном, свидании в аглицкой тюрьме. И если бы не Лев Григорьевич, московский архивист... Аронова люблю, он светел, добр. Он не дощечку мне принес, а тридцать с лишним маленьких листков — чернила черные, а строчки мелкие. То были письма из Англии во Францию. Письма Бурцева к мадам Бюлье.

Пойди-ка разберись! Заарестуй она его в каюте яхты, ну, разве ж он продолжил с ней роман, пусть и почтовый? Но он продолжил. И что же? Ведь эти письма она же пересылала в Петербург, на Фонтанку, и потому они и сохранились, принес их мне Аронов. Вот я и говорю, пойдиди-ка разберись.

Он обращался к ней — дорогая мадам; подписывался — ваш Владимир. Сообщал житейские подробности, какие не сообщают лишь из вежливости. И о занятиях в библиотеке Британского музея, ежедневных занятиях, в такие-то и такие часы. Напоминаю: там его и взяли. А взяли, полагаю, по наводке этой самой Лотты.

Но вот опять она меня сбивает с толку. Листок тетрадный, без адреса. Какой-то крик в пустыне: «Боже! Вольдемар не обидел бы и мухи! Эта чистая душа, забывшая личные интересы ради высшей справедливости. Он милый, кроткий, не-

злюбивый. И такого человека подвергают грубым повседневным пыткам в каторжной тюрьме».

Сентименты иуды в юбке? Но мадам Бюлье едет в Англию, она добивается свидания с заключенным. И она получает разрешение на свидание с В. Л. Представьте, день, другой спустя после его попытки руки наложить.

Вся в черном, под черною вуалью дама подошла, терзая черную перчатку, к высоким глухим воротам с такой же высокой калиткой и прочла: «Без звонка входить строжайше запрещено». Запрет, как часто бывает в тюрьмах, рассчитанный на идиота: дверь была заперта. Она позвонила. Послышались мерные тяжелые шаги,бряканье связки ключей. Мундирный человек спросил: «Что вам угодно?» Она ответила: «Свиданья». — «Ваш пропуск». — «Извольте». — «Хорошо. Пройдите».

Помещение для посетителей оказалось просторным и голым, как морг. Ночью, очевидно, протопили камин. Пахло углем, залитым водою, и той кислой затхлостью, которая неизбывна в такого рода помещениях, хоть ты их ежедневно взбрызгивай флёрдоранжем. На жестких стульях сидели скорбная старушка, двое детей, державшихся за руки, утрюмые мужчины. Старушка от каждого звука вздрагивала, пугливо озиралась. Вошел здоровенный солдат, оглядел всех презрительно и даже с осуждением, будто и посетители такие же мерзавцы, как и те, к кому они пришли на свидание. (Замечаю попутно: у нас, в наших тюрьмах, таких болванов и не встретишь.) Солдат этот назвал несколько фамилий, в том числе и что-то похожее на «Боуоле», то есть Бюлье, и жестом пригласил следовать за собою. Приглашенные, подавив рыдание, бросились вслед за здоровенным солдатом и очутились в длинном полутемном зарешеченном пространстве, разделенном, как в конюшне, на стойла, затянутые металлической сеткой.

И Лотта увидела заключенного А-422. На нем был желтый колпак. Он был обрит наголо. Глаза запали глубоко, не сразу определишь, зрячие или слепые. Заключенный А-422

внезапно рассмеялся. Первые «ха-ха» были громкими, последние, затихая, словно падали на пол. Он сказал: «Мадам, я вам свяжу чулки. Это теперь моя специальность». Всем телом он подался вперед, сетка прогнулась, Лотта увидела, как он отделился от пола, а затем начал медленно-медленно разворачиваться вправо и удлиняться, удлиняться...

Мадам Бюлье почти на руках вынесли за ворота. Пустырь освещало солнце. Там все еще мальчишки гоняли мяч.

---

В тот день и час, когда наш Бурцев вышел из тюрьмы, дождь смыл всех футболистов. Никто не наблюдал, как Бурцев ладони протянул к дождю и улыбался. Мокрые ладони сжимал и разжимал, ладони были безобразно заскорузлыми, а пальцы — черными, с обломками ногтей. Такими грабками уж не ограбишь, и, значит, Пентенвильская тюрьма служила исправленью нравов.

Но Бурцев не мог остаться в Англии, в стране, где за решетками все вяжут, вяжут, вяжут. А в городе Париже жить он мог. Там ведь жила и Лотта. Что до Рачковского, то он ведь помер. Не здесь, в России. А тот, кто Бурцева-то заклеямил «маньяком»?

---

Напоминаю, г-н Неймайер обитал в Берлине.

Маньяк не без труда установил его тождество с Азефом. Пришлось дать объявление в газетах. И выложить в награду пять тысяч франков, одолженных у Лотты. (Хорошенькая ситуация, не правда ли?)

Евно Фишелевич не сразу согласился на randevu. Он полон был амбиций. Ведь он установил роль Иуды Искарюта, роль историческую, а посему и счел себя локомотивом поезда истории. Да, отставным; да, отвергнутым и теми, и другими, а все ж локомотивом. Это не было ни цинизмом, ни игрой, а было что-то вроде историософии, для него, Азефа, лестной.

---

Он потому не сразу согласился на randevу с Бурцевым.

Во-первых, он не функционер, а один из вождей партии. Следственно, нельзя считать его желание разговора с кем-либо из лидеров желанием зазнайки-честолюбца. Во-вторых, он намерен представить *summa summagum* своей деятельности. И тогда: а) в случае признания ее положительной (хотя бы не в полной мере) он требует публичной реабилитации; б) если же такое признание не воспоследует, он вынесет себе смертный приговор и приведет его в исполнение.

Маньяк долго не откликнулся. Азеф верно предположил: его условия обсуждают цеклисты. Но верно было и то, что «партийная среда» эти условия не приняла. Эсеров возмутила постановка вопроса: вот мельница — вот вода. Геркулесовы столбы безразличности, а дальше море тьмы, и пусть там плавают Ульянов со своим Романом Малиновским.

Эсеры отказывались от randevу с Азефом. Маньяк, он же Бурцев, предложил свои услуги. И заверил честным словом — камня за пазухой не держу: не приведу, мол, за собой никаких мстителей.

Азеф согласился. Ему хотелось думать, что согласился-то он не ради себя, а ради Манечки. Хотелось думать так, и он так думал. Был готов забрать ее из клиники, отхолить дома, в Берлине.

Азеф приехал во Франкфурт-на-Майне.

В кафе гостиницы «Бристоль» Азефа ждал маньяк.

Азеф вдруг понял, что завереньям нельзя верить, что там, в кафе, его застигнет бумеранг. Он задыхал прерывисто и тяжело, услышал скверный запах пота, как будто бы не своего, а бабьего, и ему стало стыдно.

Он вошел в кафе. Бурцев, опираясь ладонями о столешницу, привстал, пенсне блеснуло, дрогнула бородка. «Уф!» — выдохнул Азеф.

---

Роман без снов не полон, как и человек.

В заливе мылся мыс, он назывался Лисий, залив был Финский. На Лисьем люди вешали людей. И каждый числил в нелюдях другого. Скрипели сосны, длинные и тонкие, как у меня за окнами, здесь, в Переделкине. Над их вершинами рассвет размыл иллюминаторы, чтобы дежурный ангел, пролетая, видел виселицы, висельников, их палачей и безутешность иудейки Манечки Азеф. Побитая камнями, с обритой головой, нетвердо, косолапо она бредет за каждым, кого предал ее любимый брат. Опять, опять, опять петля, петля, петля. Раскачивает эти петли четкий, четкий, четкий звук поездов...

И я пропел во сне и сам себя услышал: «Не спеши, паровоз, не стучите, колеса...» Везли невесть куда. Меж нами был старик. Он злобно шамкал: «Они мне дали десять лет, а я вот хрен им досижу». Мы обнимали старика, смеялись. Не так ли, Женя? Тебя, артиллериста, не убили на безымянной высоте, на всех дорогах вплоть до города Берлина, и ты, бывало, говорил: «А чтоб меня убили, они у нас еще поплачут». Ты, подполковник Черноног, ты мертв, а бывший лейтенантик жив. Осмелюсь доложить: не плачут, нет. Пускай, мол, каются жиды. Коммуняки в Думе не встают почтить убитых в зонах. И жаждут снова сунуть нам червонец, а то и четвертак. А я вот хрен им досижу!.. Слоноу брызжет сын юриста: «Арестовать! Арестовать!» Ведь что обидно, Женя-друг? Засрала шушера Лефортово, смешавшись в кучу без жемчужин. То ль было-то при нас?..

Тут голова моя с подушки соскользнула в корзину гильотины. Желтела плешь, ну, словно бы верхушка дыньки, когда-то названной «колхозница». А кучерявый сын юриста по лысине моей — вприхлест фуражкой Тельмана: «Заткнись! Заткнись!» И я очнулся с мыслью об Азефе.

---

В кафе гостиницы «Бристоль» он заказал картофель, котлетку он отверг: «Я, знаете ль, вегетарьянец». Он ел и рассуждал.

Рассуждения Азефа о мельнице и о воде отвратили Бурце-

ва. Условия Азефа он не взялся сообщать эсерам... А положения и выводы — Иуда и Великий Провокатор, Локомотив Истории и т. д. — он расценил кошунством. Азеф обиделся. Но сдержался, не возражал. В сущности, ему всего важнее было взять Бурцева в обход, со стороны несчастья домашнего.

И он, казалось, преуспел. Владимир Львович был тронут чадолубием Евно Фишелевича, хотя успел подумать, что у иных, наверное, и чадолубие есть средство для очищения души, как венское питье — для очищения пищеварительного тракта.

Вышло какое-то замешательство. Бурцев почувствовал, что он вроде бы упустил Азефа. Надо было сразу брать быка за рога. Ведь он, В. Л., искал свидания для того, чтобы Азеф пошел на суд... Нет, не второй третейский, а на первый там, в России. И он, В. Л., презрев арест, явился б в Петербург. Всея благомыслящей России давно уж надо показать, как провокации развели сифилитическое государство.

Азеф был поражен «безумством храбрью». Он головою замотал — крепкой, совершенно круглой, точно шар в немецком кегельбане. И стал смеяться, вскрикивая: «Ой!» Потом умолк и отдышался. Спросил: «Не вы ли рыцарь бедный?» В. Л. подавленно молчал. Азеф ехидненько продолжил: «Тот был Игнатушкой Лойолой».

И Бурцев встал. «Одну минуту», — остановил его Азеф. И произнес раздельно: «А Беллу Лапину вам не прощу...»

---

Спешил паровоз, стучали колеса.

Возвращаясь в Париж, Бурцев не сомкнул глаз. Он был измучен и телесно, и душевно. Измучен, выпотрошен, вывернут наизнанку.

Азеф ляпал по столу ладонями: «Беллу я вам не прощу!»

В купе была милостивая молодая женщина. Эту женщину Бурцев никогда прежде не видел. Беллу Лапину он не видел

никогда. Сейчас в купе В. Л. поднимал глаза на миловидную молодую женщину, и она была Беллой... Беллу Лапину, сотрудницу Азефа, он, Бурцев, обвинил в предательстве еще прежде избличения ее шефа. Азеф защищал, Бурцев настаивал... Белла была из тех террористов, которые избрали родом девиза — вот это: Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю... Не выдержав обвинений во иудинном грехе, Белла Лапина застрелилась... В кафе гостиницы «Бристоль» Азеф ляпал ладонями по столу: «А Беллу я вам никогда не прощу!» Бурцев сам не прощал себе Беллу: он ведь вслед за самоубийством обнаружил доказательства ее невиновности. И сам объявил о своей страшной, ужасной, непростительной ошибке.

Спешил паровоз, стучали колеса.

Возвращаясь в Париж, Бурцев глаз не сомкнул.

---

В доме на рю Сен-Жак консьержка отдала ему почту. В. Л. поблагодарил матушку; давний парижанин никогда не говорил консьержкам ни «сударыня», ни «мадам», нет, только «матушка», что было как бы домашней доверительностью, хотя кто же не знал, что все привратницы — наушники полиции.

Поднимаясь в пятый этаж, привычно поморщиваясь от запаха кошек, жареной рыбы и лука, Бурцев перебирал газеты и письма. Он мгновенно узнал почерк Веры Николаевны Фигнер. Ее корреспонденции — эта была из Женевы — он читал прежде прочих, подчиняясь внепартийному, внеуставному статусу «нашей Веры», которую когда-то, еще при Желябове и Перовской, называли «Вера—Топни Ножкой».

Роман без снов не полон, без писем тоже.

---

Какую мрачную фигуру представляете Вы, Владимир Львович! Вы идете, как Смерть с косой, хуже, чем Смерть, — как

---

черное привидение с крючковатыми длинными пальцами. И черная тень падает всюду, куда вы ступите. Из черного мешка вы сыплете извещения о предательстве, об измене, о продаже душ, о преступлениях против товарищества, дружбы, против всего, что есть дорогого и святого для людей; сеете подозрение, сеете ненависть и презрение к человеку вообще. Вы страшный человек, Вы черный человек. Вы зовете к борьбе с провокацией? Какими средствами? Разве есть иное средство выполоть эти плевелы, чем культурная и политическая деятельность в России, среди народа, в городе, в деревне, на фабрике, в поле, везде, всюду, во всех слоях? Неужели можно всех провокаторов изловить, обличить? Эта проказа обратится в мелкую сыпь, когда в России будет свобода. Надо звать на завоевание ее. Но Вы не к этому зовете. Вы хотите заведения собственного шпионажа, хотите бесконечных разбирательств, обличений, улик, вердиктов. Неужели это производительный труд? Нет! Уж лучше будьте одиноки в своем душегубительном шествии.

---

Фигнер Веру Николаевну я увидел, когда ей было далеко за восемьдесят. Красивая и строгая, причесанная гладко, с пробором ровным, что называется, по нитке. Был ею навсегда усвоен параграф краткий: «Tenez-vous droit!» — «Держитесь прямо!»

Ее любили, ее и предавали. Главным иудой оказался отставной штабс-капитан Дегаев Сергей Петрович, предтеча Евно Фишелевича. А может, покрупнее. Дегаеву она была обязана двадцатилетней каторгой. Но это «держитесь прямо» включало и удовольствие от доверия к сотоварищам.

Летом жила Вера Николаевна в Валентиновке. Пристанционный на припеке мир. Сарай с манящей вывеской «Приемка стеклотарь». Под сению берез — сортир, две двери — «М» и «Ж». На колесах бочка, опустившая оглобли, имела надпись: «Квас». В квасном патриотизме сходились стар и млад. И каж-

дый объяснил бы вам, какой дорогою пройти за наименьшем храма к каторжанам.

Они свое товарищество называли, как юннаты: «Зеленовод». Все были бывшие — народовольцы и эсеры, анархисты и, кажется, меньшевики, и выкресты из бунда в беки. Рублевые дачи точили дух смолы; земля — цветов, клубники; река — туманов. Как хорошо и на исходе жизни чувствовать себя юннатом, зеленоводом и, поливая грядки, аполитично толковать с соседом. Как хорошо здесь тихим думам литься в капельках чернил. Да, на веранде пишет Вера Николаевна. Накинула платок, в руке перо-рондо, и капельки чернил перетекают в заявление начальству:

«Каждое лето я провожу 4 месяца в небольшой дачке, пользуясь покоем и отдыхом, столь необходимым мне в моих преклонных годах, мне 86 лет.

Однако в конце 37-го и начале 38-го органами НКВД были опечатаны 3 дачи и отданы под общежитие рабочих и работниц. Весь нормальный порядок жизни нарушился. С раннего утра до позднего вечера играют патефоны. Сор и отбросы отравили жизнь. Так жить нельзя. Присоединяюсь к ходатайству Правления кооператива о возврате дач. Надо урегулировать нормальный ход вещей».

Жизнь отравили сор, отбросы? Да это же и есть нормальный ход вещей. Однако Петровичу принадлежало на сей счет особое мнение. Раскулаченный, он прилепился к правлению кооператива «Зеленовод». Бывшие народники, а ныне пенсионеры-кооператоры перенесли на Петровича скудные остатки своей любви к народу. А он, неблагодарный, утрюмо ухмылялся: «Так вам, чертям, и надо!»

Бедняги дон-кихоты, приняв снотворное, гасили свет и затворяли ставни. Они страшились какофонии пролетариата:

У меня есть тоже патефончик,  
Только я его не завожу,  
Потому что он меня прикончит,

Я с ума от музыки схожу.

Звезда с звездой не говорила. Какой же разговор, когда играет патефончик?

---

Но вот от патефонов-патефончиков скользишь ты к граммафонам-граммофончикам; ты думаешь о том, что здесь, в Париже, в кануны первой мировой войны патефонов не было в заводе, а заводили граммафоны. На них жирели два буржуа. Пате владели граммафонной фирмой. Фокстроты мелкой стежкой строчили под крышами кварталов. Танго дышали жаждой зноя, как зонтики на ипподроме. На рю Сен-Жак, где Бурцев нанимал квартиру, как, впрочем, и везде, фокстроты озадачивали кошек, им чувствовалось присутствие лисицы, ворующей курятину. А мне танго — полет летучей мыши. Раб точности, я должен указать, какой породы — их в Аргентине семь, но я за океаном не был.

Меж тем над грешною землей витал и демон ярости с карающим мечом. (Красиво изъяснялись в наше время, не то что нынешнее племя с ненормативной лексикой!) Призрак коммунизма теснили признаки войны. Однако Бурцев не замечал их, как многие из нас. Но и не так, как все мы.

Фигнер его отпела. Отповедь имела сходство с рапирою Азефа. Самоубийца Белла ходила по пятам. Он выпал из тележки. Кювет, конечно, не башня из слоновой кости, всего лишь род уединенья. В конце кювета свет? Нет, светопреставленье. А может, карусель?

Тянуло вон из дому — куда? Э, в никуда. Но Люксембургский сад был исключением. За исключением воскресенья, когда филистеры притащат чад на чинную прогулку; как жаль детей-страдальцев: они бледны, им скучно; штанишки режут попку, а курточки тесны. Куда как лучше ненастный вечер в будни. Бистро, аллеи пусты. Безумная старуха в драпой шляпе фонтанных кормит рыб, они мерцают медью, она поет. А на

скамье близ каруселей, хоть не всегда, но и нередко немец, которого, я знаю, изобразит нам Пастернак.

Все это под конец прогулок Бурцева. Бесцельные блуждания? Нет, цель была: физическая усталость пусть свалит с ног по возвращении на рю Сен-Жак. Усни мгновенно, чтоб не притронуться к анафеме — письму от Фигнер, не думать об Азефе и не ждать прихода мертвой Беллы. О, черный человек, ты одинок, как пешеход в туннеле метрополитена. Ну, выползайка, выползай.

Коняги-першероны катили омнибус. В. Л., как прежде, ездил не внутри вагона, а на крыше, и этим сэкономил пятьдесят сантимов и столько, кажется, на каждом из обедов, коль куплены талоны впрок. Автобусы (новинка), фырча на перекрестках, давали фору омнибусам; засим, перегоняя, натягивали конкурентам нос. Шоферы такси-рено сидели у руля без всякого укрытия, ну, словно наши бедолаги-ваньки на облучке. Назло всем непогодам полупальто собачьим мехом наверх. И потому такси-рено, кружась, танцуют собачий вальс. И этот беглый красный смех реклам. В канканах электричества Париж. Он опостылел Бурцеву. «Обрыд», сказал бы я, да ведь ошибаются: так о Париже неприлично.

Но вот и Люксембургский сад.

В бистро есть кофе, есть абсент. То и другое — дрянь, хотя В. Л. не гастроном, а «эконом». Он мимо, мимо. Туда, к скамье. Вы помните, мой дорогой? О да, скамья у каруселей. Случалось, Бурцев заставлял там вежливого господина. Знакомство было шапочное: приподнимая котелки, они обменивались взглядом. Взгляд незнакомца был глубокий, мягкий. Черты прекрасны; лоб из тех, что раз и навсегда отмечены как благородные; и шелковистая бородка.

Они в беседу не вступали. Отсюда встречное расположение друг к другу. Наедине с собою оставался каждый. И с этой каруселью города Парижа.

А та, Санкт-Петербургская, стояла на плацу.\*

Солдаты, побатальонно маршируя, умертвили плац. Потом в хрусталь апреля был врезан черный эшафот. И на его платформе палач убил цареубийц. Бурцев, питерский студент, в толпе услышал: «Так им, чертям, и надо». А рядом в длинном ветре протянулось грустно: «Не уезжай ты, мой голубчик...» — романс, любимый и Желябовым, убийцей из крестьян, и убиенным государем, освободителем крестьян... Потом на месте виселиц возникла карусель. Ее построили подобием парохода. Народу привалило ничуть не меньше, чем на казнь. Пришел и Бурцев — поглядеть, как эшафот, сменившись каруселью, способствует движению к свободе... Тальянки грянули враспяжку, громада двинулась враскачку, народ кричал «ура»... Ах, карусель ты, карусель, гармошка, плаха, плац. Гремучие каркар, гар-гар. А «п», приклацнув, рождает эхо: церва-а-а-а, что есть краситель натуральный — в желтый цвет гауптвахт, смиренных домов, махров тумана и навозной жижи.

В замене эшафота каруселью не обнаружишь ты порыв к свободе. Она, наверное, без нужды. Однако Бурцев ужасно горячился. Никто ему не пел «Не уезжай ты, мой голубчик», и он отправился в Сибирь.

Стал слышен шорох багряных листьев и голос Рильке: «Und dann und wann / ein weisser Elefant». Взглянув на Бурцева, смутился стихотворец. В знак извиненья Райнер Рильке дотронулся до шляпы. Бурцев улыбнулся. А Белый Слон и вправду шел по кругу.

Хорош и рыкающий лев, хорош и аргамак. Куда-то мчит-ся заяц, прижимая уши. Свинья и пес — вдогонку. Петух, как мушкетер, казалось, шпорами бряцал. Зверье, хоть в круговерти, но не зверской. А иногда проходит Белый Слон. Не «иногда», как думал Рильке, а в свой черед. И вовсе он не Слон, а Парус, думал Бурцев. Не знал В. Л., что и сосед-молчун, слу-

---

\* В 1870 на Семеновском плацу происходили убийства посредством «мертвой петли».

чается, так думает. Но у поэта разнообразие ассоциаций. У Бурцева — виденья шхуны, виденья детства... В конце туннеля свет для тех, кто верует. Бог так распорядился в милосердии своем: беднякам дать отраду в воспоминаниях об изначальных летах, поскольку все другие годы в туннельном мраке и нет им продолжения за гробом.

---

Гарнизон квартировал в фортеции. Ее поставили у моря. В двух-трех верстах. Залив Тюб-Карагинский имел сторожевое охранение от буйной дури Каспия. Мыс, выбежав вперед, дробит накат. А мели исподволь, втихую его гасят. Волна меняет синь на прозелень. Достигнув меловых обрывов, дарит им мелодичный переплеск.

Явление парусов «Туркмена» считалось праздником. На холмы Мангышлака спешили семейные двуколки с запасом снеди и питья. А саксаул для самоваров тащили денщики.

Ну, что сказать вам о «Туркмене»? Грязнуля, увалень, прожарен азиатским солнцем. В угрюмых трюмах — припасы на долгую зимовку и гарнизона, и форштадтских штатских. Ходил «Туркмен» из Астрахани в форт Александровский, оттуда иль в Баку, или обратно в устье Волги.

Казенное добро везли обозом в форт. В белесом сухозное плыл русский дух — дух дегтя, корчажного иль ямного. А ведь солдату брили лоб в какой-нибудь из коренных губерний; ну как обозному не пригорюниться в миражном шелесте березняка?..

Товарам лавочной торговли распахивали душу и объятия армянские сидельцы. Они убрались за море от близости обманов. Какие сюртуки, какие шляпы! Фу-ты, ну-ты, как говорит денщик Кузьма, он в няньках состоит при детях штабс-капитана Бурцева.\*

---

\* О Бурцеве Л. А. имеет автор сведения, добытые в архиве. Однако не станет обнародовать. Крадут! Конечно, в надежде славы и добра. Однако ведь обидно, не так ли? — Д.Ю.

И вот уж кончен бал — уходит шхуна. Кузьма, философ, скажет: теперича иль обыденка будет, иль вылазка на дикарей. Прибавит вдумчиво: прах их возьми, не любят нашего царя.

Мы в фортеции живем,  
Хлеб едим и воду пьем.

Зимы водворялись мутные, долгие. Метели, напрягаясь, бурашили. Ни зги, — как в «Капитанской дочке». Про это им читала мама, дочь капитана. Как долги были зимы, снег пополам с песком полупустынь. Домашний гарнизон маршировал на месте: «Мы в фор-те-ции жи-вем, хлеб еди-м и во-ду пь-ем...» Топили печи саксаулом, соединенье странное — твердость с хрупкостью. А эти лошади? Таких в Расее нет, говаривал Кузьма. Стройны и длинноноги, гривка по всему хребту — степные кони пахнут степью, а степь — конями... А этот сад? Денщик Кузьма водил гулять не в Летний сад, а в сад общественный. Указывал: развел сей сад солдат Шевченко. Бурцев, штабс-капитан, ему сочувствовал... В общественном саду играла музыка. Солдаты разносили чай, бисквиты, лимонад. Бильярдные шары, замедлившись в разбежке, обозначали знаки зодиака на зеленом поле. А танцы в зале при свечах отец не жаловал, ему, наверное, медведь нажал на ухо. Ночами, глядь, прихлынул чистый холод. А день, достигнув полдня, струился, будто над жаровней. Вечерами — зной застойный. Повторишь за Тургеневым: «и не шелохнет».

А как лютые враги  
Придут к нам на пироги,  
Зададим гостям пирушку:  
Зарядим картечью пушку.

Враги не приходили. На врага ходили. О близких сроках вылазки из форта свидетелем был запах очень мирный, домашний и уютный. Сухари заготавливали впрок в казарменных печах, в домах и во дворах. Сухарь был королем в солдатском рационе, а чара полугара — королевой. А символом державы

— одомер. Штуковина простая, но выразительней патриотических тирад. На спицу в колесе лафета одомер прикрепят, и он вам сосчитает приращение державы, поскольку ее версты — пушечные.

Вот войско отправляется в поход, тебе и весело, и жутко. На гарнизонной церкви сияет крест. Как ясны трубы в отсветах креста. Пирушку зададим! Колонна в темно-зеленых чекменах идет навстречу бою; одомеры уж счет свой завели.

---

А над Парижем цепенели цеппелины.

Сад опустел. Нет, не общественный, который в Александровске, а здешний, Люксембургский. Куда-то делся Рильке, поэт-молчун, теперь уж просто немец, бош. Портрет настенный, то бишь Азеф, уж не смеется, указывая на письмо от Фигнер. А за тяжелою портьерой, вобравшей запахи жильцов, там, в духоте, не ждет несчастнейшая Белла, чтоб проклянуть клеветника.

Двадцатое столетье началось. Э нет, не календарно. Календари в ладу лишь с Хроносом. А если вглубь, взаправду, то заявился наш славенький Двадцатый в обнимку с первой мировой войной.

Газетчики напыжились: «Разве не слышите вы, как стонет земля, требуя крови?». Новобранцы крови не требовали и потому надевали красные шаровары и красные кепи — лучшие мишени для германских стрелков и пулеметчиков. В придачу интенданты выдавали парням голубые шинели, но это не считалось метой гомиков, а было, согласно планам Генштаба, поротным пропуском в райские кущи. Эмигранты записывались в Иностраннный легион для защиты Марианны от насильников-тевтонцев! Мсье Фи-к, мой голицынский мэтр, тогда журналист, тоже записался и, как настоящий воин, купил себе походную трубочку-носогрейку и большой кисет чертовой кожи.

То там, то здесь обнаруживалось явление, до войны неведомое, — возникали очереди. В России говорили «хвосты», нимало не предполагая, что хвостатость городов имеет быть почти на восемьдесят лет.

В доме, где жил Бурцев, матушка-консьержка сделалась необыкновенно приветлива. Она слышала, что мсье отправляется на родину, и умиленно восклицала: «Виват!».

В кануны отъезда В. Л. все чаще навещал мадам Бюлье. Она по-прежнему жила на *ru des Beaux Arts*. Бурцев замечал Лоттино увядание. Повторяйте вслед за поэтом: женщины ходят, молодые и старые; молодые красивы, но старые гораздо красивее. Повторяйте, и все будет в порядке. Но суть отношений В. Л. и Шарлотты требует ответа Декарта на вопрос: какая из страстей проявляется чрезмернее — ненависть или любовь? Философ ответил: «Любовь!». Вот так-то. Бурцев смущенно пожал бы плечами.

Нет объяснения логического любви мсье Бурцева и мадам Бюлье. Эта женщина покорно соблюдала два неизменных, два неперемных, два неукоснительных условия под угрозой немедленного разрыва. Лотта, во-первых, не смела интересоваться эмигрантами, их партийными спорами и заботами. Нетрудно вывести — В. Л., избличающий провокаторов и осведомителей, неизменный враг департамента полиции, агента Рачковского, этот же самый В. Л. скрывал от всех свою связь с Лоттой и, значит, то ли подозревал, то ли знал о ее сотрудничестве с департаментом полиции. Туманно, странно, как и потемки наших душ.

Зато сакраментальное «что делать?» — яснее ясного. Давний враг царизма... Ну-ну, слышал, сей «изм» коробил слух Набокова. Э, ладно, мы в «измах», как в парше, родились, мы с ними и померем... Так вот, давнишний враг, коему под угрозой ареста запрещался въезд в империю, вознамерился вернуться в Россию. Это не было возвращением к патриотизму; это был патриотизм в условиях чрезвычайных. В. Л. распри с

«бездарными» не позабыл, он эти распри отложил, внимая голосу надежды. Ибо! Не могут же ни монарх, ни правительство, пусть и бездарные, не могут, не смеют ради спасения родины не встать на путь демократических преобразований. И посему: ни правых, ни левых; в единении — сила, все для фронта, все для победы. Только без ленинцев. Бурцев, бывало, заходил на чашку чая к меньшевику из крупных. Его мальчонке было годика три, В. Л. просил серьезно-пресерьезно: «Смотри, Коленька, вырастешь, не стань большевиком!».

Если бы не намерение В. Л. возвратиться в Россию, все эти политические позиции и амбиции, все эти партийные препирательства имели бы для мадам Бюлье значение косога дальнего дождя. Но быстро стареющей и рыхло толстеющей женщине не хотелось расставаться с В. Л., тоже стареющим, но не толстеющим, а усыхающим.

Отъезд, однако, был делом дней. Из Парижа он отправится в Лондон. Там, как и в Париже, договорится с редакциями газет и журналов о поставке статей, получив под честное слово авансы. И увидится на прощанье с Петром Алексеевичем. Кропоткин, как и Плеханов, да и многие эмигранты, разделял его намерение, его цель, но старался удержать на пушечный выстрел от русских жандармов. Он слышал: «Поймите, Львович, вы так им насолили, что они вас арестуют на границе. Как пить дать, арестуют. Злотворны они и злопамятны».

Львович слушал, но не слушался. Нет резона сажать в тюрьму либерала-республиканца, пусть и бывшего народо-вольца, ежели он намерен противоборствовать тем, кто жаждет поражения России во имя революции.

План его сводился к сухопутно-морскому транзиту. Последним пунктом отшествия... Ишь какой, штурманским термином пользовался, чем несколько озадачивал Кропоткина. В этом «отшествии» слышалось ветхозаветное, созвучное «исходу»... Так вот, последний пункт отплытия — Ботнический берег Швеции. Оттуда — в великое княжество Финляндское,

даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром.

Лотта роняла мелкие слезы. Бурцев твердил: война завершится победой союзников; Россия решительно обновится. Он и Лотта выйдут из «подполья», заживут в открытую, супружески. Натяжки, фальши она не слышала. Бурцев, опустив глаза, бочком перемещался в дальний угол большой комнаты. Он лгал и, подпуская ложь, не проникал ее мыслью, а словно бы в самом себе подслушивал.

Уезжая в Россию, он, кажется, навсегда покидал мадам Бюлье. Притом наш борец с кривдой во всех ее политических обличьях обманывал или обманывался — не хотел думать, что уходит навсегда.

Последнее напутствие дала консьержка.

Всхлипнув, она припала головой к его груди: «Мсье...». И он узнал, что маленького Жана, племянника, в солдаты взяли, и не сегодня-завтра маленького Жана штыком прикончит огромный рыжий бош... В. Л., теряясь, отвечал весьма неутешительно, то бишь в том смысле, что война неумолима, а Жану, солдату свободной Франции, не пристало трусить варвара-тевтонца... Матушка-консьержка ни полсловечка поперек, но у нее к мсье такая просьба: нельзя ли русским наступать и побыстрее, побыстрее... Бурцев, имея в сердце русскую отзывчивость, ей отвечал, что он приложит все усилия и наступление на Восточном фронте будет очень скоро.

---

Перечитал странички, надумал маргинальную замету о хвостах, а также об отзывчивости.

В godину первой мировой хвосты, они же очереди, возникли повсеместно. Европейки тотчас же делом занялись. Они вязали перчатки и носки, а кто и свитер. В руках их не дремали спицы. А наши бабушки-прабабушки? Молчали или бранились. Случалось, и прикидывали, а сколько бы портянок вышло для ребят из кумачового плаката «Вся власть Учредитель-

ному собранию!». Аналог колесу, которое доедет или не доедет... Молчали, бранились и — ждали, ждали, ждали. Кого, чего? А кто их разберет! Но мы-то все дождались. Недаром в феврале забушевал свирепый бабий бунт. А ведь займись хвосты вязаньем, глядишь, и не было б пальбы, и трон бы устоял, хоть колченогим.

Стояли и в других очередях. Друг мой Черноног, бывало, говорил: мы солдатня, кандидаты в покойники, стоящие в очередь за судьбой... Может, это чьи-то стихи, не знаю... А вспомню, тотчас и консьержку припомню — как она Бурцева-то просила поскорее развязать наступление на Восточном фронте, чтобы огромный рыжий германец не успел насадить на штык ее маленького Жана. Что ж, душа простая. А мне, уж так случилось, урок преподавал британский офицер.

В годину лиха гостили на наших Северах не наши флаги. Союзники везли оружие, везли и продовольствие. О, незабвенная тушонка! О, порошок яичный! А комиссары нам исподтишка внушали: имперьялисты-гады мало привезли, и все это нарочно. Свидетельствую: яичный порошок — навалом; аж в пятидесятых омлеты уплетали победители фашизма, они же зеки-лесорубы.

Союзных моряков мы привечали в клубе; он назывался интерклубом, но интердевочек там не было, а были наши девочки-беляночки, архангельские скромницы. Война войной, а танцевать охота; и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. Ах, Нина из Соломбалы! Как чудно пахло виргинским табаком, и как родной «сучок» капитулировал пред виски!

Бывал там и рядовой матрос по имени Эндрю Романов, флот Юнайтед Стейтс. Из тех Романовых, которые без дураков Романовы. Он, слышно, в Калифорнии, он живописец. Хороший малый. И если нынешние монархисты ему предложат трон, ваш автор не зайдется в крике: «Долой самодержавие!».

Однажды в этом интерклубе британский лейтенант, весь глянцевитый, поднял рюмку за одоление коричневой чумы.

Мы дружно грянули хип-хип ура: совместно, мол, возьмем Берлин. И выпили. Он всех нас одарил из пачки «Кэмел», при этом выпятив губу, — для вящего, наверно, сходства с кораблем пустыни. И, затянувшись, объяснил: «Берлин мы уступаем Сталину. У вас, у русских, семьи многодетны, а я у мамы первый и последний». Нам сделалось неловко за нашу численность. И оттого дурачко-горделивое сознание: без вас возьмем Берлин. У них в цене родное «я». А мы поем — мол, за ценой не постоим.

---

И тот же курс у Бурцева: мы за ценой не постоим.

Он море Северное миновал благополучно. Теперь минует ли Балтийское? И сколько б баллов по шкале Бофорта ни было, идет баллотировка в мертвецы. У, черные рогатые шары на минном поле. Такое поле перейти — не жизнь прожить, а смерть пограть. Тут субмарин утрюмое скольжение в сумраке глубин и грубый белый шов вослед торпеды. Есть шансы обратиться в общепит для рыб. И рыбным блюдом вернуться к вам. Таков уж ход вещей, включающий обмен веществ.

«Кинг» приближался к Рауме.

То был портовый финский городок, приятно вспомнить. Но Хайнце, ротмистр, считал его прескверным, как Лермонтов — Тамань. Жандармский ротмистр знал службу. Контрабандисты знали ротмистра. Куда как славно в годину войн.

Хайнце был осведомлен о предприятии В. Л. Готов был спорить с кем угодно, что Бурцев не такой дурак. Скучая, обиженный отказом перемещенья в Або или Гельсингфорс, наш Хайнце делал выводы весьма отважные. Они сходились в том, что на Фонтанке все — ослы. Невозвращенье Бурцева порадовало бы ротмистра: пускай они утрутся. Но обрусевший немец, а может, немец офинляндившийся оставался пунктуальным — все петербургские депеши не прятал в долгий ящик.

Каждый раз, когда в сыскную службу поступали даже и

не слухи, а намеки — весьма возможно, мол, явление Бурцева в местах родных осин, — департамент «сов. секретно» извещал об этом все курдоны. Предписывал незамедлительные обыски; особое внимание к письмам и записным книжкам, к любому лоскутку, который может быть зашит под воротничком или под тульей шляпы.

А фотографии В. Л. давно хранили все начальники всех пограничных пунктов. Словесный же портрет от времени до времени имел штрих дополнительный. Не приходилось, значит, ждать, когда века уж дорисуют портрет В. Л.

Известно, что парус одинокий Лермонтов воспел. Да что с него возьмешь? Ведь ничего не смыслил в бегучем такелаже. А якорь обратил в символ Евгений Боратынский. Да и не знал, какой он якорь выбирает: адмиралтейский или становой. А Бурцеву хотелось поскорей сказать: «Прощай, свободная стихия...». То колет грудь, то вдруг все кувырком — куда? — в провал под ложечкой, а может быть, и глубже. Ох, будет ли рассвет? Когда же впереди по курсу появится шпиль кирхи и, совместившись с вертикалью мачты, начнет совместную раскочку?

Покамест Бурцев прилепился к мачте, в полуобхват рукою. Боцман на нашей «Умбе» тоже к мачте прилепился, ладонь — ей-ей, совковая лопата — елозит туда-сюда: «мессер» пикирует на нашу старенькую «Умбу» в Баренцевом море, и было так уж страшно, что ваш покорнейший слуга расхохотался как дурак, за что и склопотал от боцмана по шее. Рукоприкладство? Нет, нервная разрядка, не превышающая, а подтверждающая уставность отношений... Ладонка Бурцева была раз в десять меньше боцманской лопаты. Но тоже мокрою от пота. Качаясь вместе с мачтой, он укачался, как говорится, в дупель. Хотелось умереть скоростижно, ничуть не помышляя о наступлении на фронте и не жалея маленького Жана, племянника консьержки.

Досье спецслужб — предмет для размышлений об искусстве портретиста.

Здесь первое и главное — лапидарность, точность, без празднословий вернисажей. Я в этом убедился, читая на Лубянке следственное дело Давыдова Ю. В.

Вначале — фотка. Изображенья нет, есть образина. И неча мне кивать на фотку, а следует принять как факт. Засим — бланк типографский: перечень примет, нужное подчеркнуть.

Какая изощренность, черт дери. Оказывается, человечьи лица есть прямоугольные и треугольные, пирамидальные и ромбовидные. Эка прелесть — пирамидальность физии! Но лучше ромбовидность, чтоб вспоминались ромбы сподвижников Менжинского—Ягоды...

Возьмемся за уши. Да, надо браться за руки, но это ж отпечатки пальцев, дактилоскопия, техника, а речь-то об искусстве. Уши дает Создатель, как и лица — пирамидальные, ромбовидные. Отмечены и треугольные. А вы-то полагали, что треугольны только груши? Необходимо также примечать, срослась ли мочка с окранный щеки иль не срослась.

Теперь мы обратимся к носу. Глядь, навстречу — Николай Васильич. Положим, сам-то он носат, да ведь какой же в «Носе» — нос? Нам классик сообщает — умеренный и недурной. Помилуйте, и это все! Ой-ой, из органов бы Гоголя метлоку. А так, вообще, нам Гоголи нужны. Есть в «Носе» нота философская: человек без носа не птица и не гражданин. Да, не птица... Вношу, однако, робкую поправку. Пусть и без носа, но гражданином быть обязан. А вот уж если нос провиснет книзу — беда-а. Всяк сущий на Руси с молодых ногтей отлично понимает суть пятых пунктов. А посему словесный живописец в этой точке должен быть сугубо точен и указать на типографском бланке: а) какая спинка носа: прямая, вогнутая или с горбинкой; б) какое основание у носа — приподнятое, горизонтальное или опущенное.

Необходима также информация о татуировках и привычках. Ну, скажем, изгрызаны ли ногти. Или: имеется ли склонность к «манипуляциям из пальцев». Кукиш? Вращенье мельницы? Возможно, рукоблудие, хотя для органов опасней словоблудие.

В реестре и лакуна есть. Весьма существенная. Никак не обозначена походка. Нахожусь в неведении — хожу я хорошо или худо? А при царе не оставляли без заметы. Вот, скажем, Керенский, тот даже филерскую кличку получил — Скорый. Оригинальней прозвали тетю Маню — мол, вылитый Батум... И это в глубине Рязанщины, в селе Гулынки! Елпатьевский, врач и писатель, прав — красивы лица рязанских баб и мужиков. Но Батум-то? А видите ли, тетя Маня молодухой отличалась ладной быстротой походки. А за полями, за лугами, там, по окоему, машина бегала из Белокаменной в Батум; курьерский бегал, метал огни вагонов, метал и искры. Отсюда и быструхина кликуха: «Эй, Батум!». Прекрасно. Живал ведь на Руси Пашкевич-Эриванский. Чего ж не жить Батумской-Мане: для равноправия полов и убаженья феминисток. Ее проворство к старости увяло. Но портвешок бодрил. Она певала: «Я ми-илого узна-а-аю по похо-о-одке...»

Народ наш понимал, сколь важен этот фактор. Однако, как всегда, мы наше понимание не застолбили. А там, у них, Бальзак создал «Теорию походки».

Все так, однако и проруха налицо; точнее, на каблуках и на подошве. Походка Бурцева была характерной, но от характера-то не зависела. Причина? Оторопел бы ортопед, поскольку на походку влиял подход принципиальный.

Интеллигенция как вид имела и подвиды. Вид, понятно, отмечен общими чертами. Наделены подвиды не общим отношением и к личной гигиене, и к гардеробу. Интеллигентские заботы о социальной гигиене не оставляли времечка для личной. Обновленье гардероба возмущало как растрата денег.

В. Л. тут исключеньем не был. Шарлотта с ним вела вой-

ну. Одну позицию сын штабс-капитана держал без перемен, как Шипку. Ботинки он изнашивал до степени агонии. И в том секрет его походки, столь переменчиво-неуследимой, что и жандармские словесные портреты фиксировать не успевали.

Но Хайнце, ротмистр, изготовился к сравнению и фотки, и словесного портрета с оригиналом, хотя по-прежнему он сомневался в том, что Бурцев возвратится.

А шведский пароход уж отдавал швартовы.

---

Глаза Плеханова смеялись. В ответ и Бурцев усмехнулся весело. А было так. Отец и пионер российского марксизма стоял, как и Кропоткин, за войну с германцем. Но поездку Бурцева они считали гибельной... Чего ж он усмехнулся, ступив на корабельный трап?.. Да вот Плеханов предлагал перечитать Вольтера — не для цитат, а для нотации. Что именно перечитать? Рассказ об адмирале и матросе. Матрос, вопя: «Я погибаю в честь адмирала Джонса!» — сорвался с мачты и пошел ко дну. Ни адмиралу польза, ни себе. Понятно?.. Трап скрипел. Усмешка Бурцева исчезла — он различил на берегу, на пристани и ротмистра-жандарма, с ним рядом трех унтер-офицеров в голубых фуражках и пару финских полицейских в черных касках.

Да, ротмистр не верил в возвращенье Бурцева. Однако не мог своим глазам не верить. И вот, сметая соколиным взором перемещение пассажиров с борга «Кинга» в таможенный сарай, он Бурцева держал уж на невидимой приструнке. Ага, пожаловал старинный враг Фонтанки, разочарованно подумал Хайнце и машинально-цепко пригляделся к Бурцеву. Парижский котелок, английский зонтик, а саквояж — космополит... Снял котелок и потирает лоб... Да-с, бобрик, ржавеватый бобрик.. Над правой бровью — бородавка... Борода с сильной проседью и клынышком... Ну что ж, довольно. И В. Л. услышал:

— Прошу вас, следуйте за мною.

Хоть дело дрянь, а надо бы отметить учтивость офицера

корпуса жандармов. И при посадке тоже. Не в тюрьму — в вагон: «пардон», «прошу», «надеюсь, будет вам удобно...»

Но все равно арест оставит вам рубец. Спустя полвека, смежив веки, ты можешь извлекать из памяти, сколь на погонах вывездило звездочек. Эгей, товарищ Булех, вы были подполковником. А вы, друзья, вы капитаны третьих рангов. Ну, молодцы, втроем на одного. И чином небогатого, всего лишь ст. лейтенант. Ты слышишь голос матери. Он в трещинах, как стекло от пули. Ей отвечают: «Подушечку ему не надо, он скоро будет дома...» В арестные минуты — глубокий обморок души. Иль приступ ярости, как пена на губах.

А что же Бурцев? Он ротмистру промолвил: «Благодарю, не ожидал». И тот пожал плечами: и я, мол, тоже. Дорога, вечер, фонарь зажжен. В стаканах с чаем ложечки дзинь-дзинь. Кондуктор-финн в кепи и форменной тужурке робеет проверять билеты — Хайнце, не повышая голос: «Пошлите-ка его ко всем чертям» — там, в коридоре, находились унтер-офицеры.

В купе был тихий разговор, несколько не враждебный. Хайнце, провинциальный критик департаментских верхов, давал В. Л. понять, что надо ждать амнистии и что амнистия, конечно, впоследствии, коль государь отправился на фронт. В том связи Бурцев не нащупывал. Напротив, он настаивал: его, В. Л., арест есть действие нуд в мундирах, которым, право, наплевать на все, кроме карьеры... Опять, опять в их разговоре имело быть сакраментальное звучание: «царь» и «амнистия», «амнистия» и «царь». На этой нашей неизбежной музыкальной фразе собеседники умолкли и в знак согласия клянули носами.

А я на перегонах к Петербургу впадаю в детство, а заодно в отрочество. Вот пролетарий-паровоз, злясь на мою опрятность, на челку и матроску, кидает в окна рваный дым. Ой, уголек в глаз. Тебе и больно, и смешно, а мама утешает: «Три к носу, все пройдет...» Ну и прошло, как не было. И все ушло, хотя и было. Не держат мужики коней на переездах, чтоб не

шалели от гудков и грохота. И бабы в несколько притворном ужасе не затыкают уши. А ельник, бедный ельник, он все еще в монастыстве. В вершинах сосен — гул морей, когда-то эти сосны лапали мачт-макеры, и сосны оборачивались мачтами фрегатов, и мы с тобою, мой милый Саша, шли кильватерной колонной... И мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман... Маячный сторож, ветеран Цусимы, учил нас ставить парус. Взгляни-ка, Саша, на этот плоский берег с валунами. Под гнетом старости они угрюмы, как мы с тобой, пока не клюкнем. А клюкнув, носом клюнем, как Бурцев с ротмистром.

---

К Финляндскому вокзалу не прибыл броневик. При виде Бурцева оркестры не польхнули медью. Железные колонны не запрудили площадь. И не было нужды украдкою менять парижский котелок на кепочку.

Провинциальный ротмистр, глаза потупив, прощально козырнул. Столичный ротмистр скомандовал: «Са-адись!» Как многие тыловики, и этот распоряженья отдавал армейской нарочитой хрипотцой, как будто он простыл в окопах.

Схватили Бурцева под локти, легонько оторвали от земли и поместили в кузов. Полицейские шинели отдавали волглой вонью. А грузовик, чихнув на все, что происходит, катил в заневскую твердыню власти роковой.

В Неву, конечно, дважды не вступить. Зато в тюрьму, что за Невой, — прошу вас, заходите. И тотчас — в Комендантский дом, где ждет вас господин смотритель Трубецкого бастиона.

На то он и смотритель, чтобы смотреть во все глаза. А тридцать лет тому смотрел во все глазки, дежурным был в тюремном коридоре. Все это развивает зрительную память. И он сказал, приветливо присвистнув пустым зубом: «А-а, здрасте, Бурцев!»

«А-а, как же, как же...» — отозвался арестант, и тоже, зна-

ете ль, ничуть не раздражаясь.

Поступление в тюрьму, к тому ж знакомую, пусть и без малого три десятка лет тому, оно ведь, это поступление, в первые минуты после, после ареста и этапа как будто б даже и приятно — ну, словно дна ногой коснулся; уверять не стану, но многие со мной, наверное, согласятся.

— Года, года... — сочувственно, по-стариковски молвил цербер.

— Идут, проходят, — банально подтвердил и Бурцев, стараясь вспомнить, как звать зрителя.

И вспомнил бы, когда б не привлекло биологическое доказательство истекшей прорвы лет. «Года, года...» — «Идут, проходят...» Но это вот движение меняло геометрию свою в окне той камеры, где находился Бурцев. Во дворике был пруттик. Да, во дни студенчества В. Л., перед отправкою в Сибирь, в тюремном дворике был пруттик. Теперь... теперь там дерево. И, значит, прорва лет не утекла — уходит вверх, все выше. Листва бесшумно опадает, и в этом есть повтор беззвучью опаденья лиц, которые обращены к решетке. Вы ничего не слышали лучше тишины? Счастлив ваш Бог. Есть тишина-погромщик: она ведет погром души.

И вот из одиночки тихонько тянет в общую.

Есть состоянье ульев, когда они, разбухнув, влажно гудят в каком-то возбужденно-слитном расположении интересов, направлений, воль. Вроде бы похоже на обыденное состоянье общих камер. Их в русских тюрьмах много — сильно общинное начало. Одиночек куда-а как меньше. Пожалуй, дефицит. Опять понятно: среди сплоченных коллективов — личность в дефиците... Так вот, в одну из общих камер — возможен и Бутырки, и пересылки в Горьком или Вятке — вошел законный вор; холуй-орясина волок вослед и стеганое одеяло, и перьевую думку. То был уж мною упомянутой чернявый, поддельно злобный, а в сущности предобрый Юра Юдинков. Партстаж имел солидный. Не то чтоб дооктябрьский, но вровень с

ленинским призывом. День был Пасхальный. Юдинков вошел и оглядел народонаселение. Потом сказал серьезно, с полупоклоном: «Ну, православные, Христос воскрес. И вы, жида, будьте здоровы». Каков! Не вам чета, которые из кремлевских живоглотов запрыгнули, как блохи, в Елоховский собор.

Но здесь я вот о чем. О том, что в общей камере, коль нету перегрузки и нету пересортицы, и в душах нету крокодила, там, в общих, живется и веселее, и теплее. За всю страну я не ручаюсь, таков мой личный опыт.

И все ж добра без худа нет. Синдромы коммуналки возникают. Но там, на воле, ты волен заглянуть к приятелю иль барышне, вернуться иль заночевать. А здесь... Избыточность общенья начинает раздражать. Сживаемость пошла на убыль, и происходит отторжение. Ждешь одиночки.

Она способствует библиофильству. Положим, в несвободе нет свободы выбора. Что дают, то и читай. И на Лубянке, и в Лефортовской, бывало, в этом смысле не так уж тускло. Нам книги завещали — конфискация имущества — поколенья арестантов; издания прекрасные и «Academia», и «ЗИФ», и проч. И предисловия не выдраны, хоть авторы — враги народа. Спросил ехидно: что, мол, за недосмотр? Ответил мне майор еще ехиднее: «А ты уже отпетый. Читай иуду Троцкого». Существовала гласность до эпохи гласности. Иным, однако, книгам выпадала роль орудий инквизиции. Я пытан был Михайлой Бубенновым. Ему бы туз бубновый на спину, ан нет — на грудь медаль лауреата. Меня пытал он «Кавалером Золотой Звездь». Недавно, это вспомнив, усомнился: а может, Кавалер рожден не Бубенновым, а Бабаевским? Стал справки наводить. Один плечами пожимал, другой цинично отвечал про хрен и редьку.

А Бурцев, заключенный Трубецкого бастиона, читал одну-единственную книгу, мучительницу поколений школяров. Иной отдал бы и заячий тулупчик за избавление от автора, который, как известно, был хуже Пугачева. Но что ж подела-

ещь, коль сам Ильич его поставил на правом фланге левых? И поколенья школяров кляли свою судьбу, пытаясь воажировать с Радищевым из Питера в первопрестольную.

А Бурцев «Путешествие» читал с отрадным чувством. Слог варварский был ему приятен. А главное, мысль авторская не увяла: вы не хотите повторенья пугачевщины, давно пора облегчить положение крестьянского сословия.

Что говорить, Радищев предпочтительней вязания чулок для англичан и англичанок. Однако лично для В. Л. уже связали сети. И вот какая связь: его не принимали, как не понимали и Радищева. Тот был им хуже Пугачева, а он — по-прежнему бомбист. Не признавали благоую цель, цель возвращения в Россию. Там, в Париже, русский Н. иронизировал: патриотизм, как и поэзия, должен быть глуповаг, но не настолько же, Владимир Львович.

Ему казалось, что он знает бездарность бюрократии. Оказалось, нет, не знал. И вовсе было непонятно, странно, что и Джунковский был на стороне бездарностей.

---

Мы с ним встречались на Каменноостровском.

Проспект уж становился модным. Доходные дома и Сомовых, и Марковых; большие магазины с молочными шарами освещенья; созвездья ресторанов, их наглый запах; и мостовая — новехонький торец. Все вместе — торжество капитализма над стариною Петербургской стороны.

Моя свояченица жила тогда в известном Доме российского страхового общества; позднее его все знали как дом 26/28. В субботу или воскресенье, болтая, мы любили прогуляться к Островам. И по дороге угоститься кофе в «Аквариуме» или «Эрнесте», а на «Виллу Роде» мы не заглядывали — нам почему-то там не нравился буфетчик.

Генерал Джунковский, тогда уж шеф жандармов, жил тоже на Каменноостровском, но ближе к Островам... Давно, когда

ваш автор зарекся истреблять табак, а трубку скрепя сердце подарил приятелю, да, в те трагические дни на этих же страницах он вам говорил, что вот, Иуда происходил из Кариота, но де такого городка нет в текстах Ветхого Завета; тогда и вспомнил, что соседкой генерала жила дворянка Надя Искандер, хотя и городок Кандер, сдается мне, не существует.

Прогуливался шеф жандармов, представьте, без охраны. Ударим в бубен: ай да царь, ай да царь, православный государь! Попробуйте-ка позвонить министру, а? Да к тому же «силовому». А раньше-то, при государе, всяк узнал бы и служебный, и домашний телефон любого из превосходительств.

В его лице так гармонично сочеталось русское, монгольское, немецкое... Ах, дети, дети, скорее объявите папам-мамам, что вы решительно за смешанные браки... Казалось иногда, что он в рассеянной задумчивости. Пиитической? О нет, стихов не сочинял. А братец рифмовал. Джунковский-старший лукаво вторил: «Хотел бы я узнать, о море, о чем ты воешь и ревешь...»

Он был воспитанником Пажеского корпуса. А значит, статен и пригож, коль скоро еще первый Николай распорядился не зачислять в пажи сутулых, кособоких, конопатых и щербатых, а также кривоногих. Из всех пажей меня когда-то занимал один лишь князь Кропоткин. Теперь — Джунковский. Он тоже не дурак. Но... позвольте-ка сказать, совсем иного содержания. А форма, как у всех пажей. Орел на каске с шишаком; шишак, уж извините, германский образец, как многое и в русской философии. На портупее у него — тесак: кавалерист. (У пехотинцев — шашка.) Дежуришь при дворе — долой шишак, носи султан белее хризантемы, а приложением к мундиру шпага.

Не во дворце ли он впервые встретил Лизу?

Послушайте, Д. Ю., попридержите-ка язык. Как можно — «Лиза»? Она великая княгиня, сестра императрицы. Да ведь и то возьмите-ка в соображение, что говорить о ней, пожалуй,

рано. Супруг живой, Каляев не повешен. К тому же паж обязан пламенеть любовью к балерине. По окончании спектаклей слонялся он близ артистических подъездов. Качались фонари, на шинель лепился снег. И это хорошо, коль скоро белое на черном означает превосходство платонической любви над плотской.

Но Боже мой, завтра в класс войдет Менжинский. Как не понять тревогу всех пажей?.. Рудольф Игнатьевич преподавал историю. Имел он крупный недостаток: не терпел, когда кто-либо на уроке машинально вертит перочинный ножик. Тотчас же ультиматум: «Извольте-ка!» — ну, и пиши пропало, любимец золингенский к тебе уж не вернется никогда... Джунковский ни разу не попался. Но вот Менжинский-младший — другая музыка. Об этом — впредь.

---

Служить Джунковский начал в четвертой роте лейб-гвардии Преображенского. А где ж служить-то белолицему шатену? В Семеновском служили рыжие.

Полком командовал ее супруг, великий князь Сергей. Джунковскому благоволил. Приглашения на балы и пикники не в счет. Уделом избранных — охота на лосей. Едва великий князь назначен был главкомом в древнюю столицу, Джунковский оказался в адъютантах.

Коль скоро дядя государя прилипал к жопастьким дворцовым гренадерам, супруга тосковала об утешителе и о наперснице. Брат и сестра тут были вполне уместны. Авдотья имела шифр фрейлины. В любви Джунковский был весьма серьезен.

---

В разгар войны он был назначен в эмведе. Но вскоре его назначения, его распоряжения не пришлось по вкусу ни министру, ни двору. Всего же плоше было то, что генерал не жаловал

Распутина. Джунковского уволили.

Вчерашний шеф голубых жандармов в Сенате сел в мамино кресло. И получил возможность сверху, из окошка взирать на императора Петра, одетого в античную хламиду, верхом на жеребце Бриллианте.

Вы много ль раз ходили по Сенатской площади? Я, бывало, чуть не каждый день. И всякий раз на набережную к дому, где на пороге, как сторожевые, полеживают львы; взойдешь, услышишь гром музыки — как часты у четы Лавалей великосветские балы. Но вот уж все умолкло, и возникает шелест, бумаги шелестят, бумаги, а это ведь не что иное, как шорохи реки времен — в особняке Лавалей давным-давно устроили архив.

Вернемся-ка на площадь. У Фальконетова кумира — всегда туристы. А вот влюбленных не видать. Не назначают рандеву под сенью государей и вождей. Вопрос — к сексопатологам. И потому вопрос другой. Положим, вы остановились и спросили: а где опустишь ты копыта? И конь, и Петр не дадут ответа. Не то Владимир Федорыч Джунковский. Он без запинки скажет, что лошадь эта породы дальней, испанской, а мастью «в гречку». Какая точность в определении цвета. И это точность настоящего кавалериста, особенная зоркость глаза. Ни тот, кому кричат: «Ужо тебе!», ни летописец и ни романист не обладают ею, и потому так пресно, жидко, блекло... Джунковский, стоя у окна и глядя сверху вниз, мне говорит, что Петр Алексеич, государь, был не ахти какой наездник, однако на Бриллианте всей статью, всей посадкой — кавалерист из русских русский. Спиную прям, с наклоном корпус, колено, что называется, привернуто вплотную к лошади, хотя вот пятку-то недурно было бы немножко оттянуть. Вот это — да! И ни один экскурсовод о том туристам не расскажет.

Владимир Федорович недолго пребывал в Сенате. Он попросился в строй. И принял под команду Сибирский полк. В боях застенчив не был. И в действующей армии он действо-

вал, покамест империя и император не отреклись столь обоядно.

Опять он появился на Каменноостровском. В тот день, когда звенели на проспекте ребячьи голоса: «Ученье свет, а неученье — тьма!»: происходила демонстрация в честь Первой. Джунковский грустно улыбался. Точь-в-точь как мой кузен, когда рассказывал: метелица, проулок, два гимназиста, скособо-чась, несут портрет Чайковского, добытый впопыхах, и каркают картаво: «Долой самодегжавие! Самодегжавие долой!».

Моя свояченица, как встарь, встречала генерала на проспекте. Он не менялся: жесткие усы, глаза серо-голубые, чистые, честные; лицом и статью — порода и значительность. Потом она его уж не видала. Брат и сестра Джунковские сменили Питер на Москву. Он был когда-то московским губернатором, в долгополой николаевской шинели летал в пыли снегов на сером в яблоках.

Да, жили на Арбате. Сестра Авдотья тоже, как и брат, «вся была в отставка»: бывшая фрейлина, бывшая попечительница обществ женского патриотического и сестер милосердия... Ах, Арбат, не ваш Арбат. И от которого и чувства не осталось, как не осталось ни извозчика, ни жесткой травки меж бульжников. А пешеход пугливо жался к облупленным фасадам.

Джунковские помаленьку проживали родовые. Нет, не полтавское имение, а камешки, колечки, брошки. Все то, что прежде считалось безделушками, а после катастрофы — настоящими калориями. Но настоящим гнетом было ожидание ареста. Процедуру недавно упростили кронштадтские матросы. Загонят скопом в какой-нибудь подвал, и бас, привычный над рядами рясть, возвещает: «У каждого из вас, буржуи, всегда припрятано на черный день. Теперича вы, белые, выкладываете в пользу красных». Такое вот купанье Красного Коня.

Фронтная храбрость Джунковского храбростью не считалась. Война-то оказалась империалистской. Отечество было только у джунковских, у пролетариев отечества не было. Те-

перь вот появилось, но с эпитетом: «социалистическое». Здесь, в старинном квартале, комиссары, вооружившись ордерами, врываются в каждый дом. Начиналась эпоха великого оледенения и уплотнения. Фамилия моего сослуживца, капитан-лейтенанта, а потом военмора, жила в квартире из шести комнат на Мойке, у Синего моста. Процесс пошел, и почтенное старорусское семейство оказалось в полутора комнатах, и это привело моего приятеля к оригинальным соображениям, заслуживающим внимания ЧК: он полагал, что социализм следует возводить в согласьи с геометрией Лобачевского. Что до «геометрии» Джунковского, то она, вероятно, пошла наискось. Точнее не могу определить. Тут уж не Гегель, а тут уж Гоголь. Вот кто не утруждался разысканиями, а просто-напросто сообщал читателю: мол, все происшествие совершенно закрывается туманом, и что было потом — решительно неизвестно. Похоже, так, но все же кое-что известно.

---

Дорога на Ялту, будто роман — все время надо крутить. Но в Севастополе мы передумали.

Был Севастополь тихим, малолюдным. Запомнился он бронзой скумбрий и ржавчиной подводных лодок. Из бронзы возникала жажда пива; ржавеньем флот призывал на помощь комсомол.

Старинный мой приятель В. Н. Орлов, моряк, склонил нас остановиться в укромном Батилимане. Укромный, вот в чем дело. Есть и такие поездки в Крым, которые требуют некоторой секретности. По слову Лермонтова, любителей уединения вдвоем. Как раз тот случай.

Байдарские ворота распахивались в море. Оно тут не арбузом пахло, а шашлыком, вином, гудроном, который горячее шашлыка. Остановились. Привал коротким не был. Мы пели: «Служили два друга в пехоте морской...» Ты помнишь, Витя, лейтенанта? Он был огромен, одноглаз, как Нельсон; вхо-

дя в кабак на наших Северах, басисто вопрошал: «Кого нам здесь ..... и резать?!» — и все задумывались. На облаке пылала печаль — воспоминанье о Володе Шилове. Я с ним впервые в жизни стоял на вахте. Запели мы с Орловым: были волны спокойны в заливе. Слезу пустили, и вдаль побрел усталый караван.

Свернув с шоссе, спускались петлями по грунтовой дороге. Над нею переплет ветвей был нам защитой от солнца. Достигли маленькой полянки. Она звалась Турецкою площадкой. Тут все как будто б было взято в раму. И моря дальний горизонт, и близость скал, орда кривых деревьев, колючие кустарники. Не очень частый щебет был очень чист: ведь птицы промочили горло в родниках. Хотелось долго жить.

Ну, дальше. Помаленьку вниз да вниз, дыша всей грудью. Темнело быстро. Обрисовались смутно два-три порушенных — еще в гражданскую — строенья. И вот уже отчетливы вечерний плеск и кастаньеты гальки.

Привет, Батилиман! Виват, Орлов!

Нет, это не лирическое отступление, а указанье на Джунковского.

Прошу без подозрений в подтасовке. Спросите у писателя Разгона, и Лев Эммануилович, которому от роду девяносто, скажет, что и он встречал в Крыму Джунковского. Не в Батилимане, правда, а где-то повосточнее. Но не в курортном зале, где танго, фокстроты; не в шорохе и шарканье тех променадов, что столь неспешны на горячей набережной. Джунковский не испытывал желания встречать знакомых.

Держался он в тени. С ним вместе кочевала и сестра. Та, что когда-то служила фрейлиной Елизавете Федоровне. Ее вдовою сделал террорист Каляев. Он бомбой «прекратил» заместника Москвы. Бывало, улицей Каляева спешили школяры 204-й школы; теперь московское правительство вернуло имя — Долгоруковская. И надо полагать, каляевых не будет, но долгорукие пребудут.

В Батилимане были каменные дачи. Они напоминали мне

руины времен упадка Рима. Повыше этих дач был каменный резервуар. Татары наполнили его водою. Свитский генерал внушал почтение трудящимся. Не все они тотчас же обратились в хамов. Джунковским, верьте мне, они нередко помогали. А сам он не чурался черновой работы. То сторожем, а то подсобным на путине. И продавал приезжим то, что поручали продавать: вино, и виноград, и скумбрию. Сестра цветы растила, тоже на продажу; могла б учить французскому или немецкому, но не могла найти учеников.

Погожим вечером Владимир Федорович нередко приходил на берег. Он был в косоворотке, в грубых брюках, в сандалиях на босу ногу. Волна выплескивала лунный блик, похожий на медузу, или медузу, похожую на лунный блик, они мерцали фонарем Ливадии, где был Джунковский вместе с Lise, и кованым кольцом из меди на воротах в Толмачевском переулке — ворота с резьбой по дереву, а церковь строил Щусев; Господь сподобил устроить Марфо-Мариинскую обитель на Большой Ордынке, и в час войны Lise открыла лазарет — стеклянная дверь вела в церковь; раненые, не поднимаясь с коек, слушали службу, к ним тихий ангел прилетал: чуть-чуть с горбинкой точеный носик, взгляд дружелюбный, сострадательный, живой; семь ниток жемчуга на шее, коснись благоговеино каждой нитки легким поцелуем, услышишь трепет жилки, восчувствуешь пленительную на плечах испарину... О да, императрица держалась с Lise холодно. Великая княгиня печально никла: «Ничего не понимает! Она глупа, необразованна...» И покидала Царское Село, ее и не удерживали, напротив, намекали — сестрица, вы тут задержались... К тому же браки не всегда ведь заключают Небеса. Но не забудь и то, что ведь не Небо расторгло этот брак. Фанатика-бомбиста, убившего ее супруга, она молила подать прошение государю. И мальчик с бледным лбом ей отвечал, что сделать этого не может, нельзя ж принять помилование, дарованье жизни из рук того, кто убивал простых людей на площади перед своим чертогом. И маль-

чик был удушен в Шлиссельбурге, в чухлом дворике. Lise сказала шепотом, что ей с возмездием не разминуться.

---

Ее убили на Урале, в Алапаевске.

Великий Петр поставил там завод — чугуны и медь. Но объявилось и железо, то есть железный закон обнищания пролетариата. Мне кажется, великая княгиня ничего не знала о таком законе.

Ее не расстреляли, и в памяти моей неожиданно Петруша В. Мы с ним сидели «на спецу». И это лестно. Не в бочке арестантов, а в спецкорпусе Бутюра, тюрьмы Бутырской. Ревнивая подружка донесла, что мл. лейтенант намеревался из ее объятий перебежать в объятия чужих спецслужб. И потому — спецкорпус. И бедный малый, заикаясь, спросил седого следователя: меня... скажите правду... расстреляют? Седатому б ответить, мол, суд с тобой разберется. А он устало и незлобно ухмыльнулся: «Да на таких, как ты, свинца не хватит у Республики»... Недурно сказано? Прелюбопытно употребление существительного «республика»: оно давно из обращения вышло, а здесь, извольте-ка, в ладу свинец и публика.

А в Алапаевске достало бы свинца. И на великую княгиню, и на пятерых Константиновичей, сыновей покойного поэта К. Р. — все долговязые, с маленькою головенкой; все офицеры-храбрецы. Достало бы свинца. Но нет, их сбрасывали в шахту, в заброшенную штольню. Стремглав они летели вниз, во тьму, и где-то там, как в преисподней, смолкал последний стон. Елизавета Федоровна не хотела, чтоб ей глаза закрыли грязной тряпкой. Убийцы подчинились безотчетно. Она отвергла их сопровождение к краю бездны. Сказала: «Светло и видно далеко». Тут им почудился взъяренный бычий рев, они, все вздрогнув, оглянулись, сообразили — выпь кричит, — и потеряли из виду великую княгиню. Высокая, худая, в монашеском платке она шагнула в пропасть... Командир сглотнул сло-

ну, кадык припрыгнул, сказал чужим и тонким голосом: «Ну, неча нюни распускать». И спохватился: «Стой, ребята!». Он позабыл про камни. А камни надо собирать. Собрали. И тотчас в разброс пустили: скорей, скорей, скорей, — туда, на мертвецов...

Я залпом опорожнил кружку с молодым вином. Эмалированная кружка, коричневая, в белых крапинках. Приехали андроны — такие кружки на вокзалах приткнулись к кипятильникам-титанам, а на титанах — пропись коммунизма: «Кипяток бесплатно».

Молчал Джунковский. Закинул руки за спину и оперся на гальку. Подумалось: потом уж на ладонях долго розовеют вмятины. Опять никчемность, опять эти андроны.

Смутлело небо. Был древний запах сушеных крабов. Мертвая Lise достигла палестинских берегов.

---

Хождение за три моря...

Мир вверх тормашками, но были люди, остались ей верны...

Отряд колчаковцев с налету выбил красных из Алапаевска. Не мешкая ни часа, разыскал глухие штольни, извлек все группы. И — за Урал, в Сибирь, все дальше, дальше. А по пятам большевики, над головою черный ворон. Пути-дороги, пыль, туман, леса, поляны — шагают гробы на дубовых ножках. Сквозь грохот поражений, в угаре полугара, в дыму метелей и махорки. И перестуки эшелонов, и ожиданье на разъездах, в тупике, и промельк станций... Не месяц, не другой — два с лишним года. Исход из вздыбленной России закончили великие князья у врат Пекина, на одиноком православном кладбище. Но мертвая великая княгиня ушла за три моря. Великий, или Тихий, потом огромный позлащенный Индийский океан, а море после океана не красное, не черное, а серо-сизое; лишь постепенно привыкает глаз и различает синеву. И

эта сушь на суше, в Иерусалим стелился путь Семи сестер. Горячим камнем пахло, лошадиным потом; жужла мурава и оживала вокруг источника. И воссияли купола; их было семь. Храм повторял старомосковские, носил он имя еврейки из Магдалы. Над мученицей-немкой Елизаветой склонялись русские монашки. Горели свечи, не колеблясь. Такая тишь неколебимая, что было слышно, как далеко на Севере Романовых будили.

В приневской крепости, в соборе горели фонари, жужжали сверла. С могил сдвигали мраморные глыбы, с гробов, ломая все печати — их две: министра высочайшего двора и коменданта крепости, — сдвигали крышки, они из меди. И начался последний вахт-парад. Великий Петр шагнул из гроба, поставленного вертикально, комиссия, дрожжа, отпрянула, царь-реформатор обратился в прах. Конфискация, однако, продолжалась, но торопливо, с дрожью под коленками. Всех больше драгоценностей вернула простолоудинка — первая Екатерина. А первый Александр, нечаянно пригретый славой, отсутствовал: пустая домовина — должно быть, он и вправду из Таганрога побежал в Сибирь, да там и зажил старцем Кузьмичем. Отец его, с его согласия убитый, был ужасен, черепные кости искорежены, их прикрывала некогда слепая восковая маска, она давно уж растеклась, исчезла... Горели электрические фонари, жужжало пролетарское сверло, ребята из Чека, с заречной улицы Гороховой, писали протокол. Мистерия вершилась, мистерия изъятия фамильных драгоценностей. И это был, сдается, первый и последний случай согласия династии с чекистами: все драгоценности Романовых предназначались голодающим Поволжья. А море Черное шумит, не умолкая. Рыбацкая шаланда подняла фонарь на мачте, к ней тотчас же устремилась падающая звезда. Вздыхнул мой генерал: «Auf die Berge will ich steigen» — на горы хотел бы я подняться. И он ушел, не горбясь, ровным шагом.

Он зимовал с сестрой в Перловке. Кто именно зимовье предложил — ума не приложу. Вообще ж немало было дач, вовсе не роскошных, хозяева которых ожидали, когда их двор уединенный, печальным снегом занесенный, вдруг огласит автоэнкаведе. Мстилось многим, что можно затеряться в городе, нишкнуть; глядишь, промчится буря, прояснет небо.

Когда подумаю о генерале с фрейлиной, тотчас же на уме и Фраучи, швейцарец. Псевдоним придется мне назвать чуть позже. Хоть он чекист, не ожидайте изобличение еврея. А жил он не в Перловке, а в Малаховке. Но не в тайной школе для шпионов, а близ болота и речушки. Да и то лишь летом.

А нынче на дворе матерая зима. И от дверей к калитке узенькая стежка. И хорошо, и слава Богу. Не видеть бы, не слышать никого. Но слышался, однако, мягкий рокот. Не оттого он мягким был, что глубоки снега, и сумрак, и нету фонарей. Нет, так рокочут «бьюики» и всякие «сюизы», холеные в теплыне гаражей. Тотчас Владимир Федорович пожалел о том, что глупо медлил с продажей портрета дочери поэта Пушкина, давно бы продал, а выручку — сестре Авдотье, ей без него недолго жить, бедняжке.

«Бьюик» остановился у калитки, калитка стукнула, брат и сестра припали лбом к холодному окну. На стежке показалась плотная фигура. Пальто английского покроя, а шапка пирожком. Фигура приближалась средним ровным шагом. Так ходят люди, которые не топают и знают себе цену. Потом раздался стук и твердый, петербургский голос: «Владимир Федорович, прошу вас, отворите». Гм, не «Федорыч», а «Федорович» — ну, точно, не москвич, а петербуржец.

Джунковский несколько опешил. Не то чтобы испуганно, а удивленно. Он не ошибся: то был Артузов, чекист из очень, очень главных... Вот тут-то и сучок-задоринка! И удивление, и безошибочность Джунковского не отвергают краткого его знакомства с советскою тюрьмой, но подтверждают и тоненький

слушок — мол, шеф жандармов бочком сотрудничал с ЧК. Да ведь и то сказать, Артузов, он же Фраучи, контрразведчик в Перловке появился не для того, чтобы разведать подробности его любовной связи с покойною свояченицей покойного царя.

Был ладно сложен гость, крепко спит. Седеющий брюнет. Высокий и широкий лоб. Лицо казалось очень белым; белизну подчеркивали квадратик черной бороды и небольшие черные усы. Он был в костюме-тройке, в рубашке с темным, скромным галстуком, которые тогда называли, кажется, инженерскими.

Его отец, швейцарский вольный гражданин, вкус в сыре находил и был отменным сыроваром. Переселился Христиан в Россию и был уверен, что открыл Америку. За давностию лет не помню многое. Сдается, сын родился в Питере. Закончил курс в Лесном, в Политехническом. Еще студентом исповедовал марксизм; дрейфуя влево, примкнул к большевикам. В кануны революции он иногда скрывался от соратников Джунковского в глуши, на станции Угловка, у сына шлессельбуржца Германа Лопатина. Моя любовь к последнему известна дружескому кругу, точней, кружку, но это здесь не к месту. А к месту здесь другое.

Из Фраучи он стал Артузовым (Артур + «ов»), наверное, по настоянию Дзержинского: поляк усердно увеличивал процент великороссов в своей конюшне.

В известном Доме творчества, в Голицыне, см. начало нашего романа, мы как-то говорили с Шульгиным об этом Фраучи. Хоть минули десятилетия, старик довольно смачно костерил Артузова. Но! Признал Артура Христиановича мастером головоломных тайных комбинаций. Одной из них был околпачен сам Шульгин. В силки другой попался Савинков... Что и говорить, такая птица зазря не прилетит в Перловку.

На керосинке чайник еще не закипел, и это, полагал Джунковский, почему-то сбивает с толку. Коллегу же Дзержинского — Менжинского с толку не собьешь. Он выдал старику по-

хвальный лист. За то, что он, Джунковский, в бытность шефом жандармов упорно отрицал систему провокаций. Владимиру Федоровичу следовало бы ответить, что товарищ Артузов и его компания именно эту систему и возродили, и упрочили, и вознесли. Он и ответил, но не вслух. Артур Христианович, очень хорошо сознавая, какие «соображения» возникли в уме генерала, право, сумел бы разграничить провокации старого режима с ходом классовой борьбы в условиях диктатуры пролетариата и враждебного капиталистического окружения, но Артур Христианович предпочел направление конкретное... Джунковский, стоя спиной к Артузову, убирал чайник с керосинки, лопатки старика остро обозначились доныльзя выношенным пиджаком. Артузову не то чтобы было жаль старика, а было как-то не очень ловко в своем прекрасно шитом костюме. Избавляясь от этой неловкости, Артур Христианович, улыбаясь, сказал, что Владимир Федорович сейчас почувствует себя Лопухиным в купе экспресса Кельн — Берлин.

Откуда и куда дул ветер, Владимир Федорович догадался. Лопухина он знал. Знал и о том, как Бурцев настиг уже уволенного в отставку директора департамента полиции и как Лопухин подтвердил провокаторство Азефа... А вот кого имеет в виду сей ночной гость? И ночной гость, твердо и прямо глядя на Джунковского, произнес имя. У Джунковского заломило суставы, словно в приступе ревматизма. Он испугался тем страшным испугом, который вытирает насухо гортань... Вышла пауза... Джунковский собрался с духом. Но не дал прямого ответа. Говорил, что иудами и обер-иудами ведали директора департамента, однако и Белецкий, и Виссарионов еще в восемнадцатом отправлены в мир иной. А теперь, что ж... И Джунковский развел руками, снова чувствуя пересохшую гортань, лому суставов.

Артузов, однако, действовал столь же упорно, столь же методично, как лет тридцать тому действовал Бурцев, оказав-

шлись один на один с Лопухиным в купе экспресса. А расстались они, то есть Бурцев с Лопухиным, в Берлине; Лопухин отправился дальше, в Петербург, а Бурцев вернулся в Париж и, уже окончательно уверившись в прочности своих доказательств, назвал Азефа главным провокатором и главным интриганом в партии. В эсеровской партии.

---

Артузов как приехал в Перловку затемно, так затемно и возвращался в Москву. Лепила влажная метель. «Бьюию» недовольно урчал. Шофер останавливал машину, отирал лобовое стекло и под капот заглядывал, будто там угнездилося что-то враждебное его автомобилю. Другие начальники, которых возил этот шофер, обыкновенно садились с ним рядом, и он усматривал в таком местоположении свою причастность к борьбе с врагами народа. В отличие от других начальников товарищ Артузов всегда сидел сзади, как барин, и шофер обижался. А еще к недостаткам товарища Артузова нельзя было не причислить нежелание беседовать в пути с ним, представителем рабочего класса, дело которого тов. Артузов денно-нощно отстаивает, а вот чтобы с тобой по душам, этого нет, кадры все решают, а он, тов. Артузов, не ценит.

Ценил Артузов, ценил, но не переоценивал. И весьма критически, не без горечи замечал, что эти самые кадры не выполняют завет покойного Менжинского: у нас, чекистов, один хозяин — партия, а вовсе не отдельные лица. И еще: некоторым из нас весьма нравятся именно отдельные товарищи, а это чревато разбродом и приспособленчеством.

Менжинского сменил Ягода. Тезка Гиммлера. Артузов не терпел Ягodu: мозгляк и — вот, вот — приспособленец, вождю в рот смотрит. Но едва тот призовет — трепещет. Бойтся, как бы в Кремле не дознались о связи с невесткой Горького. А эта прелесть, случается, сама на Лубянку шастает, напрямик в Ягодин кабинет.

---

Сие понятно. Но вот загадка из загадок. Почто держал он в тайнике-загашнике ненатуральный член? Резиновый, увесистый, как полицейская дубинка. Почто? Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам.

Не снилось даже Сталину. Визит к вождю сошел благополучно. Но есть, есть поручение претонкое. Тут без Артузова не обойдешься. Пришлось открыться Артуру Христианьчу. Видно было, что Ягоде, что называется, жмет под мышками. А вместе было видно, что об отказе исполнять желание «отдельного товарища» и речи быть не может... Поручение, данное под видом полезного предложения, заключалось в следующем: вождь предлагал найти кого-либо из бывших сотрудников охраны. Конечно, большинство расстреляно, но есть надежда, что кое-кто увильнул, уцелел, сохранился. Зачѐм найти? Для того, чтобы дали показания на партийцев-ленинцев... Уточнил с нажимом в своем глухом чревоуещании: якобы партийцев, якобы ленинцев; и это же «якобы» повторил движением трубки, зажатой в кулак... Какие показания? Такие показания, которые изобличают предателей-иуд. Совершенно некраснеющих иуд. Троцкий, по определению товарища Ленина, иногда краснел. Конечно, всегда оставаясь иудушкой. А эти некраснеющие иуды. Вот, собственно, в чем дело, товарищ Ягода...

«Бьюик» сворачивал с Мясницкой. Она уже была улицей Кирова. Слева помещался охотничий магазин; в витрине заяц-беляк (чучело) грыз морковку неестественного карминного цвета; лисица замерла с вяло поднятой лапой (чучело), а селезень-то, селезень (тоже чучело) — хвост крючком, сизо-синий блеск. «Бьюик» свернул направо, в улицу, где красивый костел и бывшая гимназия, разжалованная в среднюю школу. Оттуда юные безбожники иногда прибегали в церковный двор — прибранный, чистенький — приплясывали, верещали: «Прошло уж двадцать лет, а Бога все же нет... Прошло уж двадцать лет, а Бога все же нет...» В этом замечательном переулке, или,

если угодно, улице, Артур Христианович жил в очень хорошем доме, в очень хорошей квартире, мебелированной хозяйственным управлением ОГПУ—НКВД конфискованным у контрреволюционеров добром, имевшим жестяные номерки — указание на то, что все это, какого бы стилия ни было, отнюдь не личное, а коллективное, в данном случае — лубянского фаланстера... Артур Христианович кивнул дежурному и стал подниматься по лестнице с алой ковровой дорожкой. Перемещаясь в малом пространстве, Артур Христианович словно бы и отступал в малом времени, то есть к вчерашнему дню, когда Ягода, стоя у кабинетного окна, обращенного, как и другие, к площади Дзержинского, подрагивал ляжкой и, напрягая жилу на тонкой шее, туго сжатой воротником гимнастерки, сообщал Артузову указания тов. Сталина.

По созвучию с «Виссарионович» и вместе с характером задания — отыскать бывших агентов охраны — Артур Христианович сразу и подумал: Виссарионов, «особая папка Виссарионова»... Черный бык, лобастый, пальцы на концах четырехугольные, тупые... Виссарионова, директора департамента полиции, давно пустили в расход. В его «особой папке», в сущности, ничего особенно особого не содержалось. И Артузов подумал о Джунковском. Но вслух имя не произнес. Потом справки навел, поехал в Перловку.

Поразительным для него самого было то, что, увидев Владимира Федоровича, то есть бывшего шефа жандармов империи, увидев Джунковского, ему, Артузову, известного по первому аресту Владимира Федоровича, чекист понял, что видит нечто нетеперешнее, словно бы и несовременное, а именно честного человека; честного просто-напросто, по натуре, по существу, без всяких там, знаете ли, суждений о целесообразности и временной необходимости.

Это простое впечатление, запретное для марксиста-ленинца, тем паче чекиста, впечатление, словно бы возвратилось к Артуру Христиановичу из давно отжитой жизни, и это было

телесно приятно, как перемена заношенного белья на свежее, а вместе придавало решимость и энергию, вчера еще невозможные, ибо они грозили подрывом авторитета партии, строящей социалистическое общество.

Получалось что-то похожее на классическое рассуждение: вчера было рано, завтра будет поздно. И начальник всесоюзной контрразведки приступил не к разысканиям бывших сотрудников охраны, а ныне трудящихся большевиков. Нет, к выяснению заагентурности того, чьи портреты уже решительно потеснили фотографии Феликса Эдмундовича, Артузовым чтимого.

---

Чтимого?

Артузов — ум недюжинный; теперь сказали бы, аналитический. А ведь не принял положения и выводы Жданова. Имею в виду не сталинскую жабу, а совсем-совсем другого Жданова. Владимира Анатольевича, юриста. Потерял из виду в середине 30-х; было ему тогда сильно за шестьдесят.

Чтимого?

Хотелось бы знать, что о них, Дзержинском, Артузове, думал Владимир Анатольевич. И не повторял ли Артузову положения и выводы своей ревизии? Они ведь, чекист и член Московской коллегии защитников, бывало, встречались в Малаховке.

Малаховка — это память о лете. Струилась там Пихорка (так, что ли?), коряги, водяные лилии, ехал грека через реку, видит грека — в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку грека — цап... А над Пихоркой (так, что ли?) эскадрилья биплановых стрекоз, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ... Малаховка — это девица с зелеными глазами, такими смелыми, что они казались наглými; у нее было вызывающе нерусское имя — Мэри; дочь коминтерновца, она раскатывала на велосипеде «Wanderer» и могла бы играть в фильме о необычайных происшествиях мистера Веста в стране

большевиков. Кинотеатр уж полон, замрите, паровозы на Казанке... Малаховка — это школа-новостройка, футбольное поле с настоящими, сетчатыми воротами. Малаховка — это и укромные дачи на огромных участках за высокими, непроглядными, без щелей заборами.

Дачи слыли секретными. Секретность объектов придает значительность окрестным старожилам. Малаховские не сомневались в ведомственной принадлежности дач, имеющих теннисные, волейбольные и крокетные площадки, пистолетные стрельбища...

Вот так же и старожилы окраинного московского квартала, называть который я не уполномочен. В канун Отечественной там рев секретного военного завода сотрясал воздух и оконные стекла. Германские поставщики токарных станков «Копег» и чего-то еще отнюдь не указывали номер абонемента ящика, нет, внаглую адресовали: улица такая-то, дом номер такой-то, херр директор имярек. Однако это рассекречивание не уничижало старожилов, а упрочивало общесоюзное мнение: болтун — находка для шпионов.

Именно поэтому контр-адмирал Евг. Евг. Ш-де не сообщал слушателям Военно-морской академии тактико-технические данные крейсера «Киров», хотя корабль зимовал неподалеку от академии, а службу на корабле несли офицеры, знакомые слушателям академии. Но Евг. Евг., послушный формально логическому определению, кто есть болтун, говорил, храня на породисто-умном лице невозмутимое выражение: «Интересующиеся благоволят получить в нашей библиотеке немецкий журнал «Schiffbauen». Номер второй за текущий год, товарищи».

Таковы были узоры замысловато-бессмысленного соотношения секретного и несекретного. Что до Артузова, то он бывал на малаховской таинственной даче. Владимир же Анатольевич Жданов летовал на совершенно частной, хотя и был хранителем архисекретного документа. Не то чтобы держал

его в тайнике, а в том смысле, что помнил этот документ от первой до последней строки...

Летом боевого Восемнадцатого имел тов. Жданов поручение ЦеКа ревизовать практическую деятельность команды тов. Дзержинского. Бывший адвокат и бывший политкаторжанин отнесся к поручению архисерьезно. Он не был желанным посетителем бывшей гостиницы на Лубянской площади. Однако никто его и намеком не страшал, а ему и в голову не приходило опасаться неудовольствия ни тов. Дзержинского, ни тов. Менжинского, ни других партийных товарищей. И все же, кажется мне, надо было обладать наивным бесстрашием, доверчивостью идеалистического толка, чтобы представить в ЦеКа докладную записку, положения и выводы которой я и теперь повторю дрожащим голосом: делопроизводство в ЧеКа составляет тайну делопроизводителей; арестованный лишен участия адвокатуры; обжалование приговоров отсутствует; используется метод провокации; сотрудники невежественны, лишены даже элементов правосознания. И заключил скуловоротно: все ваши органы — наследники охранных отделений. Он был уверен: грянет гром, и все переменится. (Замечу в скобках: так полагал и тезка Жданова, генерал Джунковский; задумал реорганизацию сыскного промысла и получил отставку.) Да, был уверен, ждал. И не дождался. Дзержинский вздергивал бородку-запятую, бледнел последней бледностью. Нет, он Жданова не заклеил клеветником, хотя решительно и гневно отверг родство с охранкой. Феликс Эдмундович повторял, что таково уж положение вещей, пока идет гражданская война.

Не грянул гром над органами. Да и возможно ли? Они ведь сами гром. А вы, Владимир Анатольевич, вы занимаетесь судебною защитой дел гражданских иль уголовных. Зимуйте вы в Москве, летуйте вы за городом. Желаем вам здорovia, ровесник Ильича.

Малаховка — это память о лете. Струилась речка, морщась на кюрягах. Плясало дерево, и детство шло. Все городс-

кие ребятишки разувались; вначале, после города, ходили боязливо, ойкали; потом, набив мозоли, бестрепетно гонялись друг за дружкой, не замечая еловых шишек и дресвы. Но очень, очень замечая двухколесную тележку. Мороженое! И сливочное, и земляничное, и малиновое. О, этот сладкий холод в раскаленном полдне. Крутяшки в два пальца толщиной; диаметр медальный, диаметр поменьше. И вафли с двух сторон. На вафлях выпукло или впукло, позабыл, хрустят все наши имена. «Владимир» и «Володя» чаще прочих. Но вот «Артура» не найдешь. И не над этим ли они смеялись? — старик в панаме, Артузов в ситцевой косоворотке, без фуражки... Здесь было бы место в отраду изобразить внимание к детям двух большевиков, но неохота врать. Вкусив в сторонке сладкий холод, они шли дальше, продолжая старинный спор между собой.

Скажите-ка на милость, понятно ли вам столь продолжительное, столь искреннее несогласие тов. Артузова с тов. Ждановым? Прибавлю еще штрих, на мой взгляд, чрезвычайно важный. Положим, Жданов, интеллигент, юрист, очутился на Лубянке, как миссионер в борделе, — он был там совершенно неуместен. Но Артузов очень хорошо знал и помнил письма рядовых провинциальных чекистов. Единовременные с ждановской ревизией. И ежели питерские борцы с контрреволюцией предлагали сместить своего начальника Урицкого не за то, что тот Соломоныч, а за то, что Соломоныч недостаточно кровожаден, то непитерские... Некоторые, разумеется. Отдельно взятые, разумеется... Они ужасались и на самих себя, и на своих надежных, верных, мужественных товарищей: работа ловли и расправы создает из нас касту точь-в-точь жандармскую; постепенно и мимовольно мы превращаемся в нерассуждающих механических исполнителей-мясников.

А он, Артур Христианович Артузов, умом недожиданный, все это, вослед Дзержинскому и Менжинскому, принимал за издержки, за временное и преходящее. Не слишком ли долгим был самообман?

Теперь, возвратившись из поездки в Перловку, поднимаясь по ковровой лестнице сумрачно-солидного дома, находившегося на балансе хозяйственного управления НКВД, Артур Христианович замедлил шаги, приостановился. Твердое, сильное, умное лицо его выразило и сосредоточенность, и некоторую, совсем тенью, растерянность. Сиюминутное соображение Артузова, никогда прежде не возникавшее, потому и возникло, что он, посетив заснеженную, без огней Перловку, увидел в бывшем шефе жандармов «просто очень честного человека». Это соображение заключалось в следующем. И Ленин, и Дзержинский, чтимый Артузовым, Феликс Эдмундович, и он, Артузов, и его сослуживцы из центрального аппарата, все они, коль скоро речь шла о врагах, тотчас оказывались по ту сторону мало-мальских принципов совести, честности и, следовательно, оставались честными наедине с самими собой. Вопрос же, а кто, собственно, есть враг, решался очень и очень просто; вы ж знаете, кто не с нами... а это «не с нами» могло быть и бывало еще проще — вершковым несогласьем с партийным иерархом.

Однако привычка мысли и чувств выводить самого себя из душевного и духовного пространства «честности», «совести» была чревата возмездием, и Артузов это понял, вполне и окончательно сознав свое одиночество, утрату доверия к кому бы то ни было из тех, кто находился с ним в огромном здании на Лубянке, и ему стало страшно...

Превозмогая себя и ощущая ток подспудной радости возвращения домой, в квартиру, пусть и казенную, но казенность привычно несуществующую, потому что после революции Артузов ни дня не жил обыденной частной жизнью, Артур Христианович переобулся в домашние туфли и улыбнулся, потому что в такие минуты всегда чувствовал прилив любви к жене и дочери. Однако то, что еще вчера он не замечал, теперь, сейчас будто новым зрением заметил: карминный цвет,

похожий на муляжную, поддельную морковину в лапках витринного зайца — на Мясницкой, на повороте в улицу Мархлевского. Не в том, пожалуй, дело, что и паркет, и кожаные кресла, и кожаный диван, и мебель были густо-коричневого, карминного цвета, а в том, что этот цвет господствовал в кабинетах Лубянки, и это теперь, сейчас было неприятно Артузову. Как и то, что онпил, стараясь и ложечкой не звякнуть,пил горячий коричневый чай, тоже такой же, какой пили в кабинетах Лубянки... Ну, что же, ну, что же, надо, так надо. А Лида и Лидочка пусть спят... На собрании «актива» НКВД он скажет: мы превратились в охранку, мы служим е м у, а не партии рабочего класса. Да, скажет, и будет то, что будет... Онпил крепкий горячий чай и не мог согреться.

---

В минувшем августе пошел на Ваганьковское, к Булату Окуджаве.

Рядом с церковью вдруг да и заметил могильный камень: Артузовы! Лидия Дмитриевна и Лидия Артуровна. И зять Артузова — Стемпковский. По батюшке Адольфович. А ведь Адольф-то Стемпковский выдал некогда эмигранта Нечаева швейцарским и русским полициантам.

Что вы мне ни говорите, а Нечаев, не Маркс—Энгельс, а Серега Нечаев, истинный предтеча большевиков. Он товарища своего убил, кровью товарища повязал других. А главное-то, заквасочку передал, умение выскакивать из глупейших рамок честности, элементарной, как говорится, а говорить-то надо бы: единственной.

Интересное, между прочим, кино. Едва завел он, Нечаев, знакомство с эмигрантом Стемпковским (в Цюрихе дело было), как тот и выдал, предал, заложил, и Серега Нечаев попал в Алексеевский равелин, где и принял смерть.

Вот, повторяю, кино интересное. Тут по касательной и Александр Сергеевич Пушкин. Штука-то в том, что муж его

сестры, Поливанов, служил в Варшаве... Гм, не только редактором русскоязычной газеты, но и куратором русской заграничной агентуры. Это ж задолго до известного вам Рачковского было. Этот Поливанов, он кем, согласно родственной номенклатуре, приходился Пушкину?

---

Вот графиня Меренберг — дочерью. Она и выручила Джунковского.

Ночной визит Артузова сильно растревожил Владимира Федоровича. В разыскания чекиста не хотелось впутываться старому генералу.

Что же теперь делать? А теперь оставалось ждать. А делать было нечего, кроме одного дела, связанного с музейной закупочной комиссией. Там его знали.

Владимир Федорович тщательно упаковал акварельный портрет дочери Пушкина, графини Меренберг, мне непонятно как доставшийся Джунковскому, упаковал и поехал электричкой в Москву.

В Москве он провел день. Побывал на Ордынке, у обители, некогда согретой деятельной любовью великой княгини Елизаветы Федоровны. В арбатских переулках побродил. Издали на Ивана Великого перекрестился. И ощущал печаль расставания с Москвой и не только с Москвой.

В Перловку Владимир Федорович еле приволок ноги, но долг свой — последний, как и прощанье, выполнил: портрет продал за пятьсот рублей, я расписку видел, деньги отдал сестре. Как говорится, на дожитие.

---

Слышал, будто дворники на него донесли. Дворники и прежде, и тогда были на доносы повадливый. Да откуда они в дачной Перловке? Нет, тут артузовский шофер... Подтверждая и упорчивая преданность в борьбе с врагами пролетариев всех

---

стран, указал он маршрут последней поездки начальника. Чего ж винить шофера? Он правду сообщил.

Приехали за Владимиром Федоровичем, разумеется, ночью. Это уж после ликвидации заговорщика и двурушника Артузова, он же Фраучи. Приехали не на «бьюнке», а на «газике», но тоже казенном.

А потом пришли за ним в тюремный коридор, где были одиночки смертников. Не железные двери, а дубовые, с толстенными, тоже дубовыми затворами вдобавок к замкам. Пришли в тот самый коридор, где в восемнадцатом, краткосрочным зеком Владимир Федорович разносил смертникам книжки, предлагал шепотом Евангелие, да почти никто не брал. Ну и телесное врачевание тоже не принимали. Зачем? Все конечно. Послушайте, а может быть... Ничего не может быть, кроме того, что я перестану быть... Доктор Мудров, тоже заключенный, ожидавший смертного приговора, лечил Джунковского от воспаления кишечника. Однажды сказал совершенно невозмутимо: «Больше вас лечить не смогу. Сегодня ночью и меня туда же. Прощайте. Выздоровливайте».

Его возьми примером. И запевай поротно: «То ли дело, то ли дело егеря, егеря, егеря...» — «Не беспокойтесь, перед расстрелом мы крикнем «ура».

Вопрос открытый: удалось ли?

---

Печален был товарищ Сталин. Хрущев сочувственно внимал.

Под круглым канцелярским абажуром светили ярко две лампы, размещенные вальетом. Стоял тяжелый час в ночи, который иногда зовут меж волком и собакой. Погасла трубка. Товарищ Сталин выбивал табак. Запахло гадко: нагаром, никотинной слизью. Он в паузах скрывался, как в подземелиях Кремля. И возвращаясь, продолжал, что на Лубянке возвели напраслину: дескать, в революционном прошлом Сталина немало темных пятен. Пояснил: как верно говорят у нас в на-

роде — тэнь на шлэть.

Хрущев развел руками: нету слов, и головою покрутил. Он был и лично оскорблен. Не понял искренний Никита, каков забой почетного шахтера. Ха, тот готовил смену караула — уж больно много знают и нороят, поди, удрать из-под контроля.

Хрущеву бы спросить, кто авторы напраслины. Да заболелся внезапной перемены настроения. Сейчас печален вождь, ан, глядь, и клацнет желтыми клычками.

Вопрос открытый: имелся ли в виду среди прочих и Джунковский?

---

А Бурцев, тот ввел Джунковского в штат камарильи. Она не жадная толпа, стоящая у трона. Нет, камарилья, как и комары, кровососущая, витающая свора.

Хоть речь-то о царизме, не тянет на согласие с Бурцевым. И все ж вопрос: в чем смысл и цель враждебности Джунковского к В. Л.? В наличии ведь близкие позиции. И отрицанье провокаций. И желание избавить государство от Распутина. И патриотизм, а стало быть, участие в борьбе с тевтонским натиском. Но Бурцев, позвольте вам напомнить, рассчитывал и на реформы, на конституцию. Ужель они претили либеральному Джунковскому? Вот и задумаешься: а может, Владимир Федорович не прощал Владимиру Львовичу изобличенье тайных механизмов — ну, так сказать, вмешательство извне в те сферы, что подлежали лишь мундирам? Да ведь поймите, он, Джунковский, пришел на Чернышеву площадь, в министерство внутренних дел, позднее. Так что же? Ужель Джунковский, что называется, порядочный, банально, тупоумно мстил? Я развожу руками, как доверчивый Хрущев: нет слов. У Бурцева они имелись. Он и зачислил нашего гвардейца в камарилью. Джунковский навещал его в тюрьме; тем самым признавая за В. Л. известный вес и значимость. Однако государствен-

ных соображений о пользе пребывания Бурцева на воле не высказывал.

Формально же В. Л. судили вовсе не за публичность экзекуций над иудами-азефами. Нет, нет, формально отвечал он за оскорбленья государя императора в газетах, в журналистских выступлениях. Там, в Париже. А отвечать-то приходилось на Литейном, в петербургском окружном суде. Поскольку выгоды от гласности никто в расчет не брал, его и осудили на поселение в Сибири. Предполагалось, правда, что государь отменит приговор в видах практических: известный журналист сослужит службу в защите словом нашего отечества. Увы, Иов многострадальный, ничуть не сострадав Бурцеву, поколебавшись, приговор не отменил.

Тотчас послышались отечественные звуки: кандалы. Послышался и шорох бритвы — полголовы обрили. Надели робу на божьего раба. Да и доставили в уже известный матушке России столыпинский вагон. Он очень тряский, и посему жива надежда на избавленье от великих потрясений.

---

Вот, говорят, уже написан Вертер. Но саги об этапах нет. Отметим перво-наперво ужаснейшую давку. Она попраля все законы физики; небесную механику тем паче. И этот трупный запах.

Но, черт дери, бывало, в тесноте, да не в обиде.

Взгляните-ка на этих двух, в щетине и рванине. Радешеньки! По спицам, по плечам прихлопы: «Здорово, брат!» — «Ну, здравствуй, кореш!» Они, скажу вам, однодельцы, не заложившие друг друга. Иль беглецы на пару; плохая им досталась доля... Случались встречи исторические; историософские в известном смысле. «Артур?» — «Артур». — «Я — Гербель».

Важны и диспозиция, и содержанье диспута.

Позвольте их представить. Артур (забыл я отчество, фамилию), Артур — полковник, имеет срок за критику советс-

кой власти, известную лишь КГБ от стукача. Гербель — старый коммивояжер; ну, разумеется, там, за рубежами, где он в конце Отечественной был схвачен и сочтен изменником, продавшим не радиоприемники от Филипса, а дорогую родину, однако, неизвестно, кому и за какую цену. А ваш слуга покорный — посерединке, как буферное государство. В огромном помещении — параша тут не бочка, а вонючая цистерна — античный хор из осужденных жужжит, поет и матерится. Но это не мешает диспуту.

Застрельщиком был Гербель — усы прокуренные, глаз голубой со стариковской поволокой. Мысль его проста. Он, Гербель, присягу не бросал под хвост кобыле... (Я не сказал, что Гербель и Артур — до катастрофы служили в одном полку, лейб-гвардии гусарском...) Присяге он, Гербель, не изменил, а вот антисоветские высказывания воспроизводил, подчас вполне заборные. А ты, Артурчик, к большевикам подался, «так за Совет народных комиссаров...». Ну, и выходит, ежели по справедливости, махнуть бы нам с тобой не глядя статьями-сроками. Ты изменник — тебе и четвертак. А мне, чистейшему антисоветчику, мне — восьмерик.

Полковник сопротивлялся вяло. Мол, переход на сторону народа вовсе не измена. Бубнил, как на политзанятиях с младшим комсоставом: у нас автомобилей не было, теперь автомобили есть; у нас самолетов не было, теперь самолеты есть... Гербель в потолок поплеывал. Дескать, у нас концлагерей не было, теперь концлагери есть; у нас рабов-крестьян не было, теперь есть... Наконец, все это ему надоело. Он ко мне обратился, словно бы к судье третейскому, а я возьми и брякни, как тот сторож в дачном кооперативе бывших народников: «А так вам, чертям, и надо!»... С минуту лейб-гусары помолчали да вдруг и начали смеяться, ударяя один другого ладонью по ладони, как это делают кавказцы. Вот эпизод этапной саги.

А есть такая странность. Прибыл в пересыльную, охота

поскорее до места добраться. Знаешь, не на блины к теще, а есть, есть эта тяга к постоянству, а не к перемене мест. Словом, ждешь. А дождешься — и всегда будто внезапность, так сердчишко-то и екнует. Ну, дело обыкновенное, инфарктов не наблюдалось. Другое видел. Вообразите расставание с подругой. Навсегда! Тут не то чтоб дан приказ ему на Запад, ей — в другую сторону. Нет, по Северам разметают, оставь надежду. И вот, представьте, неувязочка, что-то там спуталось, не сошлось — зеки и зечки хлынули из всех дверей на огромный двор. Я и мигнуть-то не мигнул, как уж и очутился в каком-то зековском круге, все с мешками, у кого в руках, у кого на горбу, и этот сырой глинистый запах. Мелькнула согнутая женщина — юбка задрана, ягоды белые-белые... И сразу крепчайший подзатыльник: «Не зырь, мужик!» Теснь круг спиной оборотился, никто не пилился на прощание вора с воровкой. Это вам, господа, не бацать: «Гоп, стоп, Зоя, кому давала стою». И не сауна с платными щучками и подсадными утками. Но и то должен сказать, что надежда была ребеночка занять. В эдаком случае и амнистии случались. Мда, случались. Ступай, мол, на свободу. А вспоможения никакого, ни единого подгузничка. Я этот мост, за станцией Фосфоритная, мост этот помню, над речушкой. Они, которые из Вятлага на свободу, они там детеньшей своих на ходу выбрасывали, из вагона — и туда; давно уж, наверное, лисицы растащили, обглодали младенчиков. А по бокам-то все косточки русские...

Знаю, знаю, племя молодое брюзжит: все-то у вас, старичье, одни недостатки на уме. И ты вдруг чувствуешь желание подольститься, распотешить, мы будем петь и смеяться, как дети... Слушайте, детушки. У вас зубки-то часом никогда не болели? А дантиста, представьте, как в Бермудском треугольнике, хоть шаром покати. На стену полез бы, если бы к стене этапной камеры добрался. Куда-а! Но вот оно, отсутствие черных недостатков: на берегу великой русской и нерусской реки Волги, в пересыльной тюрьме всесоюзного значения был зуб-

ной кабинет. Чудо! Врачиха была в годах, я к ней сразу расположился, потому что руки у нее пахли земляничным мылом, как у моей мамы. Зубы простукала, словно путевой обходчик вагонные колеса, взялась за дело. Сверлит, сверлит. Я вцепился в собственные ляжки, терплю. Сверлит, сверлит. И что же думаете? Два здоровых зуба высверлила, а больной... Завтра, говорит, на этап пойдете, не успела. Ну, детушки, развеселились, а? На том пожмем друг другу руки, потому что и вправду на этап меня выдернули.

---

Были они и сухопутные, были и водяные. А были и такие географические пункты, откуда на этап отправляли и посуху, и по воде. Примером беру тюрьму тобольскую нагорную старинную. Туда экскурсии водить. Там, в мертвом доме, думал автор «Бесов». А потом — бесенок, мартышечка очкастая. Кремлевские бабы его любили. Остер был на язык, пером владел. Вождю с улыбкою полуистины говаривал. Из судебной залы сотоварищей на расстрел повели, а его — на этап, на этап. Тобольские узнали, что к ним — в эту нагорную, старинную — привезли Карла Радека, и перешептывались: «несчастный человек», и в этом «несчастный» было простонародное сострадание к узникам, лишенным счастья. Радек и сухим и морским путем Колымы достиг, а на Колыме его настигли, говорят, уголовные, да и порешили, пошел он догонять сотоварищей... Но я Тобольск вспомнил не ради Радека и даже не ради Достоевского, а ради бабушек. Они меня и теперь примиряют с разумной действительностью. Так и вижу старушек в платках, в кацавейках, в темных юбках, на косогоре их вижу, у пристани, вот они и в дождь, и ведро непременно появляются, когда арестантов ведут к барже, к пароходу, а они, безвестные эти старухи, тоненько поют «Со святыми упокой...». Еще живых отпевают, потому что как же их не отпеть, если там и отпеть-то некому. Тоненько поют, всех крестят, даже и такую

---

сволочь, которой тюрьма гнушается. И еще долго-долго на косогоре стоят, пока труженик-буксир не утащит из виду арестантскую баржу... Сутки будет тянуть, пыхтеть, плечами стучать. Сутки, а может, и дольше. А потом всех заключенных вытряхнут из баржи на матерый берег, в безлюдье, в комариный звон, в духоту лилово-сумрачных дебрей — и поминай как звали, не скажут ни камень, ни крест, где легли. Вам непонятно, в чем тут дело? А ну-ка вспомните: в мире есть царь, этот царь беспощаден...

Но наш Иов, наш царь, ничуть не сострадая Бурцеву, не обрекал его на голод. Всем ссыльным от казны помесечно ссужал пятнадцать рэ. Притом, прошу заметить, свободно конвертируемых. Казенный пароход — в отличие от частных не колесный, а винтовой — ходил из Красноярска вниз по реке. Он был послушен капитану: «Правей маненько... Левей маненько...». И погудел, и посвистел, и выволок баржу на стрежень.

Державное течение у Невы? Полноте, державен Енисей. Всей государственною мощью, всей своею ширию сплывает в океан. И эту глуть брал в оборот винт «Туруханска»; тащил он на канатах арестантскую баржу. Его машина одышкой страдала, как наша, вспомните, ребята, «Умба» на Белом море. А все ж стучала, все ж старалась. На берегах, крутых или плоских, поверх лесов разлился, хоть черпай ложкой, малиновый закат. Недурно было б спирт запить сиропчиком. А разбавлять не надо — авторитет утратишь. Тогда уж не пеняй, что «Туруханск», казенный пароход, твои «маненько» не признает.

Премьер Столыпин желал добра России. Она взяла лишь «галстук» и столыпинский вагон для заключенных. Такой вагон зачеркивал все впечатленья бытия, кроме селедки, жажды и очередности оправки. Плавучая тюрьма, коль ты не в трюме, а на палубе с высоким железным частоколом, дарила ощущение холода на скулах, и это был живой привет всех островов и перекатов, деревень и пристаней, облаков, рассветов и закатов, луны, ходившей, как на привязи, за солнышком. И эти

огоньки в ночах. Они мерцали, гасли и снова загорались. Их видел Бурцев. Он не был бы с младых ногтей народником, когда б не помнил Короленку: мы плыли по широкой утрюмой реке; вдали дышал и манил живой огонек; приближался, был совсем-совсем близко и вдруг исчезал за поворотом реки; и жизнь текла все в тех же утрюмых берегах; но вот опять вдали переливается огонек, и мы опять налегаем на весла, потому что все же... все же впереди — огни.

---

Село Монастырское, назначенное Бурцеву, располагалось на правом высоком берегу совершенно уж необозримого Енисея. Здесь он принимал резвую Нижнюю Тунгузку. Она сдуру намыла отмель. Хочешь чалиться — огибай осторожно.

На приплеске сохли рыбачьи сети. Чуть дальше тяжело громоздились корявые шкуры сохатых. Знающему человеку было понятно, что колесный «Орел» повез тунгусам и остякам муку и водку в промен на пушнину, а на обратке заберет эти оленье шкуры.

Стояла у причала большая грузовая лодка. Команда была в комплекте: сознательная лошадь, две бабы и мужик. Сегодня, завтра нагруженную лодку потянет бечевой кобыла; одна из баб — верхом; другая — на руле; а бородач продолжит смолить махорку и наблюденье за процессом, утверждая власть патриархата и на воде, и на земле, и, в частности, вот здесь, в селенье Монастырском, Туруханский край.

Начальником всей Туруханки был Кибиров. Не говорите глупости, в России это больше, чем поэт. К исправнику приставили огромный край. Величие России в чем? В величине! Кибиров это понимал, он был неглупый мальый. Высокий, с резкими морщинами; широк в груди и тонок в поясе. Глаза горели черными огнями, что было, несомненно, светлую надеждой на покоренье Северов. Жена исправника держала дом исправно. За пышным разворотом плеч имела верная славян-

ка курс гимназии. Кибиров позволял Кибировой читать романы в его домашнем кабинете. Там на одной стене повешен был наш государь — последний! — во всем параде, в полный рост. А на другой стене — кинжалы, сабли, пистолеты. (Взгляни и вспомни набор кавказского оружия, подаренный Распутиным — царевичу.) В столовой четко тикали часы «Модерн», и это много значило в духовной жизни всей округи. Народ-то жил счастливый, часов не замечал, поскольку не имел часов; подчас не зная, ложиться спать или вставать. По сей причине здесь случалось Пасху праздновать на сутки раньше или на двое позже. Теперь уж сам Кибиров, корнями мусульманин, следил за христианским распорядком жизни — имел часы «Модерн» из магазина «Ревильон и К°».

В том пестром магазине — приказчиками латыши как представители Европы — торговали табачными изделиями. Сюда заглядывал тов. Джугашвили-Сталин, влюбленный член ЦК. Он покупал плохие папиросы «Нора» потому, что коричневую бандерольку метил белый женский профиль.

Ну и довольно об этой лавке, здесь не Кузнецкий мост, а Монастырское и вечный наш народ.

Все избы с клетями, подклетями, амбарами и крытыми дворами. На днях один ревнитель нац. характера попал в просяк. Он пел о северянах: в старину замков дверных и ставень не было — широкие натуры, соседям доверяли, все нараспашку. И тут же ляпнул: амбары с двойной крышей замыкали пудовыми замками. Ой, лю-ли, ой, лю-ли... А в избах воздух, хоть вешай топоры. Но это потому, что чернышевские к нему призывали Русь. Так, может, в хлев мне заглянуть? Но там ведь хлевный дух. Вот тоже, знаете ль, вчера наш замечательный писатель-реалист печалился о том, что постсоветские крестьянки в навозе огружают по колена. А я, как сноб, подумал хмуро: чего ж это они не изукрасят свои рабочие места ромашкой-лютиком? И пусть прозаик-деревенщик, как ворон, выклюет мои бесстыдные глаза.

Другое дело Бурцев. Он смолоду народник. Доставят в Монастырское — пойдет по тротуарам. Здесь они надежнее, нежели парижские панели: из исполинских досок отслуживших срок баржей. По этим тротуарам наш парижанин отправится в народ. О доле будет говорить и о недоле, и о войне с германцем. И с умилением подмечать, как в местном говоре играют в прятки «ч» и «ц»: «У нас собаку на чеши не держат»; «Сейчас я цайник вскипячу». И вскипятят. Попотчуют прежирной рыбкой тутунком. Предложат кое-что на вынос: икорки фунтик — шестьдесят пять коп.; за пудик осетринки — четыре руб. Сиди и разговоры разговаривай. А если попроситься на житье?.. Нависнут брови, глаз не видать. Э, нет, уж поищите у других хозяев. Что так-то? Объяснят вам, не таясь, в открытую, поскольку ведь душа-то нараспашку: а вишь, господин хороший, с вашим братом, поселогой из политиков, одна докука — дров изведут, что твой казенный пароход; в клеть его не сунешь, нет, ты горницу ему отдай; за книжками-газетками он бочку каросину истребит, а скажет: что ты, что ты, куда как меньше... Э, нет, уж вы к соседям-то зайдите. У них там печи не дымят, те-епо и сытно... Короче, «поселогои» звучало, как «подлюги».

От поисков пристанища избавил Бурцева сам господин исправник. Должно быть, как и Хайнце, ротмистр в финляндском городке, Кибиров сомневался, уж так ли виноват В. Л., коль доброй волей воротился. Начальник Туруханки имел при управлении полиции недвижимость, ну, вроде дома для приезжих: стоял над Енисеем и прозывался «маяком».

Итак, наш Бурцев в Монастырском, где проживают «поселогои» разных партий. Важней других — большевики. Как горек был небратский их привет... Ха, Пинкертон! Ты, Крысолов! Карьеру сделал на Азефе, да и решил, что все кругом нуды. В Париже — шаржи: Бурцев объявляет, тряся бородкой: тако-го-то числа провокаторы, собравшись у меня, вскроют всю мерзость падения партийных организаций. Пинкертон пред-

полагал — его с восторгом примут. В толк не возьмет, что и кропоткины — плехановы давным-давно остались за бортом. Ну ладно, этот Бурцев публиковал статьи известного разряда: Николай и Распутин. Но про царя он не кричит, как прежде: «Долой царя!». Какова позиция? Война, отечество, реформы... И что ж выходит? А то, что гнить нам в Туруханке. Слуга покорный... А Бурцев думал: да это ж даже и не бесы. Те в поле водят и кружат по сторонам. А эти все ужасно мелкие. «И вот он в точку уменьшился, в комара оборотился». Их однозвучный звон убьет все звуки жизни. Ужели спасу нет?

Охапка дров, корзина шишек, сухие травы и сухие прутья. Запаливай. Пали. Голубовато-сизый дым поплыл, запахло кедром. Першит, дыханье перехватывает? Терпи, освобождение близко. Гляди, уж эти кровососы шатаются столпами, вяло никнут. Дверь настезь, маши разлапистою веткой ели. Прояснило, мертвящий звон пресекался. Как вольно дышишь.

Надолго ли без комаров? Не будем врать самим себе. Не пессимизм, не оптимизм — неизбежность: они до точки уменьшатся и наплодят миллионы комаров. Но все же хоть немного да без них, без них, без комаров.

---

Комар и носа не подточит в монастыре. В. Л. обрел там золотую жилу. В вечной мерзлоте? Жилу открыл для Бурцева игумен его высокопреподобие о. Серафим. Серебряные нити в черной бороде. Он в круглой черной шляпе, в черной рясе. Спокоен, но не надут, задумчив, но не отрешенно; он окал непритворно. Давно ли во игуменстве? Точно не скажу. Известно, что в оны годы имел веселый, бодрый нрав. Прикладывался... Помилуйте, к мощам Васёны Мангазейского, конечно, тоже, но чаще — к прикладу своего винчестера. Переменился резко как раз в тот год, когда в Париже Бурцев изобличал Азефа. А здесь, на Енисее...

Уже оскоминой повторы о русском бунте. Однако ведь

отчаяние не бессмыслица. Бунтовщики шли к северу, надеясь по весне бежать на пароходах за границу, как друг мой Алексей Данильченко, донбасский рудокоп. Иллюзия! Но — шли. Не мирно, с боем. Их было несколько десятков человек. В Монастырское... стояла ночь яснее ясного, мороз жестокий... в Монастырское они на лыжах прибежали. Спросонья стражники, и мужики, и бабы — стреканули в монастырь времен Тишайшего царя и затворились, как от Емельки Пугача. Вдруг все стихло. Такие «вдруг» — желание прислушаться друг к другу. Перед воротами стоял один из беглецов: трех был набекрень, в руке ружье. И резко обозначенный луной, кричал, что никого не тронут, возьмут, что нужно, и уйдут. Винчестер грянул, он рухнул в снег, отец Серафим попятился, крестясь и закусив губу... Тут завязалась перестрелка. Монахи не отставали от мирян. Мятежники и от мирян, и от монахов. Взломали ворота и ворвались. Все побежали в церковь, как в дни Мамаю. Игумен не бежал, молился на коленях. Ему сказали: потом договоришься с Богом; да передай, нас довели до ручки. По найму — ничего; пособие — шип; лавочники в зачет не отпускали. Ложись и помирай? Мы голодом сидели четыре месяца. А вы тут, православные, нам ни полупки! Теперь берем, как и в других местах, оружие, деньги, лошадей.

И в эту ж ночь ушли — на Север, к океану.

По тундре, по широким просторам...

Не поезд мчится Воркута—Ленинград, тяжелая машина там, во мгле, зависла над тундрой, над широким простором. Зависла и летит на встречу с зеками. Клубочками, клубочками кружится, плещет выдох, как у младенцев. Они лежат, как в колыбелях. Их положил конвой, они лежат. Ничком иль навзничь — выбор твой, а выбор, говорят, свобода. Лежат теснее тесного, ну, как на нарах; плечом к плечу и боком о бок. Сплоченно огружают в тяжкую дремоту. И засыпают, засыпают, точно рыбины. Смерзается бригада. Еще одна. И эта, тре-

тъя. И снится им трава у дома, трава у дома, и возникает огромнейшее «Т» — посадочная полоса: летит во мгле машина на встречу с зеками. Поодаль горят костры, не дремлют пулеметы, их утепляют зековские телогрейки... Как пошли наши ребята в Красной Армии служить... Здесь зеки полегли, да и замерзли, а там горят костры, чтоб летчик Водопьянов видел, где посадить тяжелую машину. Она летает выше всех, она летает дальше всех, а нынче пробежит по этой «Т» из мертвых, мерзлых зеков. Лежат вражины и не шевелятся. И летчик Водопьянов удачно посадил тяжелую машину. Ревет мотор, она бежит по зекам. Ура, Герой Советского Союза. Он будет выпивать и книжки он напишет, но не об этом. И не сойдет с ума, как те, кто бросил атомную бомбу на Хиросиму...

И пусть меня простит не летчик Водопьянов, а заключенный Алексей Данильченко, донбасский рудокоп. Я от письма его отвлек. А он писал жене, она ему не отвечала лет уж двадцать, но он настаивал: «Пришли-ка мне очки, я здесь не вижу ничего бацильного, ни сала и ни сахара» — и улыбался черным ртом, он сам себе придумал горчайшее из развлечений и вот беззубо улыбался, корявым пальцем поправлял очки, они давно уже на проволочках да на веревочках. Как у того, которого убил игумен. Тот здесь остался, в Монастырском, а все его товарищи ушли — на Север, к океану.

По тундре, по широким просторам...

Сперва-то шли, потом тащились. Погоня близилась. Все шли да шли, тащились и тащились. Погоня их настигла. Измученный поручик распорядился сиплю. Одних забили в кандалы, других забили насмерть. Ка-а-кие маки расцвели на белом снеге. Ка-а-кой был пир песцов, аж белый снег поголубел.

В те дни игумен Серафим винчестер снес в кладовку и вымыл руки скипидаром, как философ Соловьев после «общения» с презренными банкнотами. А для игумена то было отречением от охоты в тундре. Он сделался утрюмым домоседом.

Нельзя сказать, что появление Бурцева хоть как-то повлияло на него. То было бы отрывкою идеализма. А ежели что было, так только хмуро-неглубокое неудовольствие: прибыло не нашего полка, а иудейского. Исправнику спасибо, сообщил: «Не жид, а сын штабс-капитана». Но было бы натяжкой полагать, что одно лишь это расположило настоятеля к В. Л. Наверное, покажется вам странным, но говорю вам правду — отец-то Серафим, представьте, не жаловал охранку и полагал, что в услуженье кесарю не должно привлекать иуд. Как видите, сей черный человек был во священстве белою вороной. Отсюда его тайная симпатия к В. Л.

Игумен пригласил, В. Л. пришел. Недоумение сменилось благодарностью при виде рукописей, предложенных к прочтению. Они хранились в этой келье. Одна — с заметами о праведниках полуночных краев. Другая... Любому покажи, взьерошит волосы: Пушкин. Сафьяновый бювар весь в паутинках-трещинках, они белесые и тоненькие, как нервные волокна... Само собою, Пушкин всего на свете нам дороже. Бювар — на стол.

---

Пушкина, который не Мусин, на Колыму сослали. Туземцы окликали его Пашкиным. Спасибо и на том. Могли б и Пистолетовым.

Исправником в Средне-Колымске был Тарабукин. Человек толковый. Судите сами. Он получил однажды от петербургских знатоков статистики реестр вопросов. Ему велели сообщить, каково на Колыме животное царство. Он отлил пулю: «По невежеству местных жителей оное царство на Колыме не обнаружено».

Теперь к его обязанностям прибавилась ответственность за ссыльного, участника несчастнейшего происшествия на Сенатской площади. Якуты качали головами: Улахан Ханлах; сказать по-русски: Большой Преступник. Казаки просвещенно объясняли, что этот Пашкин вконец рассорился с царем и

тот не стал кормить его оленьим языком.

Тарабукин отвел ему горницу в своем просторном доме, где в комнатах топили семь раз на день. Горница понравилась Пушкину своей голландской печью. Ах, обливные изразцы, как в отчем доме на Тверском бульваре.

Исправница ему благоволила. Глаза Наталии Архиповны — голубоватые пронежины, точь-в-точь сибирская сорока — чередовали томность с желанием похитить постояльца. Ее старанья (предварительные) сосредоточились на рыбных блюдах. Положим, Тарабукины как раз и значит — рыбоеды. Положим, Колыма своею рунной рыбой и рыбой стайной изумила бы и гастрономов из школы Лёвшина. Все так. Но следует открыть секрет, на Колыме известный колымчанкам. У рыбы — рыба кровь, да вот поди ж ты, разжигает лобострастье. Наталия Архиповна старалась по части рыбных блюд. И вдруг взялась за спицы. Ее предмет просил связать трехцветный шарф. Она вязала. Он бриться перестал и обрастал пречерной бородой.

Шарф исправница связала. Тотчас перепоясался, как кушаком, да и пошел по избам и по юртам. Везде пророчил он Колымскую республику. И утверждал, взойдет заря пленительного счастья. Конечно, думал он, палаты Аглицкого клоба — народных заседаний проба. Но то — в Москве. И то — не то. А здесь, в Средне-Колымске... Вот только бы не напугались слова «шарф». И говорил он вместо «шарф» — «кушак», что было данью шишковистам.

Исправник Тарабукин, умный человек, спросил: «Скажите мне на милость, сударь, а какво же назначенье кушака?» Он в этот вечер потчевал его, как гостя, оленьим языком; такое и царь с царицей в Зимнем вкушали отнюдь не каждый день. И Пушкин, он же Пашкин, губы облизнув, молвил с важной расстановкой: «Сие есть знак достоинства». Исправник поднял брови. «Ну что ж, — продолжил Пушкин, он же Пашкин, — вам, сударь, любопытно. Извольте. Сей знак есть знак Колымского парламента».

Исправник знал подвластный край. Он заключение вывел, что республиканскому правлению годятся лишь кочевые чукчи: они наделены природным чувством независимости. А нашенским, гутнивым, необходима палка. Живут-то на «буат», что по-колымски значит на «авось»: «Буат, пошлет Господь лисичку».

Тарабукин тарабарить не желал. Он отписал в Иркутск, что государственный преступник спрыгнул с ума. Уж лучше б посох и сума. Всего же лучше — монастырь. Там души печат.

---

Пушкин-Пашкин, прощаясь с Колымой, свой талисман оставил якуту по имени Никуша. Из рода в род в Никушином семействе хранился трехцветный шарф. Кушак однажды был с гордостью предъявлен заезжему Начальнику. То был Большой Начальник — реглан из кожи на пуху гагачьем. Большой Начальник, он же Старший Брат, кивнул и улыбнулся, и сказал — все мы должны умножить рев. традиции ударным соц. трудом. И одарил Никушу пачкой толстых папирос, что назывались «Пушка». В честь Пушкина, сказал Большой Начальник, он же Старший Брат.

То было в девятьсот тридцать шестом. Свезили в Магадан республиканцев. О да, на Колыме всходила заря пленительного счастья. От слова — плен.

---

То в кибитке, то пешком чернобородый Пушкин, который не Мусин, перебирался с Колымы на Енисей. Он был доставлен в Туруханку, в монастырь. И в келью водворен. Она была подобна карцеру. Во глубине Сибири такие кельи-карцеры именовались почему-то корабельно — каютами.

Не объявляя голодовку, он ел такую малость, что и церковная бы мышь заголодала. Сиживал часами за решеткой у оконца, весь словно без костей, с опущенными плечами; на

---

Кольме якут Никуша сокрушался: совсем копной сидит. Но от прогулок не отказывался.

На колокольню лестница вела. Студила студа, Млечный путь дымился длинной-длинной польнейей. Шептали звезды, и этот шепот тихо ниспадал мириадам льдистых блесков. И, как на Кольме, мистерия Сиянье Севера, Nordicht. То медленно, то быстро передвигались столпы огня; яркие лучи, выстреливая кверху, вдруг, сблизившись, венцом ложились вокруг луны. Какие-то фигуры или тени, числом не меньше тыщи, бороздили темно-голубые небеса. Играли сполохи. А сполох — в старину — пожар. И должно полоштить набатом. Однако тишина глубокая, как эта синева небес. Но Пушкин вздрогнул. Среди фигур иль теней парил Васёна Мангазейский. В рубаше длинной распояской, подстрижен скобкой, ликом светел. Витал он словно бы на самолете, на ковре, как в сказке, однако Пушкин знал, что в этой сказке есть намек.

---

Когда-то в низовьях Енисея стоял полночный град. В пять башен. Свистели ветры; стрельцы в кулак свистели. Град назывался Мангазейей. Считался златокипящей вотчиной царей. Отсюда каждый год везли в Москву сто тысяч шкурок соболей.

Водились Пушкины с царями. Цари, бывало, ими дорожили. И назначали воеводами. Один иль два — одновременно — сидели в Мангазее, надзирая, чтобы кипенье злата не остыло.

Тогда ж, при Пушкине, там жил Васёна — родом ярославец, ликом светел, нравом чист. Служил богатому купцу совсем иного ндрава: имел наклон к поклепам. Васёне пробил страшный час. Стрельцы схватили да волоком на съезжую. Огнем прожгли, железом изорвали. Воевода Пушкин притопывал ногой; он был нетерпелив, он жалости не ведал. Васёна помер в пыгошной избе. Обезображенную плоть не схоронили, нет, по приказу воеводы Пушкина — скорей, ско-

рей стащили в топь.

А недолге не стало Мангазеи. Пять башен рухнули. Пожары отгорели, и на пожарищах мелькали голодные песцы. Но мощи Василия Мангазейского в забвенье не остались. Перенесли их в монастырь, что вознесен над Енисеем и Тунгуской.

Васёну поминали вёснами. В десятый майский день. Прихожане пахли влажной берестой. Теснились все к Васёне — на левом клиросе. Соборне служба шла. Но Пушкина ты хоть сейчас соборуй. Понур и бледен, он держался в стороне, ловили ноздри смрад пытошной избы, где воевода Пушкин замучил бедного Васёну...

Поэт-однофамилец и, конечно, свойственник, потомков звал гордиться славой предков. Особливо потомков бояр старинных. А не гордишься, знай, что ты постыдно малодушен. Но этот, заточенный в монастырь, носил фамильное прозвание двойное: Бобрищев-Пушкин. Он малодушен был лишь в смысле душ дворовых. Поручик, но разжалованный. Лишенный прав дворянских, но не лишенный права казниться своей единосушностью с мучителем-убийцей. Судите сами, сошел ли он с ума?

---

Лаврентьич, сын покойного Лаврентия, такой он, знаете ль, солидный, ухоженный, гладкий, прилежно отмывал папаню-кобеля. Перевернулись бы в гробах все жертвы Берия, когда бы хоронили их в гробах. Сказал, что да, конечно, малость перегнули палку, а так-то что ж, он был не виноват. Шофер-сосед (мы с ним смотрели телевизор) как будто харкнул: «Ну, сука, ноль эмоций!».

Назавтра в коридоре какого-то издательства увидел стенд «продукции» под названьем: «Старый уголовный роман». И посередке: Серго Берия «Мой отец Лаврентий Берия». Ах, покупайте, покупайте, взгрустните о минувших временах. Гордиться надо славой предков. А покаянья требовать с жидов.

Валяйте. Но как избыть, как позабыть железный строй солдат, ушедших с рюкзаками совсем не в туристический поход? Отец Серго курировал создание Бомбы. Да, атомной. Да, чтоб не отстать от США. Так вот, плутоний нужен. Плутоний есть, в наличии. Но нету техники, спецтехники доставки к месту сборки этой лярвы. В подобных случаях всегда есть контингент. Отец Лаврентьича отдал приказ — пусть тащат в рюкзаках. И потащили. И притащили. Промучились остаток дня и ночь, на утро — сотня мертвецов. Зарыли без салюта, не скажет ни камень, не скажет и крест. Как это мне избыть, как позабыть?

---

Голубоватой, словно голубика, была бумага. На ней писалось тушью «Житие Василья Мангазейского». А все хождения подвижников сибирских — чернилом. И это значит, что лесотундру достигли чернильные орешки и купорос, без них чернилам не бывать.

Буранил на дворе буран. Игумен Серафим предложил ночлег в обители. Голос был теплый. Бурцев подумал о Бирске.

Когда папенька преставился, Бурцев, гимназистом, жил в Бирске, в глуши, у тетки. Там пахло медом, дегтем, бочарным производством.

Мне этот Бирск охота было бы объехать стороной. У нас, однако, прозаиком ты можешь и не быть, провинцию живописать обязан. При этом заруби-ка на носу: они там все ужасно щепетильны, своим прощают все, чужие — не замай. А коли ты столичный, то, стало быть, и штучка, в литературу ты проник посредством, извините, заднего прохода.

Да, был Бирск, пожалуй, неминучим. Меня остановил философ Лосский. Сказал: «Будучи в третьем или четвертом классе, я начал писать роман, местом действия которого был почему-то Бирск, совершенно неведомый мне городок Уфимской губернии».

Я, как и Лосский, не стал писать о Бирске. Нескромное сопоставление? Но скромность украшает лишь большевиков. Так думал в Монастырском и в Курейке Джугашвили; он порицал нескромного Свердлова. Согласен с ним, но уж позвольте выйти на прямую.

В. Л., конечно, мой «объект». Но суверенный. Он волен и свои суждения иметь, нимало не заботясь о суждениях автора. Вот так о Бирске, смиренном и уездном Бирске. Там тоже монастырь стоял. И тоже; как здешний Свято-Троицкий, ничем не знаменитый. А между тем Володя Бурцев, гимназист, хотел принять бы послух. Желанье было долгое; потом заглохло. И вот очнулось в теплом голосе игумена.

В. Л. благодарил. Взял чай, в придачу получил дольку лимона в сахаре, печенье вкусное, звалось московским.

Буран буранил на дворе. Келья была жаркой. В. Л. конспектировал заметки о деяниях сибирских праведников — зимой, когда метели не метут, а движутся столпами, и это означает не что иное, как только свадьбу черта с ведьмой; и летом, когда жара, когда упруг и тепел ветер, и тундра вдруг запахнет степью.

---

Из юрты вышел человек в тунгусском одеянии. Сказал, что он здешний священник.

— Давно вы здесь?

— Скоро пять лет. Вдовый я, отдал себя служенью малым сим, пока силы позволят.

— Тут жить трудно, лишений много.

— Да, сперва тягостно было. Очень. Заколебался, орбел. Но Господь укрепил: оставайся. Остался, скоро пять лет.

— Стало быть, в голод тоже были? Как же вы уцелели?

— Его святая воля. А тяжело было, ах, тяжело. Несчастье-то главное: помощи оказать не мог. Ко мне идут, просят, детей оставляют. А я только слезы лью.

— А начальству писали, отец Петр?

— Неоднократно. И получал сугубое замечание с утешением.

— Да как же так?

— Не сужу, потому не знаю. В соседнем улусе было хуже. Семьями вымирали, а погребать некому. Они святое крещение приняли, думали, минет чаша сия. А помощи нет. Не мог я допустить, чтоб колебались в вере. Господь услышал недостойного иерея. Привезли нам подмогу. Скорняков Инокентий Васильич приехал и господин Камаев, обер-аудитором служил.

Махотин Сергей Гаврилович, лекарь.

Жил в юрте. С инородческими детками грамотой занимался. Больных лечил по всей тундре. Разъезжал на оленях, на собаках. А то и пешком, с котомочкой.

— Много больных здесь?

— Здоровых нет. Несчастное племя, тает, как свеча. Шестой год здесь, совсем отунгузился, а чувствую, долго не протяну.

— В Енисейск наезжаете, Сергей Гаврилыч?

— А чего там делать? Грабительство, всякую пакость смотреть? В Монастырском бываю: с исправником ругаюсь, иногда вот и медикаменты получу. Опять скажу: что с ними делать? Край необъятный, в год не объедешь. Врачевать микстурками глупо. На это лечение требуется. Живу вместе с ними, с инородцами. Учю, сам учусь — научился: из кости разные фигурки вырезаю. Ну, продаем тем, кто пушнину набирает. Сети плету. По доверенности, чтоб от русских без обману, хлеб тунгусам закупаю, свинец, порох. Впроголодь кормимся. Трепещем, а покамест-то не подошли.

— И не тянет вас ноги унести, а?

— Свыкся. Да и правду сказать, полюбил здешних. Ну, ровно дети. А сперва жуть брала. Выюга встанет, ничего не видать, жутко. Ну, думал, брошу все, убегу из этой белой могилы. Отец Петр удержал: не бросай их, врачуй недуги телесные, сколь можешь. А сам он души врачевал. Расстояния, сами знае-

те, немеренные. А он — с котомочкой: запасные дары несет.

— Один?

— Как можно? Я б его одного не пустил!

— Так кто же с ним? Уж не вы ль, Сергей Гаврилыч?

— Гм... Ну-у...

— Вы, что ли?

— А кому ж еще. Был безотлучно.

Лекарь умер. Священника о. Петра, жалобщика по начальству, отправили в какой-то монастырь на послушание.

Камаев, обер-аудитор, расследовал по высочайшему повелению дело о людоедстве. Выехал тайно, дабы предварить намерения местных властей. Видел, как люди с голоду поедали друг друга. Семья из шести душ вся вымерла. Сперва старшую дочь съели, потом сына прикончили, его мясом кормились, потом другими трупами насыщались. От сей пищи лишились жизни.

— Господи! А где ж казенные хлебные запасы?

— Да на поверку-то всего-навсего сорок пудов оказалось. Рапортовал начальству. Мне же и утрашения пошли: мол, жди погибели.

— Таких, как вы, в Петербурге прежде «ябедниками» называли.

— Вот, вот. А вы попробуйте-ка при моей-то должности взятку не взять...

— Не взять?

— Именно. Приходит купец. Просит «устроить» раздел имущества с братом. Ну, и предлагает барашка в бумажке. Спрашиваю: «А по правде поступить не можешь?» — «Так ить проволочка большая. У брата ж и так добра выше головы, кой ему ляд наследство?» Нет, говорю, не возьму. Ушел. Попил я чаю, выхожу в сени. Глядь: на табуретке узелок. Ударился догонять, ушел, нету. Посмел, понимаете, мне взятку сунуть! Кое-как отдал. Рассказал братни своей. Что ж думаете? Житья не стало. Так и подрезают подметки, даже и в Петербург сооб-

щили своим знакомцам, столоначальникам.

О купце Скорнякове.

Спасая вымирающих иноплеменников, все свои торговые хлебные запасы безвозмездно передал, а когда их не хватило, пустил в распродажу и недвижимость.

— Кто вас, Иннокентий Васильевич, на сей путь наставил?

— Не ведаю. Но Камаева большая часть есть. Я о ту пору находился в Туруханске. Заехал он ко мне, возвращаясь в Енисейск, всякие страсти рассказал. Я не поверил. Он говорит: возьми нарты, съезди, убедись. Ну, думаю, гляди у меня, Камаев, не так уж я и прост. Поехал в улус. Приезжаю. Батюшки-и-и, юрты разметаны, песцы с визгом разбегаются — рыла красные, в крови. Все перемерли, тунгусы, остяки.

Рогачев, конторщик купеческой конторы в Енисейске.

Одевался просто, жены не имел. Женатый не волен в духе своем. Постоянно спорил с сослуживцами, людьми разных сословий. Все эти споры непременно кончались великой печалью о греховности людской, позволяющей бесам ликовать. Составил свой молитвослов:

О, Иисусе Христе, Сыне Божий!  
 Помилуй раба грешного Ты,  
 Внемли его скорбям и воплям,  
 От аггелов Сибирь Ты спаси.

Стал на площадях говорить, народ собирал: «Пора бороться с силами адовыми, пора мир от грехов очистить». Купец, у которого Рогачев служил, увещевал: «Полю, Илья. Не хули явно при народе правителей наших». Отвечал: «Воля ваша, Петр Тимофеевич, не могу. Я мысль укрепляю, что с неправдой бороться надо, а не потрафлять ей». — «Ой, в беду попадешь, Илья, страшную...» Потом приходит к этому купцу квартальный надзиратель. «Имею, — говорит, — секретное дело». — «Прошу садиться и удостоить беседой». Полицейский офицер сказал: «Уймите вашего конторщика. На базарной площа-

ди непотребства возглашал. Я огласки-то не сделал по лично-му к вам расположению. Теперь еще вот: Рогачев нищих детей повсюду собирает, хибарку нанял, чтоб ночами не мерзли, всякое довольствие покупает». Лобанчиком\* ублажил его и обещанием «судержать». Квартальный удалился. Призвал приказчика. «Скажи, Илья, хороший ты, честный, а зачем норовишь и себя погубить, и мне большие хлопоты доставить, а главное, и детский приют свой разорить?» Отвечает без запинки: «А как же, Петр Тимофеич, терпеть, когда видишь страждущих? Третьего дни пошел на Торговую площадь, вижу, сейчас плетьми станут драть старого человека. Кричу: «Эй, не закон драть старцев!». Стражники на меня: «А ты кто таков?!» Говорю: «Сирых, убогих, старых заступнику». «Вот мы тебя, чер-рт!» Тут барабаны забили, все глядеть бросились, им, видишь, куда-а интересно... Я ведь, Петр Тимофеич, не против власти изрыгаю, я ж за правду стою».

Кончилось арестом. Замкнули Илью Рогачева в узилище, а потом тайно увезли на далекое расстояние да там, в пустыне великой, где камень и снег, бросили один на один с диким зверем. Безо всяких жизненных припасов.

Смахнул очки В. Л., отер глаза тылом ладони, они опять наполнились слезами. Сквозь слезу на реснице — огонь от свечи плавает, расплывается. В. Л. грозил кому-то кулачком: «А, тухлые вы души, вы говорите: нет святой Руси!»

Буран лег. Ночь настала ясная, наискось обозначилась плотная тень колокольни. Над колокольней, в звездной россыпи витал на ковре-самолете Васёна Мангазейский. Далеко-о видел, все замечал. И даже эти нарты на реке.

---

Ездовые собаки, запряженные цугом в нарты, бежали из дальней деревни, по-здесьнему — станка, бежали по замерзшему

\* Лобанчик — здесь не французский золотой с изображением головы, а червонец. — Д Ю

Енисею к селу Монастырскому, путь был верст в двести.

Мы поедем, мы помчимся...

Ветер дул северный, в спину. Наст лежал крепкий, длинный, отчего гоньба получалась легкая и шибкая. Лишь бы этот наст не оказался слишком уж мелким-мелким, как битое стекло: сотрут собаки лапы, изранят, да и долой из упряжки.

Мы поедем, мы помчимся...

Ехал на нартах мужичок нерусский, но и не остяк, и не тунгуз. Завернулся в оленью парку, обут он был в сапоги, назывались они бакарями, а потом, когда блатная музыка вовсю играла, стали — прохарями. Накрылся мужичок романовским тулупом. На голове помещалась большая меховая шапка-ушанка, насунутая на самые брови. Уши держал он завязанными натуго, и вот вам причина, по которой я не сразу признал всемирно-историческое значение человека, который торопил упряжку и восторженно пел на языке, мне не знакомом.

Когда он переставал петь, слышно было трение ледяной корочки березовых полозьев о мерзлый снег, и этот характерный росчерк, содержащий то раздельное, то слитное «р» и «ш», означал, что мороз, нажимая, перевалил за тридцать.

Мы поедем, мы помчимся...

Как бы, однако, мужичок ни торопился, как бы ни любил он быструю езду, но правила знал, и посему каждый час — полтора давал собакам роздых, себе учиняя перекур. И черта с два вы поймаете меня на ошибке! Ни фи́га не курил он тогда «Герцеговину флор», а курил папиросы «Нора». А трубкой не баловался. Минуты перекура позволяют мне сделать нижеследующее сообщение.

Видите ли, на кратком биваке, готовясь закурить, этот человек развязывал уши своей шапки и, приподняв одно из них, подносил к папиросе горящую спичку; в такую минуту и пробрал меня нештучный испуг. Мороз в Москве был силь-

ный, сухой, декабрьский, все как бы пресекало дыхание и скрипело, а колеса орудийного лафета скрипели, казалось, особенно пронзительно, с Каланчовки, от Ленинградского вокзала везли гроб с телом убитого Кирова, за гробом шли мрачные, угрюмые начальники, а первым шел он, убийца, в шапке-ушанке, уши не завязанные, и я, тогда некурящий, почувствовал, как ему хочется курить.

Роздых длился минут пятнадцать—двадцать. Прежде чем гнать дальше, тов. Джугашвили-Сталин проверял надежность поклажи на вторых нартах.

Мы поедем, мы помчимся...

При виде тов. Джугашвили-Сталина не грех было б задать лингвистическим вопросом на тему: «нарды»—«нарты»—«нарь». Да и Нарьм, он там бывал. Но, правда же, язык немел при виде кладки на задних нартах: осетр пуда в три! Летом для сохраненья пихали им под жабры влажный мох, сырую паклю; зимой морозы костенили. И здакую рыбу-царь он вез в подарок царь-девице.

---

Казалось бы, что мне Гекуба — эта Вера Д.? Ан нет, сконфужен, хоть виноват я без вины. Сидел себе в архиве, о пакостях не помышлял, да вдруг как будто бы приник к замочной скважине. Читаю документ начала века: «Солдат Мойше-Иуда Губельман живет гражданским браком с дворянкой Верой Александровной Д. \*, 1888 г. рождения». Сей Губельман был Ярославский. В Серебряном бору я видел, как он гуляет по берегу Москва-реки: зерентуйский каторжанин, безбожник, не веривший ни в Бога, ни в безбожников. Сивогривый, сивоусый, руки за спиной. А рядом, через дорогу — дача; там он растил цветы.

Но здесь я исключительно о розе. Как дева русская свежа в пыли снегов! Головка белокурая; камей, право. И белый, как

\* В документе, разумеется, фамилия указана — Д. Ю.

снежинка, профиль. Точь-в-точь как тот, что обозначен на бандероли папиросок «Нора». В присутствии лишь Веры Д. курил их Джугашвили-Сталин. А покупал тотчас же в день приезда в магазине фирмы «Ревильон и К°». Да, он дымил, молчал, слова ронял скупко. Не мастер говорить он обо всем и ни о чем. Да ведь они ж беседуют об Ибсене, о Норе. Свердлов — цыплячья грудь и грубный бас, утрами бегаёт на лыжах, говор шибкий, будто шашкою лозу сечет, однако пойдика угадай, что он в единственном числе нам все казачество возьмет да расскажит.

Ой-ой, забыл дать информацию, за что и почему актрису Веру Д. столь щедро осыпала пыль нордических снегов.

Загадка для меня ее служенье Мельпомене. Бывала на подмостках МХТ, что в Камергерском? Когда? Не знаю, не уверен. А если да, то, думаю, недолго и без блеска. А путь на норд, в эфиры северных сияний? Тогда воскликнем дважды: о, Ибсен! Нора, о! Ее сослали за хранение нелегальщины? Опять сомнения берут. Сослали в Туруханку? Уж это слишком, согласитесь, негуманно — женщина... Уж так ли негуманно? Дочь Цветаевой туда же угодила — в Туруханку. И тоже, знаете ль, при жизни И. В. Сталина. Как все мы, щепки, леса рубившие для всех лесов на стройках коммунизма. Ариадна жила здесь с полувзводом ссыльных женщин, ударников труда. Она писала письма Пастернаку. На поле снег, над полем вьюга. А в дымоходе подвывает каторга. Да полно нам чернить эпоху. Из Туруханки в годовщину Октября — вот это: «Представляете себе, какая красота все эти алые знамена, лозунги, пятиконечные звезды на ослепительном белом снеге, под немигающим, похожим на луну северным солнцем!»

---

Но немигающее солнце скрылось. Взошла луна, похожая на солнце. Летел, спешил влюбленный Джугашвили. Упряжку гнал и пел наперекор ветрам.

Мы поедем, мы помчимся...

Он мчался в Монастырское. Он Веру Д. любил. Она его считала «из Помяловского»: сальный, неопрятный и корявый. С таким об Ибсене не побеседуешь.

Однако нынче он почему-то верил в разделенность чувства. Спешил и гикал, смеялся, хлопал рукавицами. И вот уж в Монастырском лайки лаяли взхлеб.

Тов. Сталин-Джугашвили приблизился к избе.

На желтизне оконца четкий черный профиль, повис шну- рочек от пенсне. Проклятый жид! Нет, нет, не Соломон, изве- стный накопитель капитала, нет, Яшенька Свердлов, на «Ка- питале» проевший зубы. Что ж делать-то теперь с увесистой царь-рыбой? Она бы кушала. А Янкель станет жрать. А черт дери, отдать исправнику?... Курейку оставял тов. Джугашви- ли-Сталин с согласия Мерзлякова, стражника. Здесь, в Монас- тырском, член ЦК не смеет не отметить свой приезд в поли- ции. А все же осетра он осетину не отдаст. К администрации на цыпочках?! Свердлов умеет и устроиться, и обустроиться, и слать корреспонденции в газету, и льстить Кибинову. Но что же делать с осетром? Ага, исчез наш Мефистофель.

И верно, четкий черный профиль сменился — скула, под- пертая ладошкой, тяжелый узел на затылке и подбородок — спзлый пэрсик. Ну что, тов. Джугашвили-Сталин, сладко тя- желеет сердце, желаешь быть любимым?

Метель мела б во все концы, но нет концов ни в тундре, ни в лесотундре. Тов. Сталин-Джугашвили, припахивая пси- ной, глядел на освещенное окно, переминался с ноги на ногу и привставал на цыпочках; последнее необходимо, поскольку он размером в сто шестьдесят четыре сантиметра.

---

В заиндевелое окно условный стук, я вышел из барака. В ночи навывлет постреливали бревна. Мы обнялись с Таисией. Запястия мороз окольцевал. Дышал ее теплом и слышал запах не-

возвратной жизни... Таисию Двухвацкую сразу после медицинского «распределили» в гноища ГУЛАГа. Она там вскоре умерла. То была первая смерть, оплаканная мною в лагерях... Я обнимал ее, боялся, что мороз подарит ей ангину, и этот страх, как Таин запах, происходил оттуда, из родительского дома. Она сказала: «Вот новый год, порядки старые» — известно это всем зека; и я прибавил: «Колючей проволокой наш лагерь обнесен» — и мы, такие молодые, мы улыбались. Из плюшевой муфточки — наверное, единственной на тыщи миль окрест — она так плавно, так осторожно извлекла две склянки с водкой. Сравнишь ли с осетром? А бедный Джугашвили-Сталин, кряхтя под тяжестью царь-рыбы, ввалился в дом.

---

В сених он сбросил ношу. Звук был тупой, тяжелый, как от бревна. В комнате все стихло. Потом опять наладилась беседа. О том, что Генрих Ибсен и т. д. О том, что мещанин боится коллектива и т. д.

Тов. Джугашвили-Сталин, ревнуя, злясь, остался благородным человеком. Он должен был спасти партийного товарища. Нет ничего прекрасней звезд на небе и чувства долга в сердце. Не зря ж Калинин, слезинкою блестя на клине бороды, не зря он говорил, что нашему вождю всегда была присуща жертвенность.

Тов. Джугашвили-Сталин пил чай, курил, сказал, что Ибсен, хоть не пролетарий, не марксист, подметил верно: крестьянин знать не знает ни бескорыстия, ни свободомыслия. И словно невзначай спросил партийного товарища, по совместительству соперника, спросил заботливо, участливо, мол, сколько дней осталось до приезда его жены?

Свердлов переглянулся с Верой Д. И молча обмененный взор ему был общий приговор. Вера Д. перебирала шаль. Но нет, не от смущенья, а для того, чтобы не прыснуть со смеху. Свердлов навскидку голову держал; казалось, козлоногий

Янкель бьет, бьет копытцем... А тов. Джугашвили-Сталина мне, право, жаль. Накожный зуд, который привязался с детства, свербел и егзил по коже, и это называлось псориазом; с ума сойдешь.

---

Да, с детства, когда калоши у него украли.

Все старожилы похожи друг на друга: «А я вот помню как сейчас...» И город Гори в том не исключенье. Но верно ведь и то, что случай приключился памятный. Не потому, что криминальный, а потому, что стали красть калоши — и больше ничего, кроме калош. Невзирая на состояние предмета и его владельца. Грузин ли ты, сидящий в полутемной комнате (она же трапезная домочадцев) и занятый честнейшим ремеслом. Иль ты лезгин, сизо-обритый оружейник, вооруженный неутомимым молотком. Иль древнеликий армянин, скупающий виноградники, и ближние, и дальние. Не обходили и евреев. Наверное, в знак протеста: они уж составляли чуть ли не один процент от населения Гори.

О, чую, чую: читатель-недоброжелатель кривит и в ниточку растягивает губы. Мол, этот романист за неименьем лучшего изволит щеголять дотошностью своих околороманных разысканий. А вот и фиг! Здесь похвальбы ни на понюх. Мне важен ожог души — след от калош — возникший в стенах духовного училища. Калоши-то пропали только у Сосо. Все потешались: сын сапожника, ты без калош?! И дергали, таскали за нос. Ему бы с кулаками, глядишь, и побежали б робкие грузины, а вослед — неробкие. Но трусоватый Сосик рыдался.

Мне отмщенье и аз воздам?

---

Давно уж наш герой усвоил: ни за калоши, ни за Веру Д. не жди отмщенья свыше. Бог любит человеков, как не любить?

---

— они венец Его творенья, а на поверку — тварь. И сын — оппортунист, как и еврей Бернштейн. А эта стэрва Вэра, блядь по-монастырски, недостойна и мизинца Юлии. Кура и Ангара — ну чем не рифма? На Ангаре певали песни Грузии печальной. А в Мальшовской беспечно Пলেখанова читали...

О, внутренние монологи! Их дешифровка завсегда ошибками чревата. А тут ведь — гений. Что ж держит на уме тов. Джугашвили-Сталин? Пред ним сибирское селенье в уезде Балаганском. Балаганов-шалашей, пристанищ временных, давно сменило избяное постоянство для подселенья «поселюг». Таких, как молодой Иосиф с компанией младых кавказцев. Все они эсдеки, все они красавцы, все вторились, как титулярные советники, в дочь генерала, Юлию. Она душевно и духовно делила ссылку с учениками Маркса и Пলেখанова. А плотию сошлась и навсегда с Калистратом Гогуа. Потом они в Париже жили, в эмиграции. Конечно, знали Бурцева. Его все знали: изобличил Азефа.

И Мальшовское, селенье, и Бурцев — вот тут и есть «бином», не очень, впрочем, замысловатый. Тов. Джугашвили-Сталин в селенье Мальшовское убрался из Монастырского с понятной и естественною целью — чтоб Веру Д. уничтожать сравнением с Юлией, которую любил и не забыл. Достигнув Мальшовского, завидел он тот дом, что на обрыве Енисея, тот самый, что назывался «маяком». Блеснул луч света, и стало внятно, в чем, собственно, иная ипостась — народник Бурцев, сын штабс-капитана, питерским студентом там отбывал свой срок, да не дождался истечения срока и сбежал в Европу. Тов. Джугашвили-Сталин не то чтоб подольститься к старику, но вроде бы прищокнет языком: «Ай, молодец!».

Давно ему хотелось повидаться с Бурцевым, беспорным знатоком охранных отделений. Само собой, для пользы дела. Препоной прагматизму оказывался принцип. Принцип неприятия того, кто был сторонником войны за нашу родину с немецким пролетарием и бауером. Тов. Джугашвили-Сталин сей

принцип обошел бы, как эти телеграфный столб. Коль скоро истина конкретна, скажу конкретно: как телеграфные столбы, совсем недавно шагнувшие до Монастырского. Обошел бы, да. Но — украдкой. Зачем же огорчать товарищей по партии?

В давешний приезд пришел он к «маяку», был в доме, но не застал В. Л. Тот находился в монастырской келье — читал записки о деяниях сибирских праведников, и умилялся, и вздыхал, глаза влажнели... А в доме находился только паренек, которому недавно Бурцев предоставил кров. Но тов. Джугашвили и так уж из-за этой «стэрвы» задержался в Монастырском. Он ждать не мог. И, уходя в досаде, пребольно ущипнул парнишку за нос, буркнул: «Ты передай: князь приходил». И хлопнул дверью.

А нынче — шел опять. Мороз сменился снегопадом. Звезды скрылись. Он остановился у обрыва. Он медлил. Знаток охранных отделений, изобличитель самого Азефа... Тов. Джугашвили-Сталин заробел. Пардон, мошонка холодела, и екало под ложечкой. Конечно, это прозаизм, но очень точный. Приличней бы сказать, его душа озябла. Душа — душой, но вновь зудело, жгло, чесалось: псориаз.

Я не отгадчик его загадок. Все просто: знал я Дмитрия Иваныча.

---

Дверной звонок был старенький. С такой вот вежливой просьбой: «Прошу повернуть». Он прозвенит и кратко, и деликатно — ну, значит, Дмитрий Иванович. Войдет, негромко спросит: «Мы одни?». Конспиративность старого большевика. Мой младший братец Витя, тогда студент физфака, улыбался: «Нет, на троих».

Дмитрий Иванович не обижался. Был он ладненьким, крепеньким. В добром настроении — курносый; в дурном — нос вроде бы вострился. Ходил чуть косолапенько, но быстро и твердо перебирая ногами, неизменно обутыми в сапоги. На

лацкане пиджака от «Москвошвеля» неотъемно держал значок Международного общества помощи рабочим, давно ликвидированного; на значке изображалась черная тюремная решетка устарелого образца — без козырька-намордника. Дымил трубочкой, круглый чубучок — чернее антрацита. На шутку: как у вождя — сердито отмахивался, а случалось, и объяснял раздраженно, в чем разница.

Сняв пальто и кепку, проходил не в комнату, а на кухню. Диссидентских, воспетых Кимом, еще в заводе не было. А сортиры стена в стену с кухнями уже были, имея и окольное назначение, а именно как бы заглушающее кухонный разговор шумом воды из бачка. Дмитрий Иванович регулярно производил эдакую операцию, после чего, словно бы уличенный в суеверии, несколько смущенно разводил руками: «Поживите-ка с мое...»

«Поживите-ка с мое» вот какое имело содержание. В деревне прозывались они Грызкины. Потом он стал Гразкиным. Благозвучнее. В цусимскую годину отправился в люди; пришел в город, работал в пекарне, выпекал насущный — дай нам днесь. Но кто-то объяснил: мол, не единым. И этот кто-то позвал преломить хлеб с беками... В гражданскую сощелкивал вшей со склизкой кожанки, выколачивал об колено пыльный шлем. Потом без объяснения причин зачислили его в секретариат генсека. Помаленечку, потихонечку, бочком отчалил: поучиться бы мне, товарищ Сталин. А товарищ Сталин не терпел, когда от него по своей воле уходили. То ли обижался, то ли подвох чуял. Но Гразкин — якобы само простодушие — улучив минуту, приставал со своей просьбой, пока генсек не цыкнул: «Черт с тобой, иди. Да только постарайся, чтобы я о тебе забыл!»

Где бы ни привелось ему строить социализм, молил Маркса-Энгельса-Ленина, чтобы тов. Сталин не обнаружил его в своей бездонной памяти, где уместились и все богатства, выработанные человечеством, и все, на кого он зуб имел.

Но как было удержаться, не спросить: отчего же это вы, Дмитрий Иванович, извините за выражение, слиняли из кремлевской канцелярии? Неужто распознали, кто он таков, дорогой наш Иосиф Виссарионович?.. Э-э, ничего он тогда не распознал. Причина несложная, но и не ложная. Надоело! Понимаете, надоело, и баста. Они ведь один другого на дух не выносили: Сталин — Троцкого, Троцкий — Сталина. Им, видишь, и голоса мерзили, не желали в телефон говорить. Ну, и так получилось, что товарищ Сталин ему, Гразкину, особенные поручения давал: снеси записку этому — картавил нарочито — Бронштейну-Беренштейну. И Гразкин бегал к Льву Давидовичу. А тот: «Подождите, товарищ, сейчас отвечу». Туда-сюда, сюда-туда и обратно. И надоело, и, не считите за амбицию, нехорошо, знаете ли, унижительно для партийца с дооктябрьским стажем.

Накагил тридцать седьмой. Такие вот грызкины, душ пять, шесть, кандидаты в мертвые души, сбежались к старому товарищу, бывшему депутату Государственной Думы: что делать?! А бывший депутат Бадаев отвечает: «Разбегайтесь, ребята, и нишкните, будто вас не было и нет. Авось пронесет. Расходись по одному да с оглядочкой, сами знаете».

Пронесло. Тогда пронесло. А под занавес, в пятьдесят втором, в бездонной памяти нашего дорогого Иосифа Виссарионовича в час бессонный на подмосковной ближней даче вдруг да и возникло желание проверить, уцелел ли некий Митька Гразкин. Уцелеть-то уцелел, но на Лубянке, во внутренней, каши отведал. (Между нами говоря, и там, и в Лефортовской каши варили отменные; это уж как хотите, так и расценивайте.) Но едва Главный Вахтер\* отдал концы — выпустили. И старый бек ринулся восстанавливать ленинские нормы. Что это? Мираж, обман зрения и слуха, революция как опиум для

\* Главный Вахтер — титул, присвоенный генералиссимусу моим лагерным напарником подполковником Е. Р. Черноногом, кавалером двух орденов Красного Знамени.  
— Д. Ю.

народа? И ведь Дмитрий-то Иваныч знал, хорошо знал практику нормировщика, знал и его предсмертное и бессмертное: «Обосрались мы со своим социализмом». А все равно — так, бедолага, с Лениным в башке и помер.

Вышел из народа, а приложился к номенклатуре на Новодевичьем. Между нами говоря, глупое кладбище: в гробах повапленных мундирные и безмундирные бонзы фигурируют друг перед другом весовыми категориями бронзы. А скромнейшему Гразкину райком позабыл казенный венок прислать. Я об этом к тому, чтобы отменить досужие суждения о близости коммунистов и нацистов. Потому хотя бы, что последние «грамотно» провожали в последний путь ветеранов движения. Но и понять можно гауляйтеров районного масштаба. Тов. Сталин пусть и ушел, но дух свой оставил до второго пришествия; ветеранов он изничтожал, как Грозный — бояр. «Родовитых» отстрелил в тридцатых, уцелевшие, калибром мельче, ни хрена не значили. Одобряли. Особливо же высворенные и униженные свои одобрения в газетах пропечатывали: «Мы, старые большевики еврейской национальности, целиком и полностью...» Так что даже очень хорошо, что районные фюреры не явились и нам с братом Витей, студентом физфака, никто не мешал молчаливо наблюдать, как урну с прахом замуровывали в кладбищенской стене. День был осенний, ясный, сухой. На Окружной дороге маневровый паровоз светло посвистывал.

---

Девять дней минуло, зовет меня в Перловку неизвестная, желающая исполнить поручение покойного Дмитрия Ивановича.

Приезжаю в назначенное время. Точность оценена строгим кивком резко-морщинистой, высокой, костлявой старухи в белой блузке, темной, до пят юбке, схваченной широким поясом. Ее звали Клавдией Васильевной. Она говорила отчетливо, несколько резко. Такую дикцию распознаешь тюремно-

лагерным слухом. Она есть следствие многолетних ответов на вопросы бессчетных начальников и начальничков: фамилия-имя-отчество? статья? срок? начало срока? конец срока?

Ясное дело, она принадлежала к могикам политзеков. Из тех, о которых говорили: чудом уцелела. Подумал об Орловском центре, то есть о тюрьме, когда к городу катили, оставляя вонь танков, немцы, там, на тюремном дворе расстреляли Марусю Спиридонову, стариков и старух, «выходцев из других партий»; разумеется, непролетарских... Так ли, нет ли, выяснить не пришлось. Клавдия Васильевна не желала завязывать беседу, а желала поскорее выдворить гостя. Она указала пальцем на тощий почтовый конвертик; если помните, были марки — рабочий-молотобоец или крестьянин с серпом. Она сказала: о содержимом не имею ни малейшего представления; исполняю последнюю просьбу... Смысл был отчетливый, как и ее дикция: именно это и заявлю в случае очной ставки с вами.

Говорю: «Спасибо. Всего доброго». Слышу: «Хорошо, хорошо. Дорогу запомнили? Очень хорошо».

Осенний дождик сеялся, брызгал, такой уж невеселый, скучный, что, глядя на дома с крылечками, потемневшие и тоже скучные, невеселые, не было в душе прелестного отзвука от этого вот: «Гости съезжались на дачу». Да и откуда взяться: свернул за угол — «Ул. Ленинская».

Известно, Ленинских — пруд пруди. Нашу окраинную Старую Башиловку, бульжную, в грохоте ассенизационных бочек, испускающих зловоние, ее, помню, с бухты-барахты переименовали в Ленинскую. Ассенизаторы-золотари ездят да ездят. Кто-то за голову схватился. Назвали — ул. Расковой, летчица такая была, красивая и храбрая. Ну, и провеяло над обозом-то, над бочками: летайте выше всех, быстрее всех, дальше всех.

А эта Ленинская пролежала в дачной местности. В Перловке жил Джунковский. К нему Артузов приезжал, чекист в

четыре ромба. Был разговор серьезней некуда. И оба сгнули... Послышался глухой вопрос тов. Джугашвили-Сталина: «Что в имени тебе моем?». Ответил я неизреченно: «Подобранны удачно звуковые колебания — они влияют на массовый психоз обожествленья»... Про сапоги тов. Сталин-Джугашвили не спросил, а будто бы поставил «vale» — мол, прощай. Ага, семинарист, должно быть, что-то помнил из латыни. Ну, хорошо. Тогда про сапоги. «Caligae» — обувь римских легионов. Они подбиты псевдонимом: «Калигула». Про звуковые колебания молчу. Скажу другое: обоим мнился народ одноголовый. Во-первых, одномыслие — залог державной монолитности. А во-вторых, одноголовость скоропостижно устранима.

Лукаво мудрствуя и безопасно (наедине с самим собой), я оказался на платформе. Она была пустынная, готова слушать глас вопиющего, но я об этом не догадался сразу. Уселся на скамейку под навесом, достал конверт. Извлек машинопись, бумага папиросная, мне неприятная, как вялое рукопожатье. Взглянул, напрягся — прочел и перечел. Покойный Гразкин изложил как факты, так и фактики. Они к тому клонились, что наш любимый, наш боготворимый служил шпиком в охранке... Меня взяло негодование. Такое мрачное, что поискал глазами, где буфет. Буфета не было. И я смирился, негодование угасло в унылой теплой жюке периода застоя. Зачем же нам великие-то потрясенья? Великая Россия нам нужна. Положим, вы опубликуете записку Гразкина Д. И. И что же? Спасибо вам скажет русский народ? Нет, ответит: «А нам все равно, а нам все равно...» Но есть же племя молодое? Услышишь: «Нас не колышет...» В таких уныло-огорчительных раздумьях я пропустил и электричку, и международные рессоры, они оставили домашний самоварный запах, и в этом было указанье на тщету уныло-огорчительных раздумий. Не надо, не надо, не надо, все поезда, все электрички проскочат мимо, и ты умрешь на полустанке Турунья, где друг твой, покойный Женя Черноног, ловил клестов, чтоб суп сварить и

поддержат слабеющие силы.

И мне осталось, мне осталось... Я понял, отчего тов. Джугашвили-Сталин, желая ради пользы дела увидеть Бурцева, робел свиданья с пронипательнейшим человеком, изболчичителем Азефа.

---

Большевики В. Л. не жаловали, да вдруг один пожаловал. Сказал, как говорил всегда: «Будем знакомы. Иосиф Джугашвили». Это «будем знакомы» показалось В. Л. повтором возгласа того парня, о котором Карамзин — вошел в гостиную, огрел хозяев и гостей: «Здорово, ребята!». Тов. Джугашвили-Сталин смущенно улыбался. (Потом он и плечами пожимал: а я и не знал, что был таким уж обаятельным.) В. Л. слегка развел руками и указал на лавку.

Тов. Джугашвили-Сталин сказал: он не пришел для споров-перекоргов о войне и мире; его забота — обнаружение двурушников; он ждет советов, можно считать, инструкций. И снова так хорошо, так симпатично улыбнулся. Бурцеву понравилось: двуруш-ник. Ни к черту французское «агент-провокатор». Он тоже улыбнулся. И тотчас это смачно-точное «двурушник» адресовал всем ленинцам. Когда грохочут пушки, не делают революцию. Да еще в стране, народ которой не знает, что такое политическое воспитание. И не имеет демократических традиций. А вы... А вам... Пугачевщина, сарынь на кичку...

Тов. Джугашвили-Сталин курил, выжидая, когда старик болтун избавится от перегретого пара. Дождался паузы и, как в пролом, вломился. Но, изменив обыкновению, на Ленина не ссылся, чтоб не дразнить гуся. Речь шла о том, что каждой партии, а им, большевикам, в первую голову, необходимы люди, выявляющие двурушников. Конечно, гидру поголовно не истребишь, покамест есть охранка. Однако учреждена особая комиссия. И она, Владимир Львович, постановила просить вашей помощи.

Бурцев захлопал в ладоши иронически: «Бурные рукоплескания». И заговорил серьезно: ваш Ленин меня сторонится; с чего бы это? В. Л. колебался. Предупредил, что еще не убежден, что предполагает... Он почувствовал напряженную настроенность vis-a-vis... Да, не убежден, однако имеет основания предположить еще довоенные переговоры главного большевика с немцами... Тов. Джугашвили-Сталин как бы захлебнулся коротким смехом. Пегие глаза его заслонились чем-то непроницаемым; в эту непроницаемость физически ощутимо уперлись глаза Бурцева. Но вот ведь что его поразило: сподвижник Ленина не вспыхнул, не закричал, не обозлился на него, В. Л., как сподвижник Азефа Борис Савинков при первых намеках на предательство своего товарища...

Бурцев, помолчав, сообщил почти надменно: недавно польские социал-демократы просили меня указать им адрес Дзержинского. Навел справки, сообщил. Тот и возглавил что-то похожее на вашу комиссию — следственный отдел в Главном правлении польских и литовских эсдеков. Собака-то зарыта вот где: в такого рода разысканиях — альфой и омегой строгое беспристрастие. Последнее — убежден, убежден — последнее решительно невозможно, если разыскатель, следователь находится в партии, внутри партии, а не вне партии. И вот еще что... Он, этот следователь, должен быть готов к тому, что его осудят... нет, проклянут честные из честных. Вот как меня прокляла Вера Николаевна Фигнер. Вы ж знаете, два десятилетия изжила в Шлиссельбурге! По милости Дегаева, почище Азефа фрукт. Вникните: Вера-то Николаевна, она-то и считает меня черным человеком. Товарищей стравливаю, отравляю их существование, убиваю самое драгоценное в людях — доверие... Он руками развел, потом над головой поднял: и анафеме предала, как Синод — писателя Голованова за изображение Иуды... В. Л. по-детски моргал. И вдруг поник, сжался. И это уж было «не от Фигнер». Он усмотрел свое сходство с уголовными — у них ведь первое движение — дурная,

гадкая мысль: такой-то или такой-то непременно объегоривают, ищут свою выгоду. Они и в розариуме не слышат запах роз, а слышат запах дерьма, удобрений.

В таком именно смысле, с горечью, недоумением, надрывом В. Л. высказался гостю — «Будем знакомы, Иосиф Джугашвили». А тот не сразу и отозвался. Больно уж крепко втемяшилось: Ильич-де не желает видеть Бурцева в комиссии, и это, мол, наводит на печальные соображения. Не совсем так. Ильич и телеграммы давал этому Бурцеву, и доверенных к нему в Париже посылал... Однако тов. Джугашвили-Сталин не поспешил обороной Ильича. Испариной покрывлся. Такое, понимаете, возбуждение. На миг будто киношная лента оборвалась, побежало вприпрыжку, как в синемаатографе, только успевай: а-а-а, был Ленин в Батуме, в Тифлисе был... в Батуме в стачке не участвовал, в Тифлисе не связывался ни с подпольными, ни с напольными марксистами, жил и служил мундирно, в погонах штаб-офицера... Тов. Джугашвили-Сталин знал, конечно, что Ильич — это же Ульянов, но тов. Сталин-Джугашвили несколько не ошибался — в Грузии действительно служил армейский штаб-офицер Ленин Н. В. Это-то знал тов. Джугашвили-Сталин, а все равно ощутил свою перманентную жажду компромата... Бурцева он выслушал. И отвечал с присущей тов. Сталину медлительностью, каковую легко было принять за основательность суждений.

Во-первых, рассуждал тов. Джугашвили-Будем-Знакомы, дружески взглядывая на Бурцева, во-первых, провокация как система рухнет вместе с царизмом. Мы, большевики, говорили об этом раньше уважаемой Веры Николаевны Фигнер. Говорили с думской трибуны. И это, уважаемый Владимир Львович, ваша заслуга. Почему? А потому, что наш депутат в Думе товарищ Полетаев выступал после того, как вы изобличили главного иуду. Само собой понятно, что я имею в виду Евно... как его бишь?... Залманович, что ли? А-а, Фи-ше-ле-вич... Вот после того, как вы, уважаемый Владимир Львович, доказали

всем, в том числе и очень недоверчивым, кто он таков... Второе. Не согласен, решительно не согласен — вы не черный человек, отнюдь не черный человек. Зачем надо отмечать недоверие? Зачем надо чураться подозрительности? Не надо отмечать здоровое недоверие; не надо чураться здоровой подозрительности. Они, то есть недоверие и подозрительность, хорошая основа для совместной работы. Не только в подполье.

Бурцев от удовольствия воздух головой боднул. Очень ему понравилось: «здо-ро-вое»! Отлично схвачено — именно здоровое. Смотри-ка, большевик, а человек-то неплохой.

— Итак, вам желательно пользоваться услугами Бурцева? — почти ласково начал В. Л. — Тогда позвольте обратить ваше внимание на некое новшество в практике политической полиции. Она спасает своих секретных сотрудников. Понимаете ли, спасает! Разумеется, тех, на кого тень падает. Способ оригинальный: арест и ссылка. Да-да, дорогой мой, арест и ссылка. О, конечно, конечно, с согласия виновника торжества. И вдобавок — денежная компенсация. Так сказать, она его за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним. А другая компенсация, не денежная, а в виде повышения репутации, выдается околпаченными партийными сотоварищами. Недурно придумано, не так ли?

Тов. Сталин-Джугашвили озвучил неопределенное междометие. Его толстая мохнатая бровь приподнялась, изогнулась, словно гусеница на ветке. Он с акцентом, вдруг еще пуще усилившимся, ответил, что знать не знал об этой методе мерзавцев-жандармов, вот спасибо, узнал, спасибо уважаемому Владимиру Львовичу, не черному человеку, а светлому человеку.

Он достал папиросы. Опять заметил на бандероли белую женскую головку и словно бы сбоку, искоса подумал о Янке Свэрдлове: пламя дышит в подлице... Но в эту минуту все это было необходимо для того, чтобы переложить стрелку на путях собеседования с Бурцевым, и чудесный грузин, точно бы

наперед испрашивая извинения, полусмущенно осведомился, а верно ли заключать, будто большинство иуд из иудеев?

Ну наконец-то, милый друг, ну наконец-то! Вопрос сакраментальный, насущный и непреходящий. Но — глядите-ка, глядите — дворничик, интеллигентик Бурцев пожал плечами. Он встал, проверил положенье вьюшки. Поворотился и сказал: «Не угореть бы вам, Иосиф Виссарьоныч». И будто бы без связи упрямо молвил: «Мысль плодovitая...»

Он рассказал такое, о чем тов. Джугашвили-Сталин не слышал. Оказывается, дело Азефа возбудило интерес «арифметический». Эсеры-эмигранты взялись бухгалтерски определить, действительно ли большинство иуд из иудеев? Экспертом пригласили Бурцева. Итоги голосили розно. А в общем получалось, как говорится, каждой твари по паре. Однако предложенье оставалось: пусть-де евреи сплотятся в свою эсеровскую партию, а русские — в свою. Да-с, предложенье оставалось, а значит, оставался принцип: как правило, иуды все из иудеев, а русские... оно, конечно, имеет место. Имеет место исключение из правила, лишь подтверждающее правило... «Угар, — заключил В. Л. — Стыдно».

А что же собеседник? В его полуулыбке блуждало чувство превосходства. Марксизм все-все на свете объяснил. А сейчас презентом — письмо Энгельса. Ротозен не желают замечать, что в левых партиях иудеев-то полным-полно, хватают руль, две-три брошюрки тиснут и ходят фертом... Что? Что вы сказали? Э, будет вам, Владимир Львович, как можно меня подозревать?! Соображенья не мои, соображенья Энгельса. Советует иметь нам бдительность.\*

\* На склоне прошлого века Энгельс писал Бебело: «Люди замечают, что мы становимся фактором в государстве (выражаясь языком рептильной прессы), а так как евреи умнее остальных буржуа, то они замечают это первыми — особенно под гнетом антисемитизма — и первыми к нам приходят. Нам это может быть только приятно, но именно потому, что эти люди умнее и, так сказать, предопределены и выдрессированы вековым гнетом для карьеризма, к ним нужно относиться с осторожностью». — Д. Ю.

Интеллигентик Бурцев со стула не свалился. Ему и Энгельс не указ. На марксизме он не лежал и не стоял. И даже творчески не развивал. Все это и не взял в расчет тов. Джугашвили-Сталин. И осерчал на равнодушные В. Л. к насущным оргвопросам партийного строительства. Но пуще — вот: интеллигенту не впрок история Азефа и иже с ним. Суждение, оно же осуждение, сопровождалось сумрачным движением бровей: сползались к переносице. Их провожала дробь толстых пальцев по столу.

Уж сколько раз В. Л. давал себе зарок: антисемита не оспаривай. Ни аргументом не проймешь, ни фактом. Давал зарок — и на тебе! — опять сорвался... Ронял пенсне, терял, как на ухабах, все эти «бе» да «ме», и быстро, быстро говорил об «избранном народе» — он избран для гонений; христиане жгли скопища евреев в синагогах; еврей слезал с осла и падал ниц перед кочующим арабом; народ же богоносец преподнес им Кишинев и Гомель... Раскинул руки, правой коснулся одного края столешницы, левой — другого... И продолжал: за время вековых блужданий дух ковался на многих наковальнях и получил разноречивость свойств, способностей. Вот здесь — шаблонный тип стяжателя, ростовщика, а здесь вот — человек отвлеченного склада, равнодушный к материальным соблазнам...

Тов. Джугашвили-Сталин заскучал. Он думал, как и Бурцев, но — в обратном, что ли, направлении: таких вот юдофилов ни фактом не возьмешь, ни аргументом, они ж свое благоволение жидам считают элементом мирозозерцанья, хэ...

И вдруг его пробрала дрожь длиною в сто шестьдесят четыре сантиметра: за стеной послышались шаги. Странно: едва подумаешь ты о жидях, как сразу что-то напугает. Он вопросительно взглянул на Бурцева и пальцем указал на стену. Бурцев объяснил, что дал приют Сереже Ньюбергу.

Мне этот Ньюберг напоминал другого мальчика, его ровесника лет двадцати. Пусть Ньюберг северянин, а Ингороква земляк тов. Джугашвили. Пусть первый — ссыльный, а второй пусть заключенный. Но сходство между ними было. Не внешнее, а внутреннее.

Начну-ка тезкой, Юрой Ингороква.

Дичая не по дням, а по часам, зеки, случается, и пожалеют «слабака». Воришка Юра, от роду не отхоленный, уже едва-едва передвигался. Занес бы он колун над головой, земля ушла бы из-под ног. Его поставили беречь костер.

В тот день наш русский лес стenal от этих жутких градусов и прокалялся калеными лучами солнца; снег не скрипел, а взвизгивал, — в тот день бедняжка Ингороква, сидя на пеньке, угрелся, прикорнул. И вдруг над ним медведь взревел! Не углядел милоч внезапное явление прорабов коммунизма — в папахах, в белоснежных полупубках. Он только дух почувал яичницы на сале в сопровождение коньячка. И вновь медведь взревел: «А эта шта-а такое, мать твою?..». И русский лес ответил голосом тбилисского воришки: «Эх, гражданин начальник, как вспомню, что Владимир Ильич умер, так и руки опускаются». Полковник из Москвы присел, как от удара сапогом... нет, не скажу, мол, в душу, откуда взяться ей?.. но в пах. Свита дышала с громким свистом; казалось, маневровый выпускает на разъезде пар... Мороз и солнце обратились в медный гул... Полковник трудно распрямился. И то ли крикнул, то ли каркнул: «В карцер! В карцер!». А в чаще леса с буреломом антисоветчики-лесопопальщики хватались со смеху за впалые животики.

Вот так наш Юра Ингороква, задремавший у костра, проснулся знаменитым.

---

Сережа Ньюберг стал знаменитым не спросонья.

Давайте успокоим тов. Джугашвили-Сталина: нет, не ев-

---

рей, а сын остзейского барона. К сожалению, незаконный. И вырос он не в отчем доме — нет, в сиротском. Ни часу баклуши-то не бил — тотчас пошел служить на берегу Фонтанки. Не там, где пьжик водку пил, и не к Цепному мосту, а в Экспедицию заготовленья государственных бумаг. И денежных, и ценных. Солидное учреждение. Начальства все в бо-ольших чинах. Вот, скажем, в граверно-художественном отделении заведовал, мне помнится, Штубендорф, статский генерал. Так в этом отделении служил и Ньюберг. Рисовальщиком. Видать, еще и в Воспитательном в нем обнаружили способности.

Беда, что на Фонтанке была не только Экспедиция. Был мост Цепной, был департамент полицейский. Оттуда насылали стукачей-осведомителей. В граверной находился «свой»; в его тенета угодил Сережа. Он никакой не политический, но нужно ж было кого-то обнаруживать. Великий Петр давным-давно нам указал: «Лучше доношением ошибиться, нежели молчанием». Мы долго, долго ошибались, ошибались, ошибались. И пусть не говорят нам, что народ безмолвствовал. Тут надо помолчать, поскольку В. Л. сел на своего конька да и пустил аллюром, тов. Джугашвили-Сталин был весь внимание.

Широкими мазками В. Л. представил центральноевропейское стукачество, засим уж всероссийское. И произвел сравнительный анализ. Французу отдал пальму первенства. Подслушивает тот всегда со смыслом. А пустяки — мимо ушей. Пример: такой-то там-то утверждал, что человек произошел от обезьяны. Француз-осведомитель и усиком не поведет... В. Л. дыханье перевел и перебрался через Рейн в Германию и продолжал все так же вдохновенно... Возьмите немца. Усердием французу не уступит, но как-то, знаете ль, робеет. Он опасается быть битым. Опасенье странное. Те, кого он обслуживает, вовсе не забияки-драчуны, а очень послушные филистеры, любители пивного разномыслия... О-о-о, вижу, вижу, на языке вопрос: а каковы они? Скажу вам, еврей утер бы нос даже французу, когда бы не спешил, не торопился; когда бы не

было в натуре: скорей, скорей, скорей. Осведомитель русский ни к черту не годится. Да-да! Прошу вас, милый мой грузин, не защищать от Бурцева, великоросса... Домашний наш осведомитель рохла, в воде онучи сушит. И впечатлителен, ужасно впечатлителен. Соврут при нем — мол, Верхоянск объявят вольным городом и учредят там порто-франко. И что же? Русский ябедник — ум набекрень, глаза вразбежку — помчится «докладать». Смешно и грустно: и сам в свое же донесенье вляпается, да и окажется в остроге. И обалдеет: ка-а-а-а-к же так??? Десятилетия сплывают, все изменяется под зодиаком, но русский ободуй-стукач все тот же, а дельный не родится.

— Вот так, — сказал В. Л. и слез с конька. — Вы полагали Энгельсом меня пронять, а я вас — Салтыковым.

Тов. Сталин-Джугашвили молвил:

— Да-а, нам Щедрины нужны.

— А Энгельс нам не нужен, — буркнул Бурцев.

Тов. Джугашвили-Сталин втайне полагал, что Фридрих — третий лишний, однако благодарности достоин: партайгеноссе, с евреями имейте осторожность... Бедняге из станка Курейка было невдомек — минуты, и судьбы свершится приговор. Уж Бурцев трижды, как масон, пристукнул в стену: «Сережа-а!». И обернулся к Джугашвили: «Сейчас увидите молдерн».

Сережа Ньюберг, однако, медлил выходом на сцену. Он этого узнал по голосу, как узнают по запаху. Голосовые связки гостя имели запах пальцев, а те приванивали рыбьим жиром. Да, пальцы, в этом суть.

Недели две тому приезжий из Курейки зашел к В. Л., да не застал. Бурцев в монастыре читал о бедных праведниках. Не застал и, уходя, пребольно защебил Сережин нос; налево дернул, потащил направо, шипел, воняя рыбьим жиром: «Ты передашь, князь приходил». И выговаривал не «князь», а «кнзсь». У, дубанный! — в сердцах определил чудесного грузина Ньюберг С.

Гм, «дюбаный» иль «юбаный» не встретишь ни в подпольных, ни в напольных кличках тов. Джугашвили-Сталина. Насилу я дознался посредством Даля, что «дюбаный» не брань, как вы уже решили, а просто-напросто рябой — как птицей дюбаный, наклеванный.

Приезжий из Курейки не то чтоб не понравился Сереже — вызвал отвращенье. Ему казалось, что надобно В. Л. беречь от «кнзсь». Ишь, дюбаный, «ты передай... ты передай». А вот тебе и кукиш. Слуга покорный!

Он Львовича любил. Львович... Тот строгость напустил, чтоб не унижить жалостью: «Прибраться, подмести. Чего-нибудь еще, не знаю. Зачем же ежедневно? Довольно и во едину из суббот». Прозвал он постояльца «иконоборцем». Купил и тюбики, и кисти в лавке Равильона — каков ассортимент, все есть... Ах, милый Львович, он горой за первую любовь, за передвижников. А ты, Сережа Ньюберг?

Он написал Варвару Великомученицу — дебелая бабища с зубами точь-в-точь тайменьими, а эту рыбу в Туруханке уважали... Окрест все ахнули. И разнёслось: ну, паря-то мастак. И оказалось, что нету оскорбленных религиозных чувств. Пошли заказы. Просили обработать: доски-то хорошие, старые, высушенные... Примите примечание: и в Монастырском, и в иных селеньях и станках при Енисее приходилось видеть на грубых, темных досках изображение героев Двенадцатого года. Ничего удивительного в том, что Варвару Великомученицу наш «иконоборец» писал по верху кн. Кутузова-Смоленского... Он создавал, сказали бы теперь, свой мир. Угодник Николай заимел семь пальцев на правой и на левой, имел и хвост, и уши зайца. Опять все ахнули; давай-ка, паря, намалой и мне.

Он думал о Христе. Думал много, однако не решался; отнюдь не робкий, а робел. Талант, само собою, смелость; та, что города берет; но этот символ не годился для изображенья плотника из Назарета. Лик сына Божия, проступая на холсте, перенимал черты Филита, псаломщика из здешней церкви. И

в этом тайна. Филитов дед-купец принадлежал к сибирским праведникам; к тем, кто пособлял туземцам в бескормицу и мор. «Ибо знает Господь путь праведных». Дед Филита разорился впрах. В. Л. прочел в заметках, хранившихся в монастыре: «Иду по пустыне великой. / Крутом камень и снег». Так в чем же тайна? А в том, что наш «иконоборец» об этом и аза не ведал, но в псаломщике Филите углядел лик Сына Божьего. А ехал плотник из Назарета не на осляти, а на морже или на чудюдо-рыбе-кит. Быть может, потому, что был и мореплаватель, и плотник. А может, оттого, что палестинских осликов убили бы полярные морозы. Христос их не хотел губить, Сережа Ньюберг тоже. И оба не желали, чтобы двуногие ослы четвероногих осликов травили как агентов сионизма. Мне кажется, их опасенья обгоняли время.

«Модерн... Модерн... Иконоборец», — смеялся добродушно Бурцев. Крамской, Перов, Саврасов — первая любовь; В. Л. остался верен передвижникам. И очутился страшно далеко от здешнего народа. И инородцев — остяков, тунгусов. А также полукровок. В работах Ньюберга давало себя знать нечто, давным-давно забвенью преданное, и, там, в забвенье, отдыхая, набиралось сил.

Вчера Сергей нанес последний штрих. Сегодня этот штрих исправил. Достиг ли совершенства? Оно недостижимо. И существует лишь по нашей милости. Однако утверждаю: ссыльный Ньюберг написал Иуду сильнее, чем итальянец Джотто. Иуда итальянца смутно-безобразен, и только. Иуда Ньюберга бочком сидел на нартах. В полкруга перед ним располагались псы с кровавыми глазами. Иудиных губ касалась коварная и беглая улыбка; его зрачки были болотными огнями. И все это на фоне желто-тусклом, как рыбий жир. Двух мнений быть не может: дубанный из Курейки был alter ego Иуды из Карюта.

Сергей, помедлив, переступил порог. Белобрысый, высокий, глаза, как льдинки. Он шаркнул ножкой и нагло произнес:

«Ну, здравствуй, князь». В. Л. приставил к уху ладонь, спросил, о ком же речь. Все так же нагло, не спуская взгляда с тов. Джугашвили-Сталина, живописец-модернист ответил: вот он, князь; там, на Кавказе, владелец двух баранов уже и «светлость». Бурцев махнул рукой и благодушно оборвал молодого повинниста; с меня довольно, сказал В. Л., и одного барона. Тов. Сталин-Джугашвили рассмеялся. Сказал, пора в дорогу, благодарил В. Л., шутливо спросил, как надо величать баранов...

Тут автор-злопыхатель не может воздержаться от мини-отступления и не сообщить, что за Сережу Ньюберга отмстил Бухарин.

Его я видывал в Москве, на Сретенке. Он быстро шел... точнее, шустро... Кивал: «Здрасьте... Здрасьте...» Шелестело: «Да это же Бухарчик!» Весенний мокрый снег блестел на желтом кожаном пальто... Не в тот ли вечер Николай Иваныч пальто и кепку оставил в прихожей особняка, что на углу Малой Никитской и Спиридоновки?

У Горького сошлись вождь и вождята. То, се, вино и разговор о Фаусте, о смерти и любви, которая сильнее смерти. Иль о строительстве социализма. А Николай Иваныч, веселый человек, немного захмелев, вдруг ухватил тов. Сталина за нос. Каков пассаж, друзья мои! Держал он за нос вождя державы и даже больше, нежели державы, и предлагал нахально: «Наври-ка им чего-нибудь про Ленина». Наврал иль промолчал, но скандал не разразился... Иосиф Виссарионович, бьюсь об заклад, был опечален кончиной Ильича ничуть не меньше Юры Ингорквы, что грелся у костра в тайге Вятлага. Но рук не опустил. А ущемленья носа не простил, как не простил и туруханский живописец.

Но и не так, как тот. В чувствилище вождя очнулся отзвук унижения горийского, отроческого, так сказать, калошного. Оно не в памяти хранилось. Нет, прочней и глубже: в составе его «я». И слитно с этим отзвуком — пальцы брадобрея. Теперешним уж не понять... И этим всем, которые суют

нам комментарий к Мандельштаму... Тогда ведь брадобреи, брея, клиента брали за нос для удобства поворота головы; ну, так и рулевой на шлюпке легонько поворачивает румпель. Однако прикосновенье брадобрея казалось многим, мне в том числе, прикосновеньем то ль мертвенным, то ль жабым. В тот миг на горьковском застолье поэта не было — поэт Мандельштама: «Власть отвратительна, как руки брадобрея...» Да, не было... Но позже, когда уж написал поэт о горце, о жирных пальцах, они в чувствилище Вождя сомкнулись с ощущеньем брадобрейным, ему мелькнуло лезвие опаснейшей из бритв — все вместе предрешило участь стихотворца.

---

Что до Бухарчика... Он знал, конечно, сколь склизко ходить по камешкам иным, ан все-таки не думал, что близки склизкие ступени расстрельного подвала... вздохнув, не утаю: милейший Николай Иваныч когда-то беспечно утверждал: товарищи, в борьбе тот побеждает, кто первым проломляет черепа.

А Якову Свердлову оставалось жить... Сейчас прикинем, пока тов. Джугашвили-Сталин направляет нарты к Енисею. Он Монастырское покинул, не прощаясь ни с обрезанным, хоть тот был веским членом нашего ЦК, ни с Верой Д. Так вот, Свердлову осталось жить лет пять. Нет, даже меньше. А Венямин Свердлов, муж этой «стэрвь», тянул еще лет двадцать после смерти брата и наконец-то в зоне ноги протянул.

Что делать? Таково расположенье звезд, но их течение над Енисеем застит мгла. И в этой мгле бежит упряжка бодрых ласк. Бежать им двести верст на север — до Курейки.

---

Она возилась у печи. Тов. Джугашвили вмиг насел, облапил, тискал жадно. И все молчком, ну разве что с причмоком. Хорошая девочка Лида была ему покорна.

Пахло свежим тестом. Он тоже сумел бы выпечь хлебы.

---

Тов. Ленин ошибался, полагая, что соратник — спец по острым блюдам да и только. Но здесь, в Курейке, сестра владельца сей избы, недавно овдовевшего, весьма успешно решала вечные вопросы домоводства, включая и сожителство с кавказцем-постояльцем.

Кура впадает в Каспий; Курейка — в Енисей. Станции взяты из Франции; станицы — на Дону. Станок — вот это уж Сибирь. Их ставили своим пристанищем и рыбаки, и звероловы. Временным. Но становились они долгими делами, поскольку гнали ссыльных-поселюг. В одном из множества станков тов. Джугашвили укрылся от войны, а заодно от подозрений в доносительстве. Он жить хотел, а не страдать, и это хорошо, ведь страсть к страданиям есть верный признак ущербности интеллигентика.

Курой-метелью повит станок Курейка.

Когда-то средь гор Кавказа, в четвертом, старшем, классе духовного училища, ученики писали сочинение на тему: «Европейская тундра зимой и летом». Учитель ходил-раскашивал с руками за спиной, ни дать, ни взять тюремный надзиратель. Но, бывало, налетал и коршуном: «А ну-ка быстро: какие города от Гори вплоть до Киева?». Дурак! До Киева, где лавра, доведет язык. Вот ты скажи: сколь городов от Гори до Курейки?.. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не комары. Но весны хуже: журчат ручьи, журчат ручьи... В долине Карталинской удоды, опуская кривоватый клюв, произносили «уп-уп», а русский мальчик, сын офицера, смеясь, кричал им: «Худо тут»; три колокольчика на шее мула звенели вслед ручью, его журчанье не пугало; напротив, было музыкальным. А здесь, здесь веснами в журчаньи мнился говорок исподтишка. Не странно ли? Туманности необходимы; нельзя, чтоб личность оставалась без загадок... Ну, ладно, а коли снегопады? В их шорохе нет, что ли, сговора иль оговора? Нимало. И в Гори, и в Тифлисе снега нечаянной отрадой. Щекам щекотно; снежки так весело метать, бить каблуками дробь, смеяться и го-

няться друг за другом... А здесь, в Курейке, снежит и долго, и обильно. Конечно, не подарок, но дарит отчуждение. Тов. Джугашвили, ей-ей не вру, читал стихи Одоевского. И повторял: «Как я давно поэзию оставил! Я так ее любил!». Она, замечу в скобках, взаимностью не отвечала, как в Монастырском Вера Д. А впрочем, что же делать, коль он поэзию сменил на «Капитал»?

Ах, братцы, он пушил усы, когда доисторический сожитель Веры Д., когда-то боевик и хват тов. Ярославский нам вешал на уши спагетти: тюремный двор, солдатский строй, сквозь строй идет наш вождь, он согнут; но невозможно тов. Сталина пригнуть ударами прикладов, а просто так ему удобнее назло царизму штудировать весомый «Капитал»... Прибавлю от себя: а между тем пока он, большевик, страдал за наш народ, студенты пели, сдвигая кружки с пивом:

Выпьем мы за того, кто писал «Капитал»,

А еще за того, кто его не читал...

В Курейке он изредка читал газеты, а чаще, я вас уверяю, стихи поэта-декабриста в издании тридцатилетней давности, оставленные здесь каким-нибудь народником для связи воедино трех поколений русской революции. Но вот вам разница. В поэзии Одоевский черпал «все радости, усладу черных дней» — тов. Джугашвили черпал радость из прорубей во льдах Курейки и Енисея. Оттуда, вспомните, осетр, которого он вез за двести верст и лишь затем, чтоб киселя хлебать. Пусть так, но услада уловленья оставалась. Свидетелем тому его жильё. В квадрате (не отвлекайтесь в сторону Малевича), в квадрате, говорю вам, был топчан, весьма, признаться, шаткий (кавказец-постоялец влюбился в Веру Д., но обрюхатил Лиду), стол у окна и небольшая печка, прабабушка буржуйки. Прибавьте лавку, пару табуретов, лампу-«молнию» и... И больше ничего, исчерпан перечень стоялой утвари. Она вся от хозяина. Но не безлично, напротив, выразительно хозяйство личное. Все выдает большого знатока охотничьих припасов. Мережи, сети, морды, невода, капканы, ловушки, крючки с зубринами,

крючки без них и прочая, и прочая, и прочая. (Ружье для ссыльного запретно; ружье формально за хозяином; обыкновение сибирское, известное, конечно, всем начальникам.)

Снарядливый охотник, как правило, охотился один. Случалось, правда, навязывался Ванька Шахворостов. Великан-матрос, кажется, потемкинский, жил соседом; тов. Джугашвили он уважал настолько, что тов. Джугашвили позволял Ваню заготавливать дрова, пособлять Лидиному домоводству и помогать в снаряжении рыболовно-звероловных походов в тундре. Но сопровождающим Ваню не брал. Казалось бы, и веселее, и надежнее вдвоем? А нет, тов. Джугашвили хмурился: сиди дома и чай гоняй. Положим, Ваню и вправду выдувал не меньше дюжины стаканов кряду, но взять в толк, отчего тов. Джугашвили так упорно не принимает его компаньоном, взять это в толк Шахворостов, сам себя называвший Ванькой, не умел, да и никто, поверьте, не догадался бы. Тут сходство, черт возьми, с журчанием ручьев... А знаете, тов. Джугашвили не любил сидеть спиной к дверям... О, Господи, так и Азэф, уж извините, Евно Фишелевич... И не любил, чтоб кто-то шел след в след — ну, словно б целился в затылок, там возникала пренеприятная ломота. А Ваньке это где понять?

И верно, простак был Шахворостов. Безоглядно, направо, чтоб ленточки вились, умел, а вот тонкостью понимания жизни вообще, политической в особенности, это уж, извините, не каждому дано. Судите сами. Минувло лет пятнадцать, командируют Ваню-коммуниста из Одессы в Москву. А на душе-то накипело: Украина голодает, коллективизация костоломная, чиновники рожи наели, партийцы к себе гребут и т. п. и т. д. Вот, думает, переночую у Джугашвили, выложу все карты на стол, да и суши весла. А что? Старый товарищ, на «ть», как же иначе-то! Позвоню и скажу: «Слушай, я у тебя сегодня ночую». И позвонил. Оттуда-то, из Кремля, допытываются: кто такой, зачем, почему; куда ответ вам сообщить. «Эй, погоди, — орал потемкинский матрос, — ты скажи ему,

Ванька Шахворостов в Москву приехал, а больше ничего не надо...» Ответа не последовало. Такая, брат, Курейка. Обиделся наш альбатрос на Джугашвили: забыл, как мы делили и хлеб, и табак. Ан ошибался Ваня, ошибался. Не забыл его тов. Сталин, не забыл. И в тридцать седьмом прислал в подарочек свинец. Он тоже, видишь ли, обиделся: зачем ты, Ванька Шахворостов, коллективизацию порочил? Перегибы мы исправили, головокружение остановили, а ты, двурушник, зачем порочил, а? Народ в колхозы всей душой — запиши, товарищ Сталин. И даже отсталые, казалось бы, элементы на поверку не такие уж отсталые, не тебе чета, двурушник. Ты — враг народа, а Мерзляков — колхозник. Такая, Шахворостов, диалектика. Не по Гегелю, а по Гоголю... Ты, Ванюша, враг народа, Мерзляков, тот стражником служил, а ты к нему за водкой шастал. Знать не желал, с ка-аким трудом спирт доставался, запрещенный царизмом. Контрабандой возили, тайком возили, бочонки под днищем лодок привязывали, как понтоны, в соль прятали, в топленое масло, а ты, Шахворостов Ванька, знать ничего не желал. Вот тебе и отсталый элемент — в колхоз. Никто не принуждал, никто не приказывал, Мерзляков своей волей. А ему перегибщики от ворот поворот; это очень меткая поговорка великого русского народа. Ему, Мерзлякову, говорят: не-ет, Мерзляков, ты царизму в полиции служил, тебя в колхоз принимать нельзя. Тогда что же? Пишет он товарищу Сталину. Пришлось товарищу Сталину вступить за Мерзлякова, просить сельский совет: так и так, в дружеских отношениях не состоял, но и во враждебных тоже; Мерзляков Мих. относился к своим обязанностям формально, без полицейского рвения, не шпионил, не придирался, не травил, сквозь пальцы смотрел на отлучки... И подписал рекомендацию — «Сталин, с коммунистическим приветом».

С каким приветом был стражник Мерзляков, решать колхозникам. А несомненно то, что Миша, байбак и баба, о Талейране не слыхал. Но исполнял его завет: поменьше рвения.

На просьбу подневольного грузина дать отлучку для охоты он отвечал согласием. И, пожелав удачи, чаевничал с Иваном. И поступал разумно, удерживая под надзором поднадзорного. Еще бы! У того губа не дура, ручищи, как из лапного железа, пригодного дляковки лапы якорей. А молодуха Марьюшка пригожа, да глупа. Как Ванька-то облапит, впору закричать — ан нет, смеется, дура.

За самоваром матрос-смутьян и стражник царской службы сидели не разлей вода, а спирт разлей, чтоб капли не пропало. Там, в Петербурге, по случаю войны его навроде отметили, а ты вот за Полярным кругом валяй, как хочешь. Но есть на свете контрабанда. Засим заварка, будто деготь. И никакого сердцебиенья, а тары-бары по душам.

Тем временем тов. Джугашвили-Сталин вписался в ритмы северной природы. По-над рекой Курейкой он предвкушал победу над меньшим собратом. Все лицевые мускулы твердели. Он погружался в глубокую угрюмость. И это было превращением в Вепря. Он — Одинокий Вепрь, соединил в своей натуре бесконечное терпенье с непреходящей жаждой жертвы. У, жаркий трепет. Как хороша повадка остяков. Подняв медведя из берлоги, кричат: «Эй, дедушка, ты не сердчай!» — и убивают.

Никто ему в затылок не дышал, и Одинокий Вепрь мурлыкал песенку о светлячке, «Цицинателу». Поэзия, ребята. И не в зуб ногой.

---

А зубы-то достались от отца-сапожника. Резцы и жернова, как на подбор, красивые и крепкие. Соседи-остяки, сидя на корточках, бесстрастно наблюдали, как управляется он с дичью.

Сюда, в избу, они являлись часто. И не просили ни о чем, и ничего не спрашивали. На корточках сидели вприслон к стене, молчали и курили вонючий табачок. Беззвучное камлание, что ли? Он безотчетно проникался загадочностью этого присутствия.

Впоследствии воспроизводил на заседаниях политбюро и на просмотрах кинофильмов и тем держал соратников в немом, великом напряжении. А также и походка курейского происхождения. Не оттого, что мягки сапоги Кавказа, нет, воспоминанье ног о войлоке, которым застилали пол в курейских избах, а он похаживал, как кот, похаживал в котенках, из зайчатины, ну, род всем известных унт.

Никто, надеюсь, не посмеет оспорить ценность курейских наблюдений автора. А вот обнаружение в тундре Вепря с нежнейшей «Цицинаторой» на устах, быть может, и оспорили бы гневно сталинисты с пустой кастрюлей на плечах, когда б не личное вмешательство тов. Сталина.

---

Глядел генсек куда как хорошо. Кончался в Горках Ленин: скуласт, как волжский прасол; в глазах мучительность недоумения: где он, что он?.. Уроженец Гори навещался в Горки. Приятно чувствовать себя здоровым, бодрым. Китель, брюки — белые. А голова и сапоги — чернее черного. Но не было же той зеркальности, что у сапог Ягоды. В политике нет мелочей, напрасно сапоги Ягоды столь блестящи, ой-ой, напрасно.

Их было трое в одной лодке. Конечно, без Ягоды, тот не дорос до них. Их было трое: генсек, Дзержинский, Каменев. Они имели право отдохнуть — день выходной. Природа сельская, лесок, над речкою стрекозки, и небо высоко, и Троицкий не так уж близко — по северной дороге, в дачной местности, лесок, над речкою стрекозки, и нет тов. Сталина.

Дзержинский с Каменевым вовсе не статисты при генсеке. Но, право, охота обратиться слухом и вниманием к нему. Он благодушно рассуждает... Нет, это уже не в лодке, а после скромного застолья, в плетеном кресле. Он говорит об упоеньи. Особенная сладость есть, когда врага отслеживаешь — заходишь справа, заходишь слева, тут уклон, а тут и взгорок, отпрянешь, ждешь, движенья и удары считаешь — и вот удар, внезапный, сокрушительный удар, и этот жалкий трепет жертвы...

Он вдруг словно бы очнулся. И быстро облизнувшись, спросил: «Что слаще, а?!» Глаза блестели сухо, беспощадно.

В лицо мне шибануло болотной прелью. Мужик сказал: «У, дикий человек! Ну, прямо Миклухо-Маклай!». А я Маклаем еще школьником прельщался, а позже Бунина читал про мужика с берданкой, он караулил яблоневый сад. И рассуждения тов. Сталина об упоеньи, и Новая Гвинея, все, вроде бы соединившись, сказало: а никакой он не грузин, и никакой он не генсек — законченный асмаг!..

Не слышали? Такое, знаете ли, племя людоедов, новогвинейских людоедов, пахнущих тяжелой жаркой прелью. Охотясь за людьми, они умели терпеливо ждать, и справа заходить, и слева, и наносить внезапные удары, и урчать над человеческим мясом. Но капитальное — вы вникните — капитальное вот: миссионеры, не страшась каннибализма, старались всех асмагов осветить и просветить Христовым светом. И что же? Охотники за человечиною отдали предпочтение Иуде — он настоящий воин и добытчик, прикинется он другом, зайдет в соседнюю деревню, и угостит кого надо, и разузнает там, что надо, да и в удобную минуту наверняка сразит. А вот Христа асматы отвергали: доверчив, простодушен, незлобив.

---

В Курейке человечину не ели. Но удивили нашего асмата бесчеловечностью. То было раннею весной. Громадная, разбухшая река со скрежетом и звоном ломала лед. Разливы слизывали неокоренные сплавные бревна. Тяжело и низко провисало небо. Пронизывал насквозь злой ветер, по-местному, осязкому — сельбей. Опасность, страх и матерщина — мужики ловили бревна. А те неслись, удар — таран. К реке на промысел ходило тридцать душ, вернулось двадцать девять. Сказали: Митюха остался там.

Случилось быть тут поселюге Джугашвили. Спрашивает: где — там? Ему в ответ: чего ж не понимаешь — утонул

Митюха. Да и пошли поить кобыл. А поселюга им вдогонку: «Скотину жаль, а человека — нет?!» Остановились, обернулись — чего жалеть-то? И объяснили: «Человека мы, брат, за всегда исделаем, а вот кобылу-то попробуй сделать, а?».

---

Асмаг наш поначалу удивился, потом, однако, убедился в правоте народа. И лично сделал трех иль четырех. Он и кобылу сделал бы, когда б имел досуг. За недосутом сие он поручил Буденному.

И вышло так, что и жалеть-то никого не приходилось. В знакомом Красноярском крае тож. Енисей не оскудел ни лесом, ни царь-рыбой, а малочисленный еврей, плодивший еврейчат, залез в конторы и медпункты; остяки ж на корточках сидели в красных чумах — и поголовно зачумились и возлюбили охотника за человечиною, как сорок тысяч братьев любить не могут.

Для всех краев он учредил лимит отстрела. Ввел категории. Назначил «тройки». И к делу приступил. Но вскоре красноярские вождята пригорюнились — лимит расстрельный таял, глядишь, и «тройки» придется распрягать. Вождята слезно попросили о добавке. Асмаг асматикам не отказал. Он подарил шесть тысяч душ. Подумал и приписал еще шестьсот. И подписал. А в подписи — сочтите — шесть букв. А три шестерки, кто ж не знает, звериное число.

Едва партийные секретари лимитец заимели, в зобу дыханье сперло. И в одночасье «тройка» вывела в расход: матроса Степушку Ваганова; Гаврюшу с Ваней, плотников; двух Александров, рабочего и мастера; да Федора Морозова, который не имел прописки. Их шествие среди созвездий возглавил Абоянцев Самуил, расстрелянный тогда же, хормейстер, дирижер. Что исполнял сей маленький оркестр? Какая песня рот круглила? В рубахе распояской витал над ними Васёна Мангазейский.

При Пушкине пропущенные строчки давали повод к порицаниям. Но в нашем случае все точки — прекрасные мгновенья освобождения от Вепря; он там остался, в Туруханске.

Я, вольный, набирался сил; я обновлялся существом на посиделках в баре «Бегемот». Аполлон со мной не знался. И это хорошо, как и отсутствие повестки из военкомата, зовущего к священной жертве. А в баре «Бегемот», близ Патриарших, я с Байроном курил, я пил с Эдгаром По.

Куренье с лордом — большая честь. Быть может, даже большая, чем получение от лорда книжной премии. А винопийство с Эдгаром По — зарницы озарений. И это ж он сказал, что все произойдет под знаком динозавра. Я уточнил: тираннозавра. Он понял, что и у меня губа не дура.

Так знайте, ход вещей был обозначен в баре «Бегемот» —

Пока я с Байроном курил,  
Пока я пил с Эдгаром По.

---

Но Бурцев полагал, что я нисколько не причастен ни к счастьям, ни к несчастьям всех возникающих персон. Неправда ваша, Владимир Львович. А лишь правдоподобие. Впрочем, возвращайтесь-ка скорее в город на Неве: теперь уж это не зависит от царя.

А поначалу Бурцев был ограничен в перемене мест. Царь смертные обиды помнил. Союзники, включая президента Франции, насили уломали венценосца дозволить славянину-журналисту участие в борьбе с тевтонцами. Царь уступил. Притом, однако, опустил шлагбаум: в столицу ездить запрещаю.

---

Пасквилянт из самых злобных был избавлен от наказания тьмой, тундрой, комарами; отсутствием интеллигентов, присутствием большевиков. «Ох, если бы вы знали, — признался г-н исправник, — знали б вы, какие инструкции я имел относительно вас! Эх, Владимир Львович, я ж всего-то-навсего топор: мною машут, я и рублю». И осетин-топор без проводочки выдал опытному проходимцу документ, который назывался проходным свидетельством. Чертовски хорошо, когда тебе приметы возвращают! Да, старик, за пятьдесят. Седоволосый; борода и усы темно-русые; на щеке бородавка, на глазах очки; рост два аршина, шесть вершков\*.

Зимы, зимы ждала природа. Река огромной массой утрюмо широко сплывала в Ледовитый океан. Баржа тянулась к югу, наперекор течению. На пристанях хотелось каждого обнять. Свобода есть, коль нет филеров. Потом — железная дорога. Запахло йодоформом и карболкой — то санитарный эшелон, то лазарет близ станции. Бородачи из запасных грузились в эшелоны. Калеки на вокзалах материли шпионов-немцев и русских генералов. На рассветных полустанках ударял колокол, женщина кричала: «Вася! Скорее!».

Дорога взяла двенадцать дён. Близилась Москва. Товарно-пассажирский бежал под соснами. Со сна казалось, что длится бабье лето, когда в Первопрестольную приехал Бурцев-гимназист с своею бирской богомольной теткой. Постой имели на Никольской, в подворье, у Чижовых. Цена там не кусалась в отличие от клопов. Ходили в храм Христа, в Кремле молебны отстояли. И целовали Гвоздь с креста Христа, шершавый и каржавый Гвоздь.

---

Москвич-художник нарисовал нам гвоздь. Гвоздь, вбитый в стену.

\* Аршин = 71 см, вершок = 4,4 см. — Д. Ю.

Публика сказала: «Ах!» Предположила: «О-о, гвоздь! Да это ж нас распяли коммунисты!». Я так не думал, я думал так:

На гвоздях торчит всегда  
У ворот Ерусалима  
Хомякова борода...

Из злых гвоздей наделали, пардон, людей. Они и придали Кресту неслыханно губительную силу. Я это понял в фирменном Москва—Варшава. Он назывался «Полонез», он мчался шибко до границы. А на границе — стоп, приходят пограничники-поляки. В купе под потолком, в каком-то тайнике находят крест. Метровый крест — источник радиации!

В городке Орвьетто, от Рима недалеко, как от Москвы — Можайск, есть деревянный крест, средневековый. Говорящий. Когда-то он сказал Фоме Аквинскому: «Фома, ты праведно вещаешь обо мне!». Господи, что и кому сказал бы *этот* крест? Молчит, Иудой преданный науке. И радиация не полонез, он на три четверти, а похоронный марш, он на четыре четверти.

Но Бурцев утверждал, что на Голгофе крест был иной.

Изделия еврейских гвоздарей не поржавели в гвоздняцах еврейских плотников. Блестя от пота, они спроворили для плотника-еврея орудие позорной казни из трех пород: ливанский кедр, кипарис и пегва. Запахло древесиной, как в назаретской мастерской-сарая. И смолами, как во дворе бальзамировщика. А звук «бальзам» будил звук «бальзамина». В доме у бирской тетки комнатная бальзамина своими яркими цветами убирала распятого Христа. Распятого не так, как на Голгофе.

Распяли не висящим, а сидящим на скамеечке. На узенькой скамеечке голгофского креста. Палач согнул Ему в коленях ноги и подтянул одну выше другой. Ступню же, вывернув, засунул под икру. Прохваченный большими брусочными гвоздями, Он начал умиранье. Жужжали мерно мухи. Шелу-

дивый пес то подбегал, то отбегал. Из окрестностей, где дохлые верблюды, лениво плыли коршуны.

Он умирал не в позе вольно-гимнастической, как на бесчисленных изображениях. Не эстетично-элегично, а словно зек, истерзанный служебно-розыскной собакой и конвоем. Хрипел, роняя пену, зубами губы раздирали, текла сукровица, воняло живодерней. Скамеечка! Каждый выдох... не вздох, нет, каждый выдох пыточный. Чтоб выдохнуть, надо опереть ступню о брус креста и приподняться на скамеечке. А мышцы — грудные и межреберные — уж не могли напрячься.

Сорок часов все это продолжалось, продолжалось, продолжалось. Включая истязанья на плацу, перед Голгофой. Два римлянина, долговязый и коротышка, бичами драли с него кожу и колотили палкою по черепу.

Он умер корчагой закоряченной. Не надо голени перебивать. Он отошел. И стало душно, душно, душно. Стемнело. Вагон качал проводника, качался и его фонарь, и Бурцев понимал, что это ж Никодим несет аюз, несет и смирну на Голгофу.

Голгофа — место Лобное. Чело у Никодима, как череп, голо. Чело и век определяют человека. Он шел к Распятому. Светил фонарь. Что значит Ни-ко-дим?... В. Л. об этом, как и вы, не думал. Я подсказал: народ есть победитель — вот смысл имени пришедшего к Христу в ту ночь... Глаза В. Л. наполнились слезами. Он обручал Россию с местом Лобным и богоносцу Никодиму предрекал свободу.

Сквозняк гулял в вагоне. Товарно-пассажирский гукал в соняке. Пыхтел и злился на опоздание с прибытием. Но вот уж, лязгая суставами, состав устало протянулся вдоль перрона. И лег, и замер, и обратился в динозавра. Да, в динозавра. И это потому, что автору пора дать знать Эдгару По — послушайте, и мы не лыком шиты.

Все так. Но Боже, Боже, как прозаичен, как меркантилен наш идеалист... Гул затих, он вышел из Казанского на Каланчовку. К нему взывает вся привокзальная Россия: «Барин! Ба-

рин!»). А он не отзывается, он непреклонен. Шалишь! Извозчик здесь дерет втридорога. Пожалеть я тебя пожалею, но рубля я тебе не подам. Дождусь трамвая.

---

Падение самодержавия — событие, как известно, всемирно-историческое. Но, если честно, оно нисколько не повлияло на музыкальные способности трамваев. Московский трам, в который втиснулся В. Л., имел звонок педальный. И потому вожатый личным мускульным усилием отзывался на процесс движения людей и лошадей, а иногда авто. И добивался выразительности. Звенел сердито или весело, звенел и весело-сердито, случалось, укоризненно: «Чего ж ты под колеса прешь? Успеешь на Ваганьково!»).

Трам петроградский, в котором в тот же день ехал Лемтюжников, имел звонок электро. Вожатый в изъяснении чувств стеснен. И все ж раскат рулад (угу, тут тавтология) вызванивал в проспектах парадигму. Какую именно да и вообще, что это значит, я затрудняюсь объяснить. Ну, и охоты нет, есть только повод представить вам Лемтюжникова.

Вот он сидит — прямой, сердитый, с тростью. Он в чине тайного советника. По табели о рангах — бок о бок с генерал-лейтенантом. К тому же звук «Лемтюжников» приятен — созвучен с знаменитым направлением в литературе.

Он заведовал финансами тайной полиции. Это не отнимало у Павла Николаича брюзгливого, так сказать, общеказначейского выражения длинного дряблого лица. Следует, однако, прихмурясь и поджав губы, рельефно обозначить нетипичное, кардинальное. Оно заключалось в том, что данному тайному советнику не было тайной то, что при любом общественном укладе известно лишь двум-трем государственным фигурам. Он знал, каковы денежные суммы, отпущенные тайному сыску «на известное Его императорскому величеству употребление».

---

Эти средства оправдывали цель. Эта цель оправдывала средства. Речь шла об оплате агентуры. И финансировании всяческого рода провокаций. Конкретные затраты определял Особый отдел. Утверждал директор департамента. И он, и вице-директор, и заведующий Особым отделом уважали державную рачительность т. с. Лемтюжникова. Иногда его скарденность становилась препоной. Директор департамента Алексей Тихоныч, бывало, сетовал: «Мы бы купили всех революционеров, если бы сошлись в цене». Теперь, когда трон рухнул, тайный советник втайне признавал, что следовало бы всегда в цене сходиться. И не пришлось бы ездить в трамвае да еще под конвоем расхристанных студентов: с фуражек сорвали кокарды, нацепили белые повязки с дурачками: «Г.М.» — городская милиция.

Тайного советника «взяли» дома. Не то чтобы арестовали, как многих генералов, а пригласили «следовать». Следовал он к месту совсем еще недавней службы — на Фонтанку, 16.

---

Едва царь отрекся от империи, ведущий департамент империи ударился врассыпную. Опустел, обезлюдел. Иные жандармско-полицейские заведения тоже, но не столь дружно. Зато уж дружно запылали, отчего возникали на глубоком весеннем небе рыжие и багряные пятна, похожие на неподвижные облака. Красных петухов подпускали поджигатели; поджигала и внештатная уголовная шпанка, и штатный служащий — все торопились убрать свой след.

А здесь, на Фонтанке, в цитадели политического сыска, поджигатели, так сказать, неорганизованные не успели проюрить, а вот свои поработали. Но об этом расскажу потом. Почтеннейшего Лемтюжникова доставили в Фонтанный дом не для того, чтобы он ностальгически повздыхал в канцеляриях, в кабинетах, где природа опровергала сведения о том, что она, природа, не терпит пустоты.

Предписанием Городской думы ему назначено было выполнить операцию весьма несложную. Она, однако, отозвалась в душе его сложным клубом борьбы мотивов разноречивого свойства. Тайный советник, впрочем, не сопротивлялся, чему весьма способствовали солдаты Волынского полка, присланные караулить департамент и державшиеся возмутительно вольно. Того и гляди разложат костер в этой прихожей с двумя широкими плавными лестничными маршами.

Все с тем же выражением на длинном дряблом лице, какое у него было в трамвае, выражением застарелой брюзгливости с проступающей сквозь нее брезгливостью, Павел Николаевич Лемтюжников, циркульно переставляя плохо гнущиеся подагрические ноги, отправился в четвертый этаж.

Его сопровождали прапорщик Волынского полка и поручик, адъютант градоначальника. Описывать их не представляется необходимым, ибо и тот, и другой действовали на общественных началах и, стало быть, государственного веса не имели.

Короткая процессия молча двигалась вверх по чугунной лестнице, углублялась в гулкие коридоры, оказывалась на других лестницах, тоже старинных чугунных, но разноузорчатых и несхожей ширины. Замыкающим бестелесно скользил паучок-вахтер с огромными мшистыми, давно немодными бакенбардами. Паучок имел при себе связку увесистых дверных ключей. Сейчас не соображу насчет электрификации департамента. Полагаю, сумрачность, словно бы дополнительная, возникла из нервного напряжения. Никакой, собственно, опасности не существовало. Но существовало солидное местонахождение запасов дензнаков, свободно конвертируемых, пусть только визуальное, однако напрягающее нервы, что известно каждому, кому приходилось участвовать в подобных экспедициях.

Вероятно, именно вследствие этого поручик с прапорщиком не заметили маленькую анонимно-железную дверцу в сте-

не. И то, что эта дверца словно бы обманула поручика и прапорщика, изменивших государю своему, доставило удовольствие Павлу Николаевичу. Паучок-вахтер, звеня ключами, отворил дверцу, этот звон был для нее погребальным, и она, сознав свою унижительную беспомощность, беззвучно пропустила экспедицию в большую квадратную комнату с единственным окном, забраным толстой и частой решеткой.

Посреди комнаты высился кирпичный куб с солидной стальной банковской дверью. Она была злобно искорежена, а угол кирпичного сооружения безобразно сворочен. Все молча разглядывали следы неудачливого взлома, а вахтер-ветшанин, взъерошив бакенбарды, обронил: «Да-а-а, с этим-то наши ребята не управились...» — и смущенно притворил рот ладошкой. Кирпичный куб занимал четверть большого квадрата. Это и была главная денежная кладовая — хранилище средств, оправдывающих цели тайного сыска.

При виде банкнот, аккуратно заправленных в бандерольки, издающих нечистый затхлый запах, поручик и прапорщик почувствовали разочарование, загодя чудились алмазы каменной пещеры, сверкание драгоценных металлов, а тут... Сумма-то была внушительная, миллионы, но почему-то не оказывающая столь же внушительного впечатления.

Адъютант градоначальника послал за извозчиками. Пролетки остановили у подъезда шефского дома. Началась погрузка. Тайный советник Лемтужников с привычной малоприметной бдительностью наблюдал за процедурой. Паучок-вахтер стоял, как на похоронах, с непокрытой плешивой головенкой и хлопал носом.

Поручик и прапорщик взяли с собою несколько солдат-вольтыцев и поехали на Гороховую, 2, в градоначальство. А следом и тайный советник. Он, конечно, имел соответствующий акт, но желал очно удостовериться в доставке тех миллионов, которые он, несмотря ни на что, считал казенными, департаментскими.

Градоначальника на месте не оказалось. Его помощник — тоже на общественных началах — однорукий саперный капитан велел сложить поклажу в какой-то шкаф. А когда это было исполнено, кивнул, да и вся недолга. Ключ не брякнул, замок не щелкнул, тотчас образовалась зияющая пустота, в каковую невозвратно и окончательно ухнула Россия. Так, именно так полагал тайный советник Лемтюжников, служивший трем государям. И уж совсем неожиданным, совсем, как под корень, получил он удар на Невском.

Домой Лемтюжников, чувствуя себя донельзя усталым, отправился на том же биржевом извозчике, который привез его с Фонтанки на Гороховую. Извозчик был говорлив, как, впрочем, все извозчики на первых порах революции. Он радовался исчезновению городских. У, драли шкуру! А теперича, вишь, с чердаков бабахают в народ. И даже пулеметами норовят воздействовать. Ан народ нынче боевой, походный, потачки не дает. С крыш чертей сбрасывает, отчего приключаются неоплаканные смертоубийства. Лемтюжников отзывался вяло и односложно: чего ж, мол, хорошего.

На Невском они попали в загор. Демонстрация старательно месила осклизлую перемесь мокрого изжелта-грязного снега. На ветру парусило огромное, в полпроспекта, полотнище с громовым призывом к миру голодных и рабов: «Долой чаевые!».

Извозчик перекрестился. Лемтюжников похабно выругался. Демонстрация двигалась вдоль Александрийского скверика. Великая Екатерина, окруженная великими строителями империи, смотрела сверху вниз на официантов, половых, поваров, швейцаров всех тех знаменитых и незнаменитых заведений, которые недолге образуют звучное слово «общепит». Мне кажется, Екатерина, мать Отечества, смотрела на демонстрантов одобрительно — ведь она запретила подданным подписывать прошение: раб такой-то. А эти, эти, в сущности, запрещали глядеть на них как на рабов. Но студент... Понимаете ли, студент объяснил поручику фундаментальнее.

Молодые люди, как и Лемтюжников, возвращались из градоначальства, завершив операцию по изъятию денежных средств тайного сыска. Однако тайный советник, сознавая выпадение своего «я» из координат бытия, ехал на Моховую, домой, в еще не утраченный быт, а студент и поручик, воодушевленные служением на общественных началах, шли пешком на Фонтанку, 16.

Завидев полотнище «Долой чаевые!», студент сорвал фуражку с уже, как я говорил, сорванной кокардой и, размахивая испорченным головным убором, взволнованно толковал поручику: вот оно, новое слово! Не банальное, хотя и справедливое, требование восьмичасового рабочего дня. Нет! Новое слово, долгожданное слово, лучшими умами родины нашей возвещенное, новое всемирное слово, наконец-то сказанное новой Россией... И они обнялись. Нет, нет, не там, где великая Екатерина, а дальше, у Фонтанки, у вздыбленных кладовских коней. Засим прапорщик быстро, будто опасаясь упустить мгновения, расстегнул все крючки своей бекеши на бараньем меху и, блестя карими глазами, присягнул в том, что никогда, никогда, никогда не станет прищелкивать пальцами, подзывая официанта: «Эй, чеазк!». Что до «чаевьё», то он их и прежде не давал по причине скудости денежного довольствия.

Студент и прапорщик чувствовали себя счастливыми.

В Петербурге росли, в Петербурге вёсны привечали, а нынче словно бы впервой прониклись током живого, влажного, густого и вместе прозрачного света, который так властно высветлял неспящие громады, висячие мосты, даже и дворы-колодцы, и все оторачивал по краям голубеющей тесьмой. А на Фонтанке, пока еще не рваной от толкотни дровяных барок, свет этот шелковисто шелестел.

Ощущая свое вольное пребывание в приливах света и воздуха, свежесть свою ощущая и мускульную упругость, молодые люди пришли на Фонтанку, 16, к подъезду департа-

мента полиции. Вот здесь-то они и встретили г-на Достоевского. Впервые встретили, я это утверждаю.

Прошу не заподозрить явления двойника. Согласен, на этой же Фонтанке г-н Голядкин набежал нос к носу на г-на Голядкина. Так и вы согласитесь, что царя-то еще не свергли. Это раз. А во-вторых, погода-то была не нынешняя, а совершенно гадкая, какая бывала в Петербурге только в изображении Достоевского. Наконец, прошу не считать господина, встреченного студентом и поручиком, за призрак, улизувшийся с той стороны речки, где утрюмился Михайловский замок. А там, как убили Павла Первого, так и завелись призраки. И перевода им не было. Да, в замке находилось Инженерное училище. Что из того? Над привидениями не властна даже гениальная инженерия.

---

Правобережный дом, ровесник замка, казной был куплен для графа Бенкендорфа, его жандармов, стал прозываться шефским домом. То было в год Тридцать Восьмой. Как раз в тот год левобережный замок принял новичка. Воспитаником Инженерного училища стал Федор Достоевский, белокурый вьюноша плотного сложенья. Лицо у него было серое, малокровное, землистое. Могло показаться, что на нем лежит печать неясных подполий этого замка, освещенного скудно, можно сказать, с тайным умыслом плодить нежить. То есть пребывал ненатурально, а в состоянии, позвольте вам сказать, предположений. Теперь — с Тридцать Восьмого года — и натурально, на казенном коште.

В военных заведениях трудненько отыскать уединенный уголок. В лицее каждому по келье-комнате, роскошный парк. А здесь ты постоянно на виду: классы, дортуары, плац. Насилу Федор Достоевский отыскал подобие уединения. Второй этаж, овальная камора и длинный узкий угол, точно амбразура. Стул, столик и свеча. В своем подсвечнике чугуном она

раскачивалась, трепетала, то вверх выстреливала, то поникала — она стояла у окна. А рама-то рассохлась. Сквозь щели дули ветры вариацией к параграфам инструкций, и сами эти ветры, как параграфы, были тонки в поясе. Окно, внизу Фонтанка, фасады бурые иль красные, как и закаты.

С той стороны Фонтанки огни Михайловского замка пугали поэтессу, ей чудилось: а Павла-то все убивают, убивают... Нет, били и убили в опочивальне, там окна были на Садовую. Не вчуже, не сторонним взглядом смотрела на Михайловский Ахматова. Но — со стороны.

А я бывал внутри. И не однажды. Признаться, занимал не Павел, а Семен Великий, сын незаконный. Плохой я патриот, мне выблядки милей царей. Но... Я сам себя и осажу и осужу. Выблядок?! Э нет, рожденный честной прачкой. Они, имея соблазнительный наклон то ль над корытом, то ль над живой водой, воспламеняли Павла. Ах, сладострастник, хоть в малом теле, но здоровый... Так вот, его сынок, Семен Великий, служил во флоте, чины выслуживал, как все, и сгинул где-то в круговерти антильских ураганов. Ужасно, но романтичнее мартовской полночи в чаду свечей и мгlistой влажности дворца, где погиб отец Семена.

Государь Павел Петрович жил в замке 40 дней. В сороковины дворец был окнами почти что слеп. Обитала дробь — мелкие служители, сторожа. Да вот из главных — Иван Семенович Брызгалов, кастелян. Он оставался и потом: при разных ведомствах, при Инженерном замке.

Мафусаилов век отжил. Наверное, потому, что, как Мафусаил, он книжек не читал. А может, майор, офицер сухопутный, чурался маринистики? Жаль. Ваш автор не чурался, оттого и хаживал часто-часто в Михайловский замок: там была библиотека. Морская. Заведенная еще Петром. Хвала хранителям!

Но не скажу я исполать строителю. Дурак испортил песню. Строитель — и хорал? Доделки, переделки, перепланиров-

ки. Оно, конечно, доуки жизни. Да выбирайте, черт вас заде-ри, подальше закулок. Партитура, сочиненная Баженовым, была изгажена при размещеньи Инженерного училища.

Однако эту партитуру превосходно знал кондуктур\*. Он слышал музыку баженовской архитектуры. И на полях тетрадей рисовал не женский профиль, нет, готическую башню, подъемный мост иль арку.

Ужасно прозаически нам сообщает спецлитература: Ф. М. Достоевскому была известна «историческая топография» Михайловского замка. То есть Инженерного училища. То есть *alma mater*\*\*. Знал. И помнил. Однако не в общестудентском смысле. И не в юбилейных фирменах. Не в ностальгии по сладости и дружеству. Не в веселом столкновении пивных кружек, налитых всклянь: «*Gaudeamus*»\*\*\*. Другое! Решительно другое. Суть в духовном кормлении, в духовном развитии, даже и в обретении профессиональных навыков. И только одного из кондуктуров. Самого не карьерного, не фрунтового, не строевого. Ходит понуро, повесив голову, руки сцеплены за спиной, как у арестанта. Движенья угловатые, порывистые, как, извините, у новобранца из евреев, ему ненавистных. Мундир сидит худо, воротник терзает подбородок, а кивер, ранец и ружье — вериги.

Эх, я не ротный командир и не фельдфебель. Меня не занимают выправка и стать, любовь к ружью и ладный ранец. Ходил, расхаживал вокруг да около — не отпускали два вопроса. И первый — об этой самой топографии. Ведь она ж исчезла до того, как Д. пришел в училище. Ну, скажем, в «Бесах» он сам себе был хроникером, зачем и для чего, нам объяснил Карякин Ю. А кто же был Вергилием под крышей замка?

\* Не путать с упомянутыми выше водителями московских и петербургских трамваев. В данном случае: унтер-офицер, воспитанник инженерных или иных строительных ведомств. — Д. Ю.

\*\* Мать кормящая (*лат.*) — почтительное наименование студентами своего университета.

\*\*\* «Возрадуемся» (*лат.*) — студенческая песня.

Гадал, гадал и догадался. Знать, не напрасно заявлялся в замок и слышал птичий гай в его саду, тот крик ворон, который мне известен в другом краю, в другом углу и тоже мрачном, а в том саду Михайловского замка неизмеримо громкий в ночь, когда колонны заговорщиков пришли к воротам, к подъемным мостам. Прошу зарубку: замок был окружен водой, как остров, имел подъемные ходы. Но это все какие-то неясные, несвязные наития, а вот реальность четкая: Брызгалов. Не путайте с Брыцаловым; тот миллионер, а этот штаб-офицер. Но, впрочем, оба из крестьян.

Майор — старик, красивый, как селянин кисти Тропинина; ростом — гренадер; морозами он выдублен еще на гатчинском плацу. Майор Брызгалов в литаном мундире, таких никто не носит; треуголка вытерта донельзя, ботфорты с раструбом, а подколенный вырез измочален. Трость саженная зажата в кулаке. Стучит, стучит. Майор идет, ему уж девяносто лет.

Он был майором еще при Павле. Давным-давно в отставке, в замке имеет он жилплощадь, его никто не беспокоит. Он бывший кастилян. Я тоже, как и вы, услышав «кастилян», подумал о завхозе. Ошибка! Род коменданта. Иван Семенович имел надзор за «подниманием и опусканием мостов». И тут нельзя нам не смутиться. Нам Пушкин звучными стихами описал ночь убиения Павла: «Молчит неверный часовой, / Опущен молча мост подъемный. / Врата отверсты в тьме ночной / Рукой предательства наемной...» Пойдите, г-н майор! Не вашей ли рукой опущен мост подъемный? И не мелькнул ли вам тогда Иуда? Нет-с, в том Ваня-старичок не каялся.

Вообще ж в знакомых Иван Семенычу семействах он не держался, как говорится, нараспашку. Но не был и застегнут на все пуговицы от кадыка и до пула и ниже. С течением лет он делался все откровеннее. Помре Благословенный — майор тотчас к легенде о государевом исчезновении в Сибири прибавил «психологию» раскаяния: ведь цесаревичем наш ангел, наш Александр Первый глядел на умысел злодеев сквозь белы

пальцы. Он был отцеубийцей, хотя и не был в страшный час в опочивальне своего отца. Отцеубийца в мыслях. (Кому же не охота убить отца? — сейчас, сейчас, я к этому веду.)

Увы, всех сверстников Иван Семеныч проводил на разные погосты. Немалое число и отпрысков их тоже. Для старика майора, зажившегося в замке, Петербург стал пуст. В кадетках, в кондуктурах нашел он конфиденентов. Кадеты-пострелята бледнели и дрожали, когда сквозняк пред ними двери открывал, когда в ночах дискантом беседовали половицы, среди них ведь сохранились лаковые, как и при Павле. Да, меньших бросало в дрожь, майор им усмехался ласково, как дед, пугнувший пострелят бабой-ягой. А кондуктуры, первый Достоевский, были, как говорят, само внимание, и это льстило старику. Майор ходил Вергилием Михайловского замка. И вот вам «историческая топография». Не слышите ли отзвук: в доме Карамазова было множество «разных чуланчиков, разных прятков и неожиданных лестниц».

Прятки... Неожиданности...

Баженовской архитектурой прониклась архитектоника романов; музыка в камне организует прозу. Прибавлю к замку Павла — Павловск. Черный мрак, где ели. И морок странного предупрежденья. Нигде в иных из царских резиденций нет в регулярной парковой красе таких прорывов жути, ну, будто сыч вас выживает. Как раз ведь в Павловске так напряженно-страшно за князя Мышкина.

Чуланчики... Прятки... Неожиданности... Подагрический почерк брызгаловских ботфортов... И прочерк в сочинениях, еще не существующих... И снова, снова ботфорты с растробом и подколенным вырезом узоры чертят, трость аршинная стучит по камням, половицам...

Ты скажи-говори, как замолаживало мартовскую ночь, когда царю был карачун. Та ночь с историей играла в прятки, но сближалась с днем июньским, сухим и пыльным, когда раздался крик: «Ребята, карачун ему!» — и удавили душегуба

Достоевского. Душила Павла артель дворян, их было десять или пятнадцать, как говорится, непосредственных. Душила Достоевского мужицкая артель, числом таким же. И первый, и второй — садисты, и первый, и второй — паучье сладострастье; и первый, и второй в самообмане управленья вскипали самодурством. И крепко пили, и крепко били. А их добили. Павла тяжелой табакеркой, золотой, на то и государь всяя Руси. А Карамазова, по отчеству он Павлович, хватили пресс-папье, чугунным, но тоже, знаете ли, фунта три. Убийца кто? Школяр ответит: «"Незаконный" Смердяков». Да, исполнитель. И он за неимением поблизости осины себя на гвоздике повесил. (Не это ли нарисовал московский вышеупомянутый художник? А публика: распяли, нас распяли...) Да, исполнитель Смердяков. А подлинный убийца — сын родной, «законный», Карамазов Иван Федорович, вот кто. Так али не так? Нет спора. И Смердяков... Послушайте, граф Петр-Людвиг Пален, павловский клевет из первых, граф угадал: наследник цесаревич Александр не супротивник устранения отца. Да только чтоб руками-то чужими, а он свои умыл бы. Ну-с, отчего бы Смердякову, он тонок был, претонок, не угадать желание Ивана? Да-с, угадал, до времени играя в прятки, чтоб вышла неожиданность.

Известие о страшном убиеньи батюшки он получил в Михайловском дворце, в канун отправки на летние биваки в Петергофе. И пролил слезы. Но не излил ни отвращенья — перегар и папенька нерасторжимы, ни гадливости к растлителью дитятей; ни униженья скарედностью... Все это не избыл, не выплакал, забвению не предал... И вот кричит нам Карамазов-сын: «Кто не желает смерти отца? Все желают смерти отца». А может, это и не Иван Федорович кричит? Я и вас спрашиваю: может, и не Карамазов криком кричит, а тот, кто сказал: романа не напишешь, коль ты не запасешься одним или несколькими потрясающими впечатленьями, пережитыми сердцем. И для него, не для царя Баженов создал этот замок.

Уединенная овальная камора. Там длинный, узкий, словно выстрел, угол. Стул, стол, свеча. Огонь метущийся: щелистую раму пронизывают ветры разных румбов. Он зябнет, шинель внакидку иль одеяло, и в этом нарушение дисциплины. Внизу, как из чертежной тушь, деревья. Их листья, помню, неприятные на ощупь, перенабухли влагой. В береговом граните — чугунное кольцо, за этот рым крепили шлюпку. Судачили: на шлюпке сбежал от гибнущего государя его любимец граф Кутайсов. Сбежать-то он сбежал, да не на шлюпке. До середины марта Фонтанка подо льдом. Конечно, в марте лед не матерый, а пористый и рыхлый, лед-багренец, но судоходство-то еще не пробудилось. И, значит, плут и трус Кутайсов задал лататы не по воде.

Иван Семенович, майор, дарил очередное впечатленье. Опять и прятки, опять и неожиданность. Еще при Павле подземный ход прорыли, проложили под дном реки, стремящейся к Неве. Свескольно багровея, майор, забытый Богом на земле, натужно отворял какие-то темницы, переходы. Рождались скрипы, взвизги, пока ударом плотного амбре не взорвались носы. Не пяться. Не любопытство двигатель познания, а опыт, сын ошибок трудных.

Пятнали фонари совиной желтизною то немую глушь, то звонкий отзвук. Тоннелем шли, казалось, долго. Но долгим не был путь. И вышли... в тылу особняка, где Третье отделение, в квадратный дворик с кордегардией. Все будто бы во сне, в томительном недуге, в сиюминутности падучей: там шпора прозвенела, тут сабля за угол задела, мелькнул блескучий черный бакенбард; и кто-то произнес со вздохом: «А нынче Юрьев день», и, наконец, баритональный голос официально справился, исправно ль опускное кресло.

---

О, неожиданности, прятки...

Он заполдень возник близ шефского особняка, который,

как вам уже известно, насупротив насупленного замка. То было раннею весной. Весной Семнадцатого года. Плыл мощный свет, все окаймляя голубой каймой. И это вам не вымысел, опрысканный слезами. Тому порукой студент-универсант и прапорщик Волынского полка.

Напоминаю: прапор и студент, сопроводив в градоначальство тайного советника Лемтюжников, вернулись охранять «свой» департамент. А близ Цепного моста — Достоевский. Он тоже чином равен генералу. И начинал, как и Лемтюжников, в министерстве финансов; там подвизался чиновником особых поручений. Потом уж в министерстве просвещения. Само собой, народного, там он спокойно, в очередь добился генеральства, то бишь действительного статского советника.

В чиновность он, однако, не укладывался. Она была ему скучна, пресна, рутинна. Живое дело нашел он по соседству. Географическое общество тогда располагалось там же, где и министерство, — у Чернышева моста, близ все той же реки Фонтанки. Говорю «тогда», поскольку позже Общество приобрело прекрасный дом — Демидов переулок, 8. В просторнейшей швейцарской сиял его сиятельство, так называемый вокзальный самовар; огромный, светлой меди, он сыплю, как локомотив, вещал: «Я закипаю... закипаю...» И в залу заседаний, к длинному столу с синим сукном чай приносил белобородый и осанистый, как адмирал, швейцар. Сказать вам правду, после войны (Отечественной) я не увидел ни самовар, ни сукнецо. Такая, значит, география была.

А Достоевский ею занимался статистически. Число и цифры не были мертвы. К тому ж наследственная пунктуальность. Он, как некогда отец, имел домашнюю привычку вязать чулок, точь-в-точь такой же, как и предыдущий. Такому не занять ли должность ученого секретаря? Не быть редактором «Известий» Общества? Прибавьте: бессребреник, идеалист. Короче, не из худших в человеческой породе. И Достоевского любил наш знаменитый путешественник-ученый, к

своей фамилии получивший, как Суворов или Кутузов, географическое прибавление: Тянь-Шанский.

Жили они в одном доме. Васильевский остров, 8-я линия. Достоевский бывал у Петра Петровича и по службе, и внеслужебно, всякий раз успевая взглянуть на полотна старых голландцев. Скажу наперед, Петр Петрович все свои коллекции отдал эрмитажному собранию. Само собою, не продал, а подарил. И такая, значит, была география.

Общество именовалось императорским. Шефство весомое в сношениях с разными ведомствами. А Дом пушкинский, возникший в канун столетия рождения Александра Сергеевича, считался при Академии наук. Держался он энтузиазмом энтузиастов. Не пустой для сердца звук. Любви, прилежания было в избытке; денежные средства были в хроническом недостатке. Достоевский поспешил примкнуть к служителям этого Дома, не имевшего штатного расписания.

В поступке г-на Достоевского не видел я подвижничества, а видел совершенно естественное, почти машинальное движение души встреч заботам, освещенным именем Пушкина.

Ваш автор, к сожаленью, никогда не был превосходительством и даже, будучи лейтенантом, не величался благородием, но и ему случилось поспособствовать Александру Сергеевичу. Февраль или март послевоенные, метель, поздний вечер, мутно-серая Нева, огни такие редкие, что все кажется сметеным, замеченным, едва различимым. Две пожилые женщины... а может, и не пожилые, но пережившие блокаду... тащили по Дворцовому мосту тяжело груженные сани, напоминая горестный сюжет Перова. Тащили эти сани с той стороны Невы, где Биржа, на берег Мойки, в последнее пристанище Пушкина, и на этих вот салазках громоздились связки книг из его домашней библиотеки. Как было не перенять лямку, отчетливо сознавая возмездие за опоздание на вахту?

Так вот Достоевский тоже, знаете ли, брался за лямку. И тоже ради Пушкина, в первую голову ради Пушкина. Действи-

тельный статский советник имел полуофициальное прошение, подтвержденное не то Городской думой, не то градоначальством, каковое он и предъявил студенту-универсantu и прапорщику Волынского полка. Молодые люди были рады намерениям вольных сотрудников Пушкинского дома как действительному проявлению общественных начал. Они лишь попросили г-на Достоевского дождаться г-на Бурцева, который вот-вот придет в департамент. «Бывший», — улыбнулся бескокардный студент. Ирония его г-н Достоевский не разделил, а с некоторой заминкой испросил разрешения осмотреть интерьеры.

Проводником Достоевскому отрядили паучка-вахтера, легонького на ножки, бесплотного, беззвучного, с огромными мшистыми бакенбардами времен Александра Второго. Этот самый старичок-паучок нынешним утром замыкал процессию Лемтюжникова, умыкавшую полицейскую казну, чем давний и верный паучок был лично оскорблен. Господин, сейчас порученный его сопровождению, был тоже генеральского достоинства, и проводник, исполненный почтительности и печали, вел его из канцелярии в канцелярию, из кабинета в кабинет. Везде оказывались следы вторжений и разорений, но выборочные, и это, как я уже отмечал, являлось следствием «работы своих», искоренявших самое важное, а именно следы ответственных персоналий... Что до мебели и портретов, то оные, общеведомственные, пребывали в целости; ну разве некоторые тайные шкафы, второпях взломанные, словно бы обиженно недоумевали. Зато совсем нетронутыми веселились желтые шкафики, каждый с полусотней выдвигаемых ящичков. А каждый ящичек с тысячонкой именных карточек поднадзорных. Таким вот приятным овалом эти шкафики, называвшиеся «американской регистрационной системой», выстроились в большом зале: огромный колпак, под которым цепенела «виноватая Россия». Миллион душ. Читателю эпохи «Москвошвея» и «Леносежды» число это вряд ли покажется чрезмерным.

Экскурсант же Достоевский Андрей Андреевич испыты-

вал нарастающее нервное напряжение. Оно все явственнее обнаруживалось в проступавшем исподволь сходстве Андрея Андреевича с родным дядюшкой Федором Михайловичем. Особенно меня поразило сходство бледных запавших костистых висков, покрытых обильным потом, меченных бледно-голубыми прожилками. Такие виски, на мой взгляд, всегда вроде бы дожидаются холодно-круглого и твердого прикосновения револьвера. Нарастающее нервное напряжение Андрея Андреевича увязывалось с давним-давним слухом: в одном из здешних помещений постигло его дядюшку унижительное гнусное наказание посредством опущения. И мне тоже хотелось поскорее убедиться в том, что слух этот вздор и гиль, однако малость повременю.

Надобно сообщить вам, что отец Андрея Андреевича, губернский архитектор, не пользовался особенным благорасположением своего знаменитого родственника-писателя. Правда, Федор Михайлович признавал, что именно младший брат в трудную годину доказал ему свою любовь. И все же оставался к младшему брату тепел, не больше. И так же, собственно, к племяннику. Между тем они, в отличие от прочей родни, благоговели перед гением Федора Михайловича. Андрею Андреевичу не было и двадцати, когда дядюшка скончался. Все последующие годы (а сейчас ему было пятьдесят четыре) Андрей Андреевич читал и перечитывал его сочинения. Читал и перечитывал любовно-родственно, а потому и находил в его романах болезненно-горькие отзвуки опущения. То есть признавал, почти признавал верность давнего-давнего слуха о позорном и гнусном действии, произведенном над дядюшкой в Третьем отделении. И это вот действие было причиной припадков падучей, мрачности и надрывов, а не предрасстрельные минуты на Семеновском плацу, на эшафоте; ведь в тот же вечер, помилованным, он сообщал на волно о своем состоянии без какого-либо надрыва, срыва, почерком ликующим, летящим.

Следуя за своим проводником, Андрей Андреевич полагал, что в помещении, где сотворилась гнусность, должен быть портрет генерала Дубельта. Не графа Бенкендорфа, а его премника Дубельта. Полагал он так потому, что арестование мечтателей-фурьеристов, сотоварищей Петрашевского, производилось высочайшим повелением в апреле сорок девятого: Бенкендорф уже умер, за дело взялся Дубельт, исполненный рвения.

Арестовали всех в ночь на 23-е, в Юрьев день. Достоевского, выдыхавшего запашок скверного вина, доставили с Вознесенского проспекта к Цепному мосту. И это, знаете ли, не из Ахматовой: «А шествию теней не видно конца / От вазы гранитной до двери дворца...» Это для него, Достоевского, из Некрасова: «Всыпят в наказание / Ударов эдак со ста — / Будешь помнить здание / У Цепного моста». Слышите: всыпят!

В кордегардии сабля туго брякнула, мерзко шпоры прищелкнули, кто-то ему шепотом на ухо: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», и этот повелительный баритональный вопрос, исправно ль опущение. (Тут выше-то, у меня оговорка иль ошибка: не кресло, оказывается, а люк.)

Этот-то люк и искали глаза Андрея Андреевича. Он отирал виски платком. А был ли люк? Может, люка-то и не было?

Был! Андрей Андреевич даже всхрапнул носом и произнес: «М-да-а!»). Был этот люк в одной из комнат бокового флигеля. Квадратный, с кольцом, как у погребов. «Откройте», — попросил Андрей Андреевич старика вахтера, хотя в свободной России мог бы заменить ветшанина и сделать это сам. Паучок пригнулся, потянул за кольцо, плешь стала малиновой. Андрей Андреевич, может, и приконфузился, да уж глаз не мог оторвать, и он успел-таки заметить там, внизу, какое-то захлащенное помещение... Не очень-то понимая, как же все-таки осуществлялось опущение, Андрей Андреевич сообразил, в чем оно заключалось, это позорное наказание. Всыпят! Наказуемый внезапно проваливался вниз. Не «целиком» — до пояса. И тотчас же жандармы, сдернув с преступника штаны, пускали в ход

розги. Оно, конечно, для православных казаков или исламистов-фундаменталистов, наверное, как с гуся вода, но для дворянина, офицера, автора «Бедных людей»...

Андрей Андреевич, чувствуя спазму в горле, вопросительно смотрел на паучка-проводничка. Тот, растопырив пальцы, расчесывал, как грабелкой, огромную мшистую бакенбарду. Потом произнес вдумчиво: «Так что дозволейте доложить, люком-то этим давно не пользовались».

Вот и прикидывай, сколько ж годов уложено в это «давно»? Андрея Андреевича потянуло вон, воздуха захотелось, воздуха. И он был рад, что его уже ждет г-н Бурцев.

Прятки, неожиданности.

Они не в том, что Бурцев находился в Петербурге. Падение династии сняло табу на место жительства не только Бурцева. Не в том они, что мой В. Л. продолжил сотрудничество в газетах, равняя штык с пером и призывая на кайзера Вильгельма казни египетские. И, наконец, они не в том, что Бурцев затевал свою газету, конечно, внепартийную. К тому еще держал он на уме участие в разборе преступлений павшего правительств.

В том неожиданностей нет. И прятки тоже. Они в ином.

И первое... Нет, сравнения не доказательство. А я и не намерен сравнивать. Намерен как-то боком сопоставить. Хочу понять мотивы Бурцева.

Короче, вышло так. Война — Отечественная — недавно отошла и отпылала, но все, казалось нам, дымилось. Из Кронштадта меня послали в Ленинград, какое поручение — не помню. А ночевать-то было негде. В комендатуре на Садовой — все арестанты. Ни одного приятеля не отыскал. В гостиницах не вышел чином-званьем. И все ж притопал в старинный «Англетер».

Там пахло гнилью и свежей масляною краской — смесь

не от Коти. В сенях — на задних лапах играл в швейцара великовозрастный Топтыгин: пыльно-бурый, на лбу проплешина. На вытянутых передних лапах — поднос, быть может, из недалекого гнезда Набоковых. И вот плебейское желание вскользь бросить на поднос визитку в завитках: мол, флота лейтенант такой-то имеет честь поздравить с тезоименитством — не очень, впрочем, понимая, что оно такое, это тезоименитство... Увы, табличка: «Мест нет».

Пусть так, но есть вера, есть и Верочка, дежурный пом. администратора. И ей известно, что комсомол — шеф флота. А лейтенанты, хоть и прохиндеи, но поголовно неженаты. О Вера, Верочка, забудешь ли твое благодеяние.

Бегом, скорее в бельэтаж. Навстречу заспанная горничная; повязана платком по-деревенски; из тех блокадных, которых мы жалели, но возраст не угадывали. Она мне отворяет дверь, показывает номер... Обыкновенье вежливое, довоенное; как будто лейтенантик мог претендовать на что-то... А номер пятый. Да, кажется, был это пятый номер... В окне такая ярая, такая яркая луна и очень близко, неотделимо от стекла; а выше и правее черный ангел — крыла еще приподняты, он только-только прилунился у купола насквозь промерзшего Исаакия... И слышу тепловым наплывом на затылок — мне горничная не без гордости: «Вот здесь у нас, девницей я была, повесился Сергей Есенин...» И я не смог остаться в пятом номере. Устроился внизу, в прихожей, впривалочку к Топтыгину.

Заметили? Все отвлеченья в сторону имеют у Д. Ю. мысль заднюю. К чему веду? Согласен, приблизительно и неуклюже, как порхающий медведь, коль вздумал бы порхать Топтыгин в прихожей «Англетера». Ассоциация такая: положим, в номере повесился бы Рильке, поэт, с которым Бурцев менялся молчаливыми кивками в Париже, в Люксембургском саде. И что же? Бьюсь об заклад, В. Л. не убежал бы из гостиницы. Ведь он же не бежал с Гончарной!

Второй этаж, передняя, три комнаты несмежные, кори-

дор неузкий, рядом Невский, вокзал рукой подать. Удобно жить, удобно и чай гонять, замысливши газету. Ну-с, правда, квартирный номер не того — тринадцатый. Но Бурцев-то не суеверен. Я тоже. Но тут, вы извините, род галлюцинаций.

Едва войду — и заполошный крик: «Бей! Бей!». И тотчас ужас в рифму: «Дегай! Дегай!». И у порога лужа крови. Наискосок, как будто б грохнулся с креста мужчина разбойной стати, но... Но борода, прическа — ей-ей, Христос, каким его увидел Тициан, а я когда-то не увидел, мне, романисту, это в голову не приходило. Убитый — кто? То-то и оно, убитый мастер сыска-провокаций г-н Судейкин, жандармский штаб-офицер, инспектор, единственный инспектор, а вместе и единственный иуда, хлявший в облик Христа.

Тогда квартиру на Гончарной нанимал Дегаев, артиллерийский офицер в отставке. На мой замер, Сергей Петрович предвосхитил и Азефа, и этим доказал, что он, великоросс, нимало не уступит иудею. Невзрачнейший шатен продал Судейкину сонм народовольцев, в том числе и Веру Николавну Фигнер, ту самую, что прокляла В. Л., который-де лишает всех товарищей доверия друг к другу. Продать — продал. Потом Судейкина убил. Тут ситуация из тех, что опрокинут любой бредовый вымысел. Я описал ее точнехонько, подробно; см. сочиненье «Глухая пора листопада» и должное отдай таланту автора...

Но — это в сторону. Мне непонятно, какого черта Бурцев арендовал тринадцатую, распроклятую? Историю Судейкина — Дегаева он знал еще студентом. Потом узнал подробности. А может, так: не знал В. Л., где все происходило? Он не читал «Глухую пору листопада».

Понятно было мне иное. В. Л. заметно нервничал. Приблизилось столь долгожданное в мечтах: проникновение в секретно-политический архив. Его уж ждали на Фонтанке. Как не почувствовать нервическое состояние Бурцева!

Мы дважды упустили шанс.

Ты не забыл, приятель, как фриц прорвался к Химкам?

Да, в сорок первом, в октябре. С поклоном к фрицу не потекла Москва. Они шли с Запада, она бежала на Восток. Старинно-каторжную Владимирку не зря назвали — шоссе Энтузиастов. Едва ль не все советские начальники имели сильную энергию эвакуации. Захлостанные грязью автобусы, грузовики и легковушки. Тощие крестьянки, скрестивши руки, крыжками означались на крыльце. И ждали немца, избавителя от трудодней.

В родименькой Москве тов. Сталин принял радикальное решение: раздать рабочим палки, пусть бьют евреев. Но гегемон, надёжа всех марксистов, приказ не выполнил. Он был умнее своего вождя: уже примчится фриц на мотоцикле да и решит вопрос бесповоротно. И поспешили в продуктовый: «Ребята, на шарап!».

Повсюду шмонили хмыри, похожие на мокрых крыс-мутантов. Стояла хмара. Какой-то малый из райкома комсомола прибил на входе в мужскую баню отчаянный призыв: «Женщины! Овладевайте мужскими профессиями!»

Сквозь этот мутный урбанизм проехала карета «скорой помощи». Известно, в карете недалеко уедешь. И верно, она притормозила у главного Лубянского подъезда. Торчали лифты на попа, как гробы в закутах гробовщиков. Коридоры — дороги в никуда — были пусты, припахивали гарью. Два-три забытых, как на Шипке, часовых. И вот майор госбезопасности в опаснейшем припадке мочекаменной болезни. Стеная, он материл санчасть, что в Варсонофьевском: лекари бежали вслед номенклатуре. А эти вот, незасекреченные, и без пайков, и без надбавок, эти не сбежали. Сейчас майору впрыснут и атропин, и морфий, и майор, встряхнувшись, помчится в Куйбышев. Ах, Самара-городок, успокой ты меня.

Имелся шанс проникнуть в секретно-политический-сыскальной архив. Нет, упустили.

А шанс второй, совсем недавний?

Народ, бушующий, сбросил истукана с постамента, как прежде сбрасывал бояр с раската. И разошелся, урча, как волны в час отлива. А там — на этажах — там голомозый гриф простер крыла, хрипел, как будто видел падаль: «Сов. секретно... сов. секретно...»

Все это наплывало и теснилось в трактире «Бегемот»:

Пока я с Байроном курил,  
Пока я пил с Эдгаром По.

Напомню, мы сошлись на том, что овладение секретно-политическим архивом возможно лишь под знаком динозавра.

Посыльные солдаты не обнаружили по месту жительства на Воскресенской площади начальника архива Есипова. Его помощника Антонова не отыскивали окрест платформы Карташевской, что по Варшавской железной дороге. Весьма возможно, солдаты, хлебнувшие глоток свободы от царя, застрелили у заставы — кому охота тащить за город...

В шефском же доме, Фонтанка, 16, сошлись нижеследующие: академик Нестор Котляревский, изящный господин, как и предмет его занятий — изящная словесность; племянник Достоевского, уж нами упомянутый, и Островский, сейчас он будет упомянут. Гражданский чин имел солидный, имел и чин почетный — камергер двора его величества; служил аж в Государственном совете помощником статс-секретаря. Живал в ту пору Сергей Александрович на Галерной, 20, позади Сената. А папу знают москвичи: чугунно утвердился драматург Островский в чугунном кресле на узких подступах к театру.

Все эти люди доброхотно сотрудничали в Пушкинском доме Академии наук. Звук понятный и знакомый. Дом, как я уж говорил, штата не имел. И не зависел ни от царей, ни от народа. Положение морально распрекрасное; материально зат-

руднительное. Сбор рукописей, раритетов, книг — плати, плати, плати. Платили. Ведь русская интеллигенция не только исподволь готовила Россию к гибели. И это там, в зале Пушкинского дома, сообразили, сдается, первыми: надо брать архив Третьего отделения. Пушкинистам всего важнее примечанья к Пушкину.

Городская власть уважила пушкинистов. Младшие служащие департамента — сторожа, дворники, курьеры, сироты без господ, при виде действительных и статских затеплились надеждой: авось, и образуется.

Говорят: Пушкин — наше все. Бурцев говорил: наше все в департаменте наблюдения и сыска. В отличие от академика Котляревского журналист Бурцев претендовал не только на секретные материалы, освещавшие литераторов и то, что теперь называют литературным процессом. Бурцев имел намерение широкое, всеохватное — изъятие всех архивных «дел», обряженных в орленые картоны. Его капитальная мысль, в сущности, и мною высказанная, заключалась в том, что никакой режим не может считаться упраздненным, насквозь проветренным, ежели архивы спецслужб контролируют прежние чиновники. Информация должна быть изъята. Чиновники либо отправлены в отставку, либо посажены в тюрьму. Первое, разумеется, предпочтительней. Ваш автор упоминал два упущенных шанса, когда противники режима могли захватить лубянские архивы; теперь вот извольте кланяться: то закрывают наглухо, то приоткрывают щелочку. И контролируют как действующих лиц, так и исполнителей. Да и мечтать о реставрации вам тоже, знаете ль, никто не запретит.

Не могу не признать наши с Бурцевым опасения, нашу внутреннюю оторопь. Разновременные, конечно. Его дооктябрьские, мои послеоктябрьские. Мы оба опасались заглянуть в архивные глубины. И страшишься пропасти, и тянется свеситься над пропастью.

Нас всех предупреждает Солженицын: занятия самим

собой есть измельчание литературы. Какое ж, братцы, «измельчание»? Ведь мною, и не только мною, «занимались» генералы и Селивановский, и Афанасьев, и Лебедев, и Королев. Цвет сыщещкого генералитета. А я всего-то старший лейтенант.

Нам демократия дозволила прочесть все наши «уголовные дела». (И это достижение демократии всерьез, однако же не убежден, надолго ли...) Дозволила. А я вот медлил, медлил, медлил ехать на Кузнецкий мост. Что так? Боялся! Боялся перелистывать протоколы, мною все, как один, подписанные в знак согласия. А вдруг слезшил, а вдруг и брякнул, а вдруг упомянул кого-то в опасном свете? Мука крестная. И добровольная. И тайная. Смягчающий мотив находишь. Ночь напролет допросы длиною в месяц-полтора; и в черепе расплавленный свинец. Сей метод изобрели не наши органы, а те, Фонтанные. Довольно двух недель и — жуткие глаза, прострация, движенья лунатические, а показания-то бессознательные, как будто головою сунули в огромную подушку, перьевую, душную, не продохнешь... Находишь и другой «смягчающий мотив». Ты сначала полагал, что никакого «дела» нет, а есть «ошибка», и надо с властью объясниться, и неча перед партией финтить, ты не в гестапо... Потом смекнешь: как раз в гестапо, а то и хуже. Ну, хорошо, мотивы ты находишь; успокоенья не находишь. И медлишь, медлишь ехать на Кузнецкий.

Опасения Бурцева двоились.

Он опасался обнаружить свои ошибки, свои напраслины в обвинениях людей подполья. Вот так, как приключилось с Беллой, застрелившимся боевиком Беллой. Это было незалежно.

Другое... Как не понять его подспудные страданья? Соменья, подозрения, тревоги, возникшие давно — в дни эгического странствования с Лоттой. С мадам Бюлье. В Италии... В Россию Лотта не писала; он не давал ей адрес ни в Монастырское, ни в Москву, ни в Петербург. Все было пережито и изжито, отошло, ушло, развеялось. И ладно бы, такое,

кто ж не знает, случается не так уж редко. Но подозрения, сомнения, как ни странно, внезапно прожигали душу каким-то жгучим токсическим воздействием. Он дорого бы дал за то, чтоб ухватить за жабры правду, глубоководную и склизкую. Теперь возможность достоверно установить сотрудничество Лотты, почти всю жизнь любимой, единственной, других любовей не было, установить ее сотрудничество с департаментом полиции, возможность эта была на расстоянии локтя. И Бурцев медлил. Он нервничал ужасно, что выдавала и походка, нынче чрезмерно «чаплинская», и эта холодность, и отчужденность от пушкинистов с их академическими перспективами.

---

Итак, в сыском вертепе увидел Бурцев уникальнейшую депутацию: племянник Достоевского, сын Островского, засим явились Пыпин, потом племянник Чернышевского, за ним и Коплан.

О Пыпине я коротко, поскольку с Пыпиным я не был короток. Жил на Фонтанке, стена в стену с важным учреждением заготовления существенных бумаг. Да-да, в той Экспедиции, где подвизался еще до ссылки в Монастырское отличный малый Сережка Нюберг — он нашего Иосифа изобразил Иудой... Жил Пыпин на Фонтанке, служил на Марининской площади, в министерстве земледелия. И там, представьте, встречался с Лениным.

Теперь о Коплане. Борис Иванович — мой предшественник в историко-литературных разысканиях. Я виноват пред ним.

Арестовали Коплана в тридцатом. ОГПУ соорудило «заговор» Платонова, историка и монархиста высокой пробы. Тяжеловес-чекист Мосевич его однажды и поддел: да как, мол, вы-то сотрудничали с Копланом, евреем? Академик махнул рукой: какой еврей? Да он в стихаре на клиросе читает!..

Цитировал, признаться, не без задней мысли: не все чекисты из «жидов»; приятно также сознавать, что даже акаде-

мик заодно с народом имеет внутреннее отторжение от малого народа.

Мне кто-то говорил, что Коплан получил пять лет. Лагерных. Нет, сослан был в Симбирск. Потом вернулся он домой, в дом Пушкинский. Но горе-то-злосчастье о нем не забывало. В военную годину, когда мы отступали, чекисты «наступали» рьяно. Поклеп иуды-сослуживца, и Коплан заблокирован в тюрьме, как город заблокирован врагом. В тюрьме он умер голодной смертью. От голода скончалась и жена... Не раз я с горьким сожаленьем думал о Борисе Ивановиче. И книжку написал на тему, им, как говорится, поднятую. Но Коплану ее не посвятил. Струсил а-ля чекистского вопроса: да что же это вы хотите именем еврея повесть запятнать?! Тень его чую смущенной душой. Прости меня, Борис Иванович Коплан, так хорошо, проникновенно на клиросе читавший.

Сейчас вот спохватился! Про Островского, сына Островского, не знаю. А племянники — и Достоевский, и Пыпин, как и Коплан, в Крестах сиживали. И тоже в начале 30-х. Но тогда еще случалось отделяться административной ссылкой.

---

Архив департамента полиции помещался во дворе, за шефским особняком, в доме о два этажа. Одна часть называлась «старой»: дела Третьего отделения, то есть «пушкинские», декабристские, и те, что особенно интересовали племянника Достоевского, — соотносящиеся с мечтательным социализмом, еще слава Богу, не развившимся до степени научного, именно поэтому, надо полагать, и прельстившего петрашевцев, в том числе и дядюшку. Все эти документальные материалы, поместившись в огромных застекленных шкафах красного дерева, участили дыхание команды академика Котляревского.

Бурцев, конечно, не остался равнодушным к огромным шкафам. Вспомнилась келья, записки Бобрищева-Пушкина в

монастыре на Енисее; коротенькое воспоминание представило его мысленному взору туруханского исправника Кибирова. Тот сказал В. Л. на прощание — знали бы вы, какие я имел инструкции на ваш счет... Именно здесь, в фонтанном архиве, старые «инструкции» продолжили нестарые «инструкции». В их единении явственно возникал феномен: русская тайная полиция. Другим феноменом была русская литература. Зломыслие и благомыслие противостояли. Понятное дело, комиссия Котляревского порешила не медля начинать перемещение архива с Фонтанки на Васильевский остров.

Но такова уж местность — не могло обойтись без «прятоку», без «неожиданностей». Бурцеву привиделся исправник; мне — костелян Михайловского замка, майор Брызгалов, а следом Федор Достоевский. И это потому, что напоследок и, уверяю вас, случайно, в некоем узком, сумрачном закутке я задержал глаза на «бывшей» двери, заложенной темно-бурым кирпичом. Ага, вот тут-то и был вход в подвал, где начинался (или кончался) тоннель, прорытый, пробитый, проложенный под водами Фонтанки. И, стало быть... О да, конечно, из Михайловского замка оказался Достоевский в кордегардии. И прозвенела шпора, задела угол сабля, мелькнула замечательная бакенбарда... Об этом я и написал, предположив мираж падучей... не то, не так. Архивы отменяют доммысел и держат вымысел на поводке реальности.

Я миновал дворы и экипажные сараи, своды, дровяники, жильё вахтеров и курьеров — все понастроили впритык, вприслон, как и в лубянском «комплексе». И вышел не к Фонтанке, а к церкви. Луну почти на четверть зачернила колокольня. Здесь улица Пантелеймоновская еще не опозорена модерном. А я, козел, не раз уж подсударил модернистам.

---

Решенье пушкинистов утвердил Керенский.

Крытые фургоны, запряженные в дышло воронежскими

битюгами, возили кладь с Фонтанки на Васильевский, оставляя на мостовой изжелта-серую пену. Торцы пузырились смолой, пропиткой, Петербург был взмыленный. На Университетской набережной мелко трезвонил трамвай 22-го маршрута.

Передислокация архива длилась недели две, она совпала с невским ледоломом. Единственная дисгармония, которая приятна. К тому ж сквозь этот скрежет мне ветер приносил шаги Эдгара По. И память губ уж ощущала вкус текилы, лимона, соли — след «Бегемота», где, кроме нас, был Байрон; ему, однако, претил наш разговор о динозавре.

Подробности необходимы.

Дом Пушкинский тогда бездомным был. Ему презентовала Академия наук два зала в Главном здании. И потолки высокие, и окна на Неву. Увы, ужасно тесно. А становилось все тесней: туда свозили ящики с Фонтанки. И складывали кладь среди шкафов и шкафчиков, среди секретеров и бюро, полок, письменных столов. Их громоздили друг на друга. Тем самым словно стены возводили. И получался лабиринт в перегородах. Ах, пустяки. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Но... Но тихо, тихо, не слышен ли сквозь невский ледолом доисторический, в чашобах — костолом? Ведь в этой конференц-зале... Он громаден, скелетице враз вымиравших динозавров. Ваш автор вместе с По ошибся лишь в одном и этим снова выдал свой либерализм. Нет, не диплодок-тираннозавр. На длинном плоском постаменте, под брюхом у него шести-подпорки, он черепом, чудовищно зубастым, воткнулся в стену и протянулся, словно мост, чрез залу, и хвост толстенный опустил на плинтус у другой стены. Хребет вздымался плавно, срединные отростки достигали потолка.

Тираннозавр внедрил в эту залу до войны. Теперь он был весьма уместен в кубометрах Департамента спецслужбы. Хотя бы потому, что схожи прием, повадка, непреходящее обыкновение: тираннозавры тоже нападали из засады. Кус мяса вырвав, глотали, не жуя. Бурцев молвил: «Тут и эгида, тут и планида».

А вам и мне известно, что дети тому лет десять или пятнадцать вдруг возлюбили плотоядных исполинов. Вы скажете: по наущению Спилберга. Отвечаю: внук мой Саша начал до того, как появилась лента «Парк Юрского периода». И он, дошкольник, не слушал, не читал курс палеонтологии. Сидел он в комнатухе под самой крышей (общей с Малым оперным театром) и рисовал, неудержимо рисовал гигантских ящуров. Он слышал, как дрожит земля сырая и гулом отвечает даль. Болота колыхались, и медленно качались вровень с пятым этажом хвои да папоротники. И поднимались с лежбища, куда-то шли, всей тяжестью, тони в двадцать—тридцать, ступая на задние конечности, передние же несколько сгибая, как бульдоги, все эти разнопородные и толстомясые, с длинной пастью и долгими зубами, все в чешуе, в накладках роговых, в шипах, а Саша рисовал и рисовал — карандашом, пером и акварелью. Как странно возвращенье мифов. Они всплывают из донных отложений безъязыкости. О да, согласен, гиганты имеют назначением являться нам от времени до времени, чтоб воскресало мифотворчество. Но отчего ж детей привлек тираннозавр? Не потому ли, что родителей и пра— прельщал диктатор?

Но кости натуральные и черепа — мертвы. Они не будят мысль о воскрешении. Тем паче о клонировании. Однако ситуация решительно переменилась. Трудолюбивые китайцы нашли их яйца.

Ох, Боже мой, совсем не тот пассаж, который нараспев орал в дворах и в подворотнях: «Во саду ли, в огороде / Поймали китайца. / Положили на кровать, / Вырезали яйца...» Не-ет, пассаж иной. Яйца динозавров, как некогда пасхальные из шоколада в витринах петербургских магазинов Жоржа Бормана, они, представьте, пятнадцать сантиметров в поперечнике.

Теперь вообразите. Всю кладку разложили в ящиках с песком. Вверх тупым концом. Да и высиживают органами ки-

гайской безопасности. Торопиться нечего, в запасе вечность. Ан вдруг доносится: тюк-тюк-тюк... Вылупились! Глазенками, в которых плавает еще утробный мрак, луп-луп. Рот разевают, а там уже зубов полно. И не молочных, не молочных. Страшно?! О, наплодят и наклонируют. И всей армадой, вопреки всем договорам, прихлынут на амурский берег.

Согласен, страшно. Но я вас успокою.

Скрывать тут нечего: яиц мы раньше не имели. Попадались только скорлупа. Тьфу. Недавно вот нашли! И именно в Амурской области. И, значит, высидим мы тоже и тоже под надзором патриотов из спецслужб. Теперь уже и я, как прежде внук мой Саша, слышу: дрожит земля сырая, и гулом отвечает даль. Такая уж эгида, такая уж планида.

Повтором афоризма Бурцева замкну глубокомысленный, таинственный сюжет.

Тираннозавр, поросший мягкой, как фланель, академического пылью, навис над пушкинистами и над В. Л. Но исполин уж примелькался. К тому же Бурцев непривычен мыслить символами. А что до мифов, то им владеет лишь один: Свобода. Но это только потому, что он Свободу не считает мифом.

В курганах, в навозных кучах, в скопищах он выудил случайно пухлую тетрадь «проследок». Информацию «наружки» (ср. «гаишник», «кэгэбешник» — извечность непочтительности, неуважения: они, на мой взгляд, незаслуженны). Да, пухлая тетрадь. Распухнешь, коль Бурцева годами держала под прицелом полиция и русская, и французская.

Агента-русака определить не так-то трудно. Не по роже, а по одежке. Он непременно носит черный котелок. И неизменно, даже в ясный день, не расстается с черным зонтиком внушительных размеров. А называли-то его пренебрежительно, с оттенком сожаления: «подметка». В том смысле, что сколько ж надобно обувки для тех робят, которые гранят панели денно-нощно.

А вот французы...

Полковник из политического управления армией и флота напал, я помню, на академика Тарле. Тот написал: с присущим, мол, французам блеском и т. д. Полкаш и твякнул, как Полкан: так, значит, русским блеск-то не присущ?!

Присущ, присущ, но здесь я о французах к месту. Агента, шпика из «наружки» — как называют? Да-да, филёр. Фил — нитка. А ниткой продолжается иголка. «Иголка» есть «объект», намеченный к «проследке». Раз так, куда «иголка», туда и «нитка», то бишь филёр. Недурно. И образно, и тишина. А звучно — сикофанг. Профессионал-доносчик, но давным-давно, у эллинов-язычников.

Какие, к черту, сикофанты! Подметкам-филерам приказывал начальник: вы Бурцева сопровождают вмертвую. (На филерском жаргоне: не спускайте глаз.) Он к ним испытывал неоднозвучность чувств. (Напомню: близорукий, а на шпику — приметлив.) Иной раз шибко шел да вдруг и стопорил, шпик, налетев с разгону, слышал шпик: «Дурак, иди иным путем!». Другого хватя, бывало, за рукав: «Замерз, прохвост?». Хвост хлопал носом и получал — в зависимости от географии — «на чай» или «на кофе». А то, случалось, Бурцев задавал вопрос о смысле жизни. И слышал: «Детей кормить-то надо». В. Л., хоть и бездетный, не оспаривал.

Теперь, под динозавром, читал заметы полицейских хроникеров. Они отметили и встречи с узниками Шлиссельбурга. Казалось бы, все амнистированы, не так ли? Но ведь в России и амнистированный зек — персоне нежелательная; точнее, вовсе не персоне. Записано подробно его свидание с Лопатиным, из шлиссельбуржцев — шлиссельбуржец; Бурцев улыбнулся: они, включая и «подметок», боялись старика. Тот мог зарезать языком или тяжелой тростью смазать по сусалам... Давно пора уж навестить Лопатина; давно пора пойти на Карповку, позор и стыд: Лопатина не видел... Ага, вот «Океанию» уходит в океан из Шербурга, а пассажиром на борту В. Л., и

это девятьсот девятый. К «своим» морям — Каспийскому, Северному, Балтийскому — прибавь Атлантику. В Штатах — в Нью-Йорке, в Бостоне, Чикаго — он рассказал американцам о русском департаменте полиции, о русских провокаторах, была и пьеса под названием «Азеф». И что же? И публика, и журналисты скучали, черт их подери. Очки прекрасные — и толстые, и роговые; одежде сноса нет, походка черт не брат, а братья во Христе, те сами о себе пусть помышляют. Хотя их жаль, да что же делать, ежели народ ужасно терпелив, а спину разгибает разве что в громах погромов. Само собой, еврейских... Опять уж Бурцев на улице Сен-Жака, и заграничная окранка нанимает заграничных же филеров. Как вовремя! В. Л. «имеет план» вернуться и выполнить свой долг пред родиной: показать и доказать в судоворенье, кто правит бал в России... Из этой точки он, В. Л., здесь, под эгидой динозавра, тянул цепочку впечатлений к «этапному порядку», к Енисею, к Монастырскому селу... Но мысль и взор прикованы к архивным связкам.

День ото дня В. Л. мрачнел. Что так? Его намеренье сутобо личное. Состоянье странное. Он намерен обнаружить хоть что-нибудь о Лотте, о мадам Бюлье. И этого страшится. Нет ни на гран сравнения с испытанным не только мною, а многими — желанием узнать, кто «твой» стукач, и нежеланьем узнавать об этом, внушая самому себе: э, пустое! есть сроки давности... Но тут-то многолетняя любовь. И прочная, и ровная, без ревности, мучительных и унижительных «проследок»... Тут подозрения совсем иного свойства... Не знаю, как вы посмотрите на разыскания В. Л. Не мазохизм ли? Иль, может быть, желанье опровергнуть наветы Фигнер — В. Л. ужасно черный человек, лишашающий всех нас доверия друг к другу.

Он приходил «под динозавра» не каждый день, но через день, уж это точно. Искал. Не находил. И, кажется, не огорчался оттого, что в дни переезда, как ни старались, а многое все ж спуталось, переместилось, и предстоит нелегкая и дол-

гая раскладка. И точно, сколько ж было здесь и переписок, и агентурных донесений, и докладных записок, и «для памяти», инструкций, циркуляров, а сверх того и документов партийных съездов, конференций, газет, листовок, перлюстраций... дыхания не хватает перечислить одни лишь папки с типографским заголовком: «К руководству». Ведь не одна губерния писала, а все губернии писали. И каждая внимала помпадуру: докладывайте каждодневно обо всем; проникайте всюду, будьте везде и нигде. И помните, что я не умею быть неблагодарным.

Когда с тобой так обращаются, поверьте, служить и жить приятно. Особенно в Европе. А позже и в Америке. В той корпорации, не очень многочисленной, что называлась Заграничной агентурой. По-нашему сказать, разведкой внешней. В сравнении с внутреннею меньше чурбаков и дуроломов. Условия обитания сказывались: во фрунте не вытягивались; свое суждение имели; имели и возможность наниматься в спецбюро, нисколько не зависимые от государственной полиции. Ну, скажем, парижское Битгар-Монэ. В любое из подобных учреждений — поставщиков двора или дворов, что на Фонтанке или Пантелеймоновской.

Бурцева, само собой, интересуется г-н Рачковский. О нем уж речь была в связи и с Лоттой, и сидением В. Л. в английской каторжной тюрьме. Увы, мы не расстались с ним; он, хитромудрый, причастен и к созданию, и к распространению бестселлера; ваш автор это держит на уме и тоже вроде бы хитрит. Но простодушно. «Под динозавром» ищет наш В. Л. — Рачковского и Дурново. А пишущему эти строки, покамест суть да дело, охота фигурировать фигурами, но нет, не фигурантами и не всегда статистами.

Вот, скажем, статный плотный Полт, британец. Он «держал в проследке» Герцена. Не уступал, пожалуй, Филби. Иль превосходил. Ведь знаменитый совразведчик не был лауреатом в соревнованиях на бильярде — клуб respectableный в Лондоне. А плотный Полт им был. И это ли не фарт в шпион-

стве?.. Иль взять Жозефа, суров и деловит, размах шагов сажженный. Он в Берне получал корреспонденцию на сутки раньше, чем адресаты-эмигранты. Он выяснил, кто именно прикончил в Петербурге шефа жандармов Мезенцева. А сверх того установил, где именно живет Засулич. Ее и нынче бурный государственный зовет мерзавкой... Сдается, хорошо б для ФСБ нам учредить медаль с изображением Жозефа. Но только нет, не в профиль. А то отменный галльский нос возьмет да примет за жидовский кубанский губернатор, такой он беложавый, смазливенький, коммунист из главных. Такой он умный, такой он провицательный, что и Зоценко с Ахматовой считает сионистами.

А «странствующий наблюдатель» г-н Легравж? Отменные манеры, богатенький турист, его ужасно привлекают «настроенья» эмигрантов. И за сие бедняге нагло пригрозили: послушайте, мсье, у русских есть обыкновение бить палкою по роже... Но эдак, разумеется, мужланы. Европейец награждается «Почетным легионом»... Прозаик Чехов бывал не только в Ялте, но и на Ривьере. Ужасно удивился, узнав, что наш агент в курортной Ницце имеет аж семьсот помесечно. Полагаю, больше. То был штаб-офицер из Корпуса жандармов, сероглазый, как король, добрый малый Меран виль де Сент-Клер... Дамы давали фору мужескому полу. Всякий раз, когда в душе сверкает женоненавистник, вспоминаю парижский политический салон. Сперва прочел N. N. — архивное: «Весь шпионаж устраивала какая-то высокопородная дама, проживавшая в Париже». Угадал не сразу. Ан все же распознал. ба! княгиня Трубецкая. И верно, держала политический салон, всегда отличнейшая хаза: болтун — находка для шпиона. Какие люди, какие ситуации! Испечь бы детективы. Конечно, надо и прилгнуть. Но лгут ведь и министры, имеющие, как цирковые петухи, разряд бойцовский — «силовики».

Они «силовики», а у меня нет сил. Дай Бог, мне уяснить, что ищет Бурцев «под знаком динозавра». Положим, попадет-

ся 709-е. То дело, которое помог мне обнаружить архивист, добрейший Лев Григорьевич. Пусть даже и расписка Лотты в получении и содержания в триста франков, и четырех тысяч франков «за оказание услуг в попытках задержанья и ареста Бурцева».

Что из того? Она сама ему об этом говорила. Но Дурново, тогдашний папа департамента полиции, сделал стойку: «Не играет ли Бурцев с Ш. Бюлье комедию с какой-либо целью?».

Цель была. Была ль комедия?

---

Архивны пушкинисты разошлись. Достоевский отправился к Ленину. Бурцев остался один. Тираннозавр от времени до времени скрипел. Точь-в-точь как дверь на сквозняке: я зя-я-ябну-у-у. Внизу, на набережной, искрила трамвайная дуга — и голубые мыши бежали по хребту скелета. Порывы ветра, как в баскетболе, бросали в зал блик фонарей — тираннозавр и шурился, и щерился.

Совсем иной была читальня Пушкинского дома, когда уж он имел свой дом. Та небольшая комната гляделась окнами на Малую Неву. Трамвай не бегал, было тихо. Буксир «Народоволец» доживал свой век у моста. В читальном зале княжила седая дама. И этот несказанный свет, и красота, и смысл, и благородство рукописей.

А тут, вот в этом зале? Меня давно воротит от рукописных фондов департамента полиции. Какая скудость мыслей. Какая нищета соображений. Рутинное и вялое злодейство. Хожденье по пятам. Шпион, как вошь или, по слову Пушкина, как буква ять, — пролезет там, где и не ждешь. Когда-то я спешил нырнуть в секреты политической полиции. Теперь они мне кажутся скучнее скучного... я нынче удалился бы вслед пушкинистам. Пошел бы с Копланом к его невесте, дочери Шахматова; академик живет при Главном здании. Напросился б в гости к сыну величайшего из драматургов, хотя сей сын и ка-

---

мергер, и, кажется, набит под воротник прожектами в отношении государства, которого уж нет. Всего охотнее я увязался бы за Достоевским — он к Ленину пошел. Но мне нельзя оставить Бурцева.

Он погружен в дознание, что называется, «по факту». Минуло тридцать лет, как на Гончарной был убит Судейкин, подполковник, инспектор полиции, принявший облик Иисуса. Давно. Уж сын его, Сергей, художник, знаменит и в дружестве с Ахматовой. Давно. Зачем же Бурцев углублен в былье? Ведь суть да и подробности ему известны: уже прочел В. Л. «Глухую пору листопада» Ю. Давыдова. А видите ли, контрапункты провокаций звучат в его душе в соотношениях с Лоттой, мадам Бюлье. И все короче дистанция до самоприговора.

Как холодно, однако, в зале. И как ужасен этот динозавр. В углах как будто бы шевеленья, шепот, шорох. Скорее вон! Огни, трамвай, тяжелая и черная река. Дышать, само собой, вольготнее, чем там, в том зале, где штабелями ящики архива. И все ж владеет Бурцевым тревога, ожидание мрачное.

Оно мне внятно. Я знать не знал, что ордер на арест уж подписали генералы, что опер, докурив свой «Беломор», с минуты на минуту — в путь; не знал и знать не мог. Однако первобытно иль космически опасность ощущал. И в двух шагах от дома, куда я возвращался, сказал без всяких сантиментов, но и не беспечно, а как-то очень, очень строго сказал «прощай» уютной лампе в чужом окне...

В. Л. же мог оказаться дома, входя в подъездик иль с Невского или с Гончарной. (Не лучше ль было б вместо «или») поставить «или» и этим указать на близость к Достоевскому?) Да, волен был с проспекта, волен был и с улицы, где — мне так запомнилось — услышишь поздним вечером тяжелое движение паровозов... В. Л. шел по Гончарной. Безотчетно ль? И да, и нет. Он только что прочел в дознаниях, что Дегаев нанимал в Гончарной квартиру о три комнаты, и там-то заварилась каша встречных провокаций, и перепрела в гноищах, и брыз-

нула разбитой черепной коробкой... Все так. Но лишь сейчас, на лестничной площадке, в слабом озарении и сладковатом запахе от керосинового фонаря, сейчас только и ударило ему в виски, ударило по темени — не случайность найма тринадцатой квартиры, не совпадение, а назначение. Да, именно здесь он, черный человек, признать обязан пересмотру не подлежащее. Ты, Бурцев, изболититель разномастных азефов, враг и концепций, и практики провокаций, ты, уже будучи тридцатилетним, пытался с помощью Шарлотты Бюлье переиграть заграничную агентуру русской полиции. Да, ты рисковал и высылкой в пределы отечества, ты сидел в каторжной Пентенвильской, проклятые чулки, ты потому и сидел, что она передала твои письма из Лондона, передала их г-ну Рачковскому, и теперь уж не поймешь, ты ли запутал Лотту, она ли переиграла тебя, теперь уж ничего не поймешь, не разберешь, кроме одного: черный ты человек, права Фигнер, права, черный ты человек. И высветлить тебя нечем и некому. Но видит Бог, ты любил Лотту. Однако, видит Бог, ты ее разлюбил, ты уехал, не объяснившись с ней. И самое чудовищное, как тираннозавр в зале: ты ни-че-го не объяснил, ни в чем не по-ка-ял-ся. Что так? А то, что ты и нынче, сейчас, здесь, у дверей тринадцатой, ты как бы втайне от самого себя полагаешь, что все же следовало рискнуть, следовало жертвовать и не следует не признавать необходимость жертв и жертвенности. Во имя! Во имя! Шорох был али старческий шепоток: «Кто тут?». Бурцев онемел. Опять не понял — шелест был: «Ишь, какой!» али: «Ужо тебе...»?

В. Л. нелепо перебрал ногами и не вошел в квартиру. Тут отдаленнейшее сходство с моим испуганным отказом от номера Есенина. Ночь напролет В. Л. слонялся в Николаевском вокзале. Хотел куда-то ехать, не мог решить, куда. А рассвело — с квартиры съехал. Остановился в Балабинской гостинице; он жил там в пятом и шестом году. Из окна был виден чугунно-конный Александр Третий. Паоло Трубецкой не даст

соврать: моделью послужил швейцар из «Европейской».

Ну-ну, далековато я убрел с Гончарной. Чад керосина меня тревожил, как будто набирал я 0-1. Я тускло-тускло сознавал намек в промене современно-жесткого союза «или» на ватность устаревшего союза «а л ю». И как-то ненароком разжевал, в чем смысл сей промены.

А это, видите ли, был намек: послушайте-ка, жалкий сочинитель, полноге манить читателя — вы сами, будто бы нечаяно, обронили, что мой племянник, сложив бумаги под тираннозавром, отправился во глубину Васильевского острова — намерен повидаться с Лениным. Не так ли?

---

Он угадал мое лукавство в построении сюжета. Нетрудный, право, труд. Я ж уловил ход мыслей Федора Михайловича. Вплodyм не каждому.

Ха, вы скажете, раз имя Ленина, так и выходит, что русский гений вернулся к размышлениям о бесах, пейзах и мур-молках. Шаблон. Школярство.

Ха, никто из вас не вдумался в эпитаф к «Бесам», в цитату из Евангелия. Да, бесы входят в свиноматки. А свиньи чьи? На Святой земле евреи не развили свиноводство, они свинину не едали; к тому ж свинья обозначала бездуховность. Свиной держали поселенцы греки... Потомки их... Конфессия... Но — стоп! Молчу! Не то обидно, что прирежут, а то обидно, что убийц-то не отыщут. Да и искать не станут. Достоевский подтвердит: убийц его отца взаправду не искали. Прибавлю: а Ленина убили — и тоже не производили следствия.

Но оба случая нисколько не случайность. Яснее ясного: убийцы — русские крестьяне, мужики; любил наш гений богоносцев. Со дней Михайловского замка он возвращался мыслью к убийству своего отца то ль на проселочной дороге, то ль во дворе. Мокруха совершилась, как говорится, в состоянии аффекта. Да ведь аффект-то был осмысленный, как и само

бесовство, сатанинство... Так и убийство Ленина?

Не лишены, конечно, интереса домашние свиданья Достоевского и Ленина, свидания, не скрою, родственные. Но убийство, убийство Ленина ведь это же не «интерес», а преступление богоносца.

Пусть Достоевский на влажном ветре ждет четверки. Пусть Троцкий—Слуцкий настырно предлагают все виды строительных работ, а Клейн и Кельх так ласково сулят асфальт, бетон, канализацию... О Господи, нет ничего глупее, как вывески читать и перечитывать, злясь на отсутствие трамвая.

Четверка, я свидетель, ходила редко. Охота ей спешить-то на конечную, к воротам кладбища? И потому сподручно на несколько абзацев покинуть линии Васильевского острова. Да и принять иную линию — во глубину России.

---

Событие, о котором речь, происходило в Пошехонье. Как ни бравился Салтыков-Щедрин, как ни смеялся Ленин, читая Щедрина, но Пошехонье с пошехонцами ему свои. И Вологодчина не чужда. Там в родовых живали Ленины. Служилые дворяне, созидатели России. Статские, армейские и флотские. Примером всем был Ленин, штабс-капитан. По одолении Наполеонтия, из дальнего похода воротясь, он прожил в тамошнем краю лет шестьдесят.

Деревня, где наш Ленин не скучал, звалась Красная. (Однажды слышал: не деревня, а Красное село. Могу и ошибаться.) Почтовый тракт стелился близко. А лес вставал — рукой подать. В лесу держался северянин-кедр. Дуб и орешник в рост не шли: тепла недоставало. Угрюмость ельников? Поддакнул бы, но звездочки кислицы, подобные снежинками, веселили взор. Ревел ли зверь в глухом лесу? У, недаром герб с медведем! Медведь здесь володал не великан, готов удостоверить, меньше, нежели Топтыгин с серебряным подносом в прихожей «Англетера». (См. выше.) Зимую на дорогу и к амбарам с

своей волчиною голодной являлся волк.

Ленин, о котором речь, меньшую братию по голове не бил. Охотничье ружье годами висело на стене. А потому уж лучше наблюдать пернатых. Милы и вороватые красавцы шурки, и щеголь зяблик, и скворцы, интеллигентные чистюли. Однако птахам — час, а время — пашне.

Я верю ленинской оценке: земли Пошехонья — в Нечерноземье лучшие. А льну привольно по влажным долам, на пологих скатах. Жаль, мужики ослабли, уж слишком долго длилось потребление дешевой водки. А потребление сверх меры отчего? Все оттого, что долго был невнятен мужику смысл поземельных отношений. И все же вы, Михал Евграфыч, вы перегнули палку. Конечно, звук «Пошехонье» — сумрачен; звук «пошехонец», увы, немелодичен. И все же... Был Ленин патриотом малой родины. Ярославца-мужика не чувствовал, как леденец на белой палочке. И не сочувствовал ему сентиментально. Нет, не считал обломом. Напротив, отмечал и расторопность, и живость практицизма, и то, что мы определяем ёмко: «сна все руки». По вкусу был и говор; назывался суздальским. Открою тайну Ленина, известную лишь домочадцам. Служебно проживая в Петербурге, имел обыкновение раз в месяц предаваться чаепитию в трактире на 14-й линии. Кто знает Васин остров, возможно, помнит и трактир «Москва»; держал Никитин, Федор Никитич процветал — имел настольный телефон аж фирмы «Эриксон и К». А половыми были ярославцы.

«Москва» не исключение. Рядились ярославцы и в торговые сидельцы, и в артельщики. Их нанимали без долгих слов. К Никитину ходили многие островитяне. Но Ленин-то — особь статья. Его там половые называли «наш». Он там был весь внимание — ах, говор суздальский. (Присущий, перешепнусь я с вами, не только ярославцам, но и владимирским, и костромским.)

В «Москве» случалось огорчаться: многоязычный Питер порчу наводил на родниковый суздальский. И ничего уж не

попишешь. Он в городе служил, он в городе детей учил, а жить хотелось в Пошехонье. Не байбаком-сурком, он нужный был работник.

Его приездов из столицы ждали. Он знал в хозяйстве толк, давал советы мужикам. К тому ж супруга держала и аптеку, и лечебницу. Как и в «Москве», так и в Красном его заглазно звали «наш», в глаза — не барином, Сергеем Николаичем. И грустили, когда Ленин за неделю до Симеона-летопроводца, за неделю до сентября поднимался всем семейством в путь-дорогу. Питер-то Питер, да ведь все бока вытер. Сидел бы Николаич в своем Красном.

Судьба, видать, прислушалась: ведь это ж глас народа. А тут вот в аккурат исполнилась давнишняя угроза: быть Петербургу пусту. Царя прогнали — воцарился голод. Катит зима в глаза. Что делать нам в деревне? Пишут: озимь хороша. А яровище поспеши вспахать. И Ленин всем семейством отъехал в Пошехонье. Так поступали и другие, кто только мог не околеть, меняя город на дедовские гнезда. Но Ленин, повторяю, — особь статья. Во-первых, мужики не разорили его дом. А во-вторых, вы это оцените, они его и трудовым наделом наделили. Живи, товарищ Ленин. Трудись, друг Николаич, бо кто не трудится — не яст.

И было посему.

Вдруг молния упала на березу. Вы скажете, что молонья не тронет березняк? Я тоже думал так. Да вот ее, которая за палисадом ленинского дома, разбило, расщепило, а беложавую кору до комля сорвало и разбросало. Случилось это в канун арестов... А липы зацвели. Цвели, благоухали, но лошади не фыркали, что предвещало бы теплынь, ан нет, всхрапнули, и это значило, идет-шывет ненастье.

Стараясь обогнать ненастье, он спозаранку был в лугах. Косил, косил, зимовье будет долгое. Детей-то шестеро. Тринадцать старшей, поскребышу — четыре годика. Коса косила. Но дома он в порог косу не вделал, как поступают воло-

годские соседи, чтоб пришлый злыдень-то не подкосырил. И все сошло — береза, молнией разбитая; всхрап лошади; и пришлый злыдень.

О, человек с ружьем! Приехали не то каратели из ЧОНа, не то чекисты из района. Но кто бы ни были, а были «из народа». Тотчас же притрусил и деревенский детектив; его талантом из зерна в счет продрозверстки проистекал отменный самогон. Сбежались мужики. В защиту Ленина не шевельнули пальцем.

Он усмехнулся и сошел с веранды: высокий, как преображенец первой роты. Красивый, как многие на Ярославщине. Детей благословил он твердо, — чтоб слушались и маму берегли... И этот рост, вся стать, невозмутимость, плач детей, и эта девочка, весь день косившая в лугах, и дрожь бровей его жены, «сестрицы милосердной», и это вот безгласное мужицкое сочувствие, э, несознательность, э, темнота, — все обозлило исполнительную власть. Заторопились, брякая винтовками. Схватили кулака, схватили и попа, чтоб получилась связка вражьих сил. Ну, и вперед, заре навстречу.

Эк, сволочь-барин, притворялся Лениным! Вредил здесь тихой сапой! А был бы в Пошехонье наш Ильич, никто не пикнул бы, чтоб продрозверстку заменили продналогом, а каждый двор кричал бы спозаранку вместе с петухами: да здравствует Совет народных комиссаров!.. А этот самозванец, посмевавший Лениным назваться... Они плечами передернули и передернули затворами... Общинная закваска — все трое в одного, и без промашки — в грудь... В чапъжники сбежало эхо. Телегу унесло за поворот. Осела пыль. Болотце при дороге истомно пахло илом и осокой. Да, конь храпит к ненастью: садилось солнце в тучи. И слышно было: кум-кум-кум — болотные жерляночки как будто б в колокольчики звонят, но звук не звонок, ведь у лягушек колокольчик оловянный.

Кум-кум-кум.

Услышав «кум», любой из зеков вспомнит уполномоченных от МГБ в ГУЛАГе. И хорошо, что этот звук умолк, сменившись отрубистым и грубым звоном, — шел трамвай четвертый номер. Но беспризорный еще не пел: «А в трамвае който помер...» Весной Семнадцатого года на острове не появлялись беспризорные. А Ленин еще жив, пришел из министерства к себе домой. И Достоевский, улыбнувшись, сел в вагон — желает наведаться он к Лениным.

Надеюсь, вы давно определили: предложен вам роман посредственный. Так классик (не Честертон ли?) определяет сочинения, сочинитель коих самим собою занят больше, чем своими персонажами. Но ведь лирические отступления еще дозволены?

Так вот, и я жил на Острове, где жили Ленины. Жил и Андрей Андреич Достоевский. И многие достойные сограждане.

---

После войны причалил я к общаге флотской академии. (Она носила имя Ворошилова, поскольку первый маршал не отличал весла от паруса.)

В предлинном коридоре мне подарили прекрасное жилье. Пол плиточный, как в бане или сортире. Окно задраено досками, как в полуподвале. Стол, два стула. Койка пела: «Умер, бедняга, в больнице военной...» Фанерный гардероб был прост, как правда. Она тебе известна, Галя. В таких шкапах у вас на Охте, за наименьшем домовин, везли на кладбище блокадных мертвецов.

Соседом в коридоре мне оказался каплейт Донцов, Панкрат Иллиодорович. Чин небольшой, на слух — приятно: капитан-лейтенант. Тут щегольство особое. Но мой Донцов совсем не то. Шинелишка обтрепана, обтрепан китель; нательного белья две пары и пара полотенец вафельных. Говорили: Донцов давно уволен, списан, выведен за штат. Но комендант

не прогонял жильца. Его хранила офицерская собранность. Вот срок приспел. Не пьет, не спит. Смолит он «Краснофлотские» — давали тридцать пачек в месяц. Пишет, чертит, логарифмической линейке, готовальне пощады нет. И курсовые, и дипломные во власти гения Донцова. Просчетов нет, и нет помазок, рука не дрогнет, голова ясна. А гонорар он пересчитывать не станет. Уйдет в запой, и поминай как звали.

Знавал ли он любовь на нашем Острове? Ни боже мой. А я влюблялся дважды. И оба раза чрезвычайно пылко... Был ветер острый и солнце острое, а сушь сентября, ну, будто и не в невской дельте. Она мне чудилась летящей по волнам. Фигура мифологии на корабельных рострах, высокая и сильная. Каштановые волосы легки и коротки, а простенькое платьице энергией движения и ветра облепливало грудь, живот и ляжки, как будто девушка вдруг вышла из морской волны. Я ринулся вослед, как обезглавленный петух. Само собою, был смешон. Но дело-то в другом. Я дурно танцевал и получил отставку.

Меня избавила от всех страданий глазастая плечистая и нежная — ах, Валя, Валентина В. Она была замужней. И знаете ли, что я вам скажу: напоминала бурцевскую Лотту. Однако в полицейском смысле подозрений никогда не вызывала. Напротив, однажды шепотом и словно бы самой себя пугаясь, а мне выказывая высший знак доверия, Валя-Валентина рассказала: ей снился сон — шла похоронная процессия, но трубы не рыдали, все были веселы, она спросила: «Кого хоронят?» — ей отвечали: «Власть советскую!». Она проснулась радостно: отец был в лагере и вот теперь вернется... А он, отец, он, беспартийный, русский, землеустроитель, статья не воровская, он был уж мертв... А мы, живые, от немца уцелевшие, мы, молодые и влюбленные, гуляли близ Николаевского моста. Там отдыхали пароходы, и острый запах антрацита был приятен — при динозаврах так не пахло. Но Вале-Валентине он напоминал о вечной неисправности котельной их ветхого

жилого дома в Соловьевском переулке. И мы шли дальше. День поглощал дома, дымы, ширь вод и много неба. Там обитали облака всех мыслимых конфигураций и открывалась нагота немислимых оттенков. Работал ветер разных направлений. Потоки света перемещались на просторе. А в узкостях играли тени. Так возникали панорамы. И даже Валя-Валентина испытывала поэтическое вдохновение. Говорю: «даже» — как я ни бился, она не отличала Ахматову от Лебедева-Кумача.

Прощались мы в том скверике, что называется Румянцевским. Недавно этот скверик неонацисты осквернили. Уверен, клейкие листочки скукожатся и обесклеятся. А нам, послевоенным, они достались вживе, как и обильно-пышная сирень. И мы, томясь, сплетая пальцы, прикинув друг ко другу плотнее магдебургских полушарий, мы слышали их свежий, честный, чистый запах.

Сгоряча я, право бы, на ней женился. Она вздыхала и отводила томный взор. Я огорчился: она предпочитала синицу журавлю. Синица была в штанах с лампасами. Но... Кто знает, глядишь, и бросила б синицу, когда бы журавля не схавал черный ворон... Она мне писем не писала. Она ко мне не приезжала, как Лотта к Бурцеву. Но я уж был не тот. Я понимал: со мной знакомство не медаль; и мужа, хоть и генерал, а по головке не погладят, коль скоро все у нас в ответе: мужья за жен, а жены за мужей. Теперь готов признать: хорошую бабенку рука отечества спасла от никудышнейшего семьянина.

---

Да это и понятно: в загсе ведь не аналой, а канцелярский стол. Подлинные разнарядки на супружества изготовляют в горних высях. Рай украшают кучи родословных. Они есть признак сбережения семейщины, всего порядка быта. А бытие, известно, в руке Божьей.

А на земле генеалогия, как щит, — не позволяет самозванцам примазаться к дворянству, что нынче уж и неопасно, и

даже, кажется, почетно. Другая грань: генеалогия — немой укор пренебрежению родовыми связями. И вместе тихая отрада в восстановлении сих связей. Да, тихая, философическая, как избавление от одиночества, как сопричастность ручьям и рекам, напоющим (устар.) вселенную. Однако в наш нудин век генеалогию определили в арсенал борьбы за диктатуру пролетария и за союз его с ослабшим мужиком. Как тут не вспомнишь Картавцова? Все разыскания Ильи Михальча изъяли; и разыскателя изъяли. По родословиям искали-находили врагов народа. Но вы скажите, зачем же было генеалога лет 30 мочалить в лагерях и ссылках?

Он был не питерский — московский. И дожил век, спасибо, Сталина уж в мавзолее снесли, век дожил на Арбате, тот дом уже снесли, напротив ресторана «Прага». Да, в коммуналке. Что из того? По коммуналкам днес тоскует старичье, давным-давно заполучившее отдельные квартиры. Окно Ильи Михайлович завешивал, струился сумрак — красноватый от лампадок.

Объятия он не распахивал; был сух, немногословен. Но ежели к тебе расположился — симпатичней поищи. Однажды даже весел был. И похохатывал, и ерничал, живейше рассуждая о трудовых свершениях собрата — издал в двух экземплярах ехидную книжконку; название она имела завлекательное: «Дворянские шалости». Какие, спросите? Отвечу: постельные. Перечень всех, кого дворяне-шалуны произвели внебрачно.

Полагаю, перечень неполный. Откуда, например, узнать, кого прелюбодей штаб-лекарь Достоевский в деревне обрюхатил? И как же во святом крещеньи нарекли младенцев? Сын за отца, само собою, не ответчик; он незаконных передал романам. А вживе не искал. Стыдился иль ленился? А впрочем, и к законным навстречу не бежал. Дистанция необходима; враги-то человеку домашние его.

Племянник же Андрей Андреич, сейчас доставленный трамваем к Ленину, родством не похвалялся. Он дядю чтил, а

Льва Толстого перечитывал. Однако на могиле дяди в Александро-Невской лавре бывал в положенные дни, уж на родительскую всенепременно. (В Лавре тогда кого только не встретишь, все и раскланиваются, будто свойственники.) А к дядиной внучатой двоюродной племяннице (так, что ли?), к своей любимой из племянниц Андрей Андреевич приходил еженедельно.

Опять охота покалякать о насельниках Васильевского острова. Достоевский от Лениных жил неподалеку — в 9-й линии, дом 39. Потому и помню, что этажом-то ниже квартировал недолгий мой начальник, подполковник С-ков, приказная строка. А самым старым жильцом был патрон Достоевского, аристократически-барственный, изысканно-вежливый человек с весьма редкостными в наших краях именем-отчеством, фамилией: Петр Петрович Семенов. Но в награду за научные подвиги, в первую очередь географические, получил он добавление к своей фамилии уникальное, в миру единственное: Тянь-Шанский. (Я, кажется, об этом уже говорил?) Он долго держал под крылом Андрея Андреевича в Императорском географическом обществе. А дома, на Васильевском, занимая этаж, Тянь-Шанский расположил собрание полотен старых голландцев. Прислушайся, услышишь, как под килем шуршит песок, скрип блоков при уборке парусов и тяжкую натугу жерновов, весомый запах рома над бочонками и грузный шаг матроса... Достоевский любил старых голландцев. И жалел постаревшего Петра Петровича. Настолько постаревшего, что поспешил он передать свою редкостную коллекцию, ценную на родине старых голландцев, в Эрмитаж. Пере-дать, а не продать. Такие, видите ли, люди жили на Васильевском. Не выкинешь из песни Варгунина и Емельянова. О них мне вспоминается в ассоциации со старыми голландцами. Один был на 6-й, другой был на 7-й; держали оба магазины с вывеской: «Паруса и корабельные принадлежности». У гимназистов глаза горели: кто не читал тогда романов капитана Мариетта?

Прибавлю о Семенове-Тян-Шанском. Петра Петровича жизнь все же обделила. Ни разу он, естествоиспытатель, не испытал хотя бы краткое, реальное присутствие Сатаны, то бишь Князя Мрака... Нет, речь здесь не о бесах, о Сатане здесь речь... И Достоевском, каковой служил, согласно штату, в министерстве просвещения и выслужил на Чернышевской площади чин генеральский, то есть действительного статского советника, что я, кажись, отметил выше. Прибавлю лишь одно: сей статский генерал мне больше по сердцу, чем тот, общепармейский генерал-майор, муж Вали-Валентины, которого она не променяла на меня, хотя ведь каждый знает, что флотский кок ровня полковнику... Но Боже мой, какие пустяки. Сам удивляюсь, как можно так забалтываться, коль речь зашла о Князе Тьмы.

Для ясности мне надо указать — Географическое общество имело помещение от министерства просвещения. Заседания происходили в зале окнами в Театральный переулок. А рядом с залом — буфет. В буфете вечно кипящий огромный самовар. Точь-в-точь как и на Витебском вокзале. Чрезвычайно важный, как фельдмаршал. Уж после катастрофы я с ним, изрядно потускневшим, раскланивался в швейцарской, но Общество имело пребывание в Демидовом. Ну-с, отошла Отечественная, зашел взглянуть... тю-тю, нет самовара... Опять же пустяки! Кружу по сторонам? Пожалуй, так мистический мой дар, видать, утрачен еще в яслях. А Достоевский, Бенуа и Мережковский... Ну, и довольно, хватит. Вперед, моя история... В зале заседаний был длинный-длинный стол, сукно зеленое. На стенах — географические карты, нет лучше, чем они, абстрактной живописи. А поодаль, в углу мольберт с большим черным квадратом. Не копия Малевича, а школьная доска, врагinya школяров, подруга мела. Да вот и все, пожалуй.

Из заседанья в заседанье «мой» Достоевский не чувствовал космических лучей. И вдруг однажды он заметил две острых точки. То ль окончания клыков, то ль окончания ро-

гов. Одновременно с Достоевским эти точки заметили и Бенау, и Мережковский... Однако всем известно, что ни художник, ни писатель к собранию географов не примыкали. Да? Вся штука в том, что в этом зале происходили «сретенья» другого Общества: религиозно-философского. Уточнение совершенно не романное, но автору необходимое без всякой надобности... Так вот они все трое сблизились. И заглянули в угол за мольбертом с аспидной доской. Не то чтоб ужас их объял — встряхнул как электрический разряд. Там помешалось гигантское чудовище!

Бенау, художнику, оно представилось фрагментом Страшного суда. А Достоевскому ну, вроде двойника тираннозавра. Но тот, что в Академии наук, составлен был лишь из костей. А этот был покрыт густейшей черной шерстью. И пасть с клыками вся в крови. Тираннозавр имел глазницы, а этот — глаза, глазищи выгаращил — блеск гильотинного ножа, но не бессмысленные, нет... Мережковский пригладил бороду и, криво ухмыльнувшись, объявил не без торжественности: «Да это ж он! Разумеется, о н! Надо было ожидать! Дождались, господа!» И руки потирал при виде Сатаны... Трамвай четвертый номер проследовал к проспекту. Стал слышен дальний шум авто, и шварканье метлы, и шарканье подошв, и всхлипы водосточных труб. Но Достоевский находился вне минуты. В трамвае, будто беспричинно, он вспомнил жуть от Князя Тьмы, злорадство Мережковского над всеми и над самим собой: «Дождались, господа!».

Давно Андрей Андреич знал, что идола нашли в Монголии и привезли в подарок Обществу. Зная, вспоминал, и только. И при виде тираннозавра тоже не вспомнил... А нынче, в вагоне, с тираннозавром, вроде бы объединился идол, совместился, и Достоевский понял: сегодня все это сделалось реальностью. И Мережковский, пригладив бороду, повтором выдохнул: «Да это ж он!».

Андрей Андреич звонил в квартиру Ленина.

Обыкновенные посещения одиннадцатого дома на 12-й линии действительный статский советник Достоевский предпринимал не столько ради тайного советника Ленина (чином выше, равня генерал-лейтенанту), служившего по министерству земледелия, сколько ради своей племянницы Сашеньки и ее деток.

Вот жизнь долгая: сорок три года при трех царях; пятьдесят четыре — при трех генсеках. А сейчас какой-то невнятный антракт, публика говорит, говорит, говорит, а иные между тем припасают консервы и топленое масло.

Александрю Михайловну, урожденную Достоевскую, причисляю к коренным васильеостровским. Она здесь, на 9-й, курс гимназии закончила. Двое из ее учителей наводят на мысли, так сказать, сторонние. Французскому учила мадам Ачкасова. Думаю: а не Васеньки ли Ачкасова бабушка? Красавцем помнится, будто с яхты «Штандарт» старший офицер, он мне строго-доверительно рассказывал, как в первые дни войны, когда у тов. Сталина темнело в глазах от черного страха, решил генсек утопить Балтийский флот... А чистописанию и рисованию учил в гимназии г-н Ладинский. Думаю: не родственник ли эмигранта, исторического писателя? Антонин Петрович воротился в наши палестины, когда тов. Сталин, не утопив Балтийский флот, скончался. Жаль, недолго прожил... Как — кто? Ладинский, конечно... О прочих учителях не знаю. Вот разве что гимназический врач, милейшая Любовь Александровна, впоследствии приватно пользовала детей Ленина.

Было их, повторяю, шестеро. Но все народились после того, как Сашенька не только аттестат зрелости получила. Внешне ничего от нигилистки не наблюдалось, а жажда-то знания обнаруживалась, как у них. Стало быть, отправляйся, милая, на другой берег Невы, ступай по Гороховой, по той стороне, где градоначальство, никуда не сворачивай — вот они: женские педагогические курсы. Историко-филологическое отделение? Правильно! Случилась мужу командировка в Па-

риж, что-то там происходило по сельхозчасти, Александра Михайловна в Сорбонне лекции по литературе слушала. Жаль, не встретила с Бурцевым; все-то у вашего автора петелька в петельку, зубчик в зубчик, а тут, нате-ка, осечка. Право, жаль... А Сашеньке опять же и Сорбонны мало. Она в Петербурге еще и курсы сестер милосердия не поленилась закончить.

Дети пошли поздние. Первенькая, Ольгой назвали, родилась, когда отцу было сорок шесть; матери — тридцать два. «Главный» Достоевский, полагаю, вряд ли неприязненно косился бы на внучатую племянницу. Что же до Андрея Андреевича, скажу еще раз — души не чаял в Сашеньке. Даже и красавицей находил. На этом я настаивать не стал бы. И на том не стал бы, будто древность рода сказывалась, а родословие ее батюшки корнями-то чуть не в Рюрика упиралось. Как не было в Сашеньке нигилистичьих черт, так и ничего «сверхпородистого» не усматривалось. Миловидная, таких на Васильевском острове немало. Волосы темно-русые на пробор, недлинные, мягкие, вот-вот распушатся; рот крупный, спокойный; в характере редкостное сочетание: основательность и рукодельная быстрота.

Вы бы на Андрея Андреевича поглядели! Ведь он — что? Придет, выпьет чаю, закусит — и в кресла. Кто-нибудь из ребяташек принесет спицы, шерсть. И действительный статский, окруженный малыми ребятами, что-то им рассказывая, при этом проглатывая «р», вяжет, вяжет, вяжет некое бесконечное и невразумительное шерстяное изделие. Он знал, что над ним втихомолку посмеиваются; от времени до времени объяснял благодушно: привычка такая от батюшки досталась, а батюшка эдакой методой в полном, стало быть, спокойствии обдумывал вечерами дальнейшие свои проекты украшения земли русской. (Младший брат «главного» Достоевского был гражданским инженером, архитектором; одно время служил в Ярославле; с Лениными знакомство-то ярославское.)

Свой в доме Ленина, он, Достоевский, к отцу фамилии,

выражаясь автогенно-сварочной прозой, душой не прикипел. Не потому, что Сергей Николаевич глядел на Андрея Андреевича сверху вниз; иначе и не мог — верста коломенская. И не потому, что голос у него был толстый, черствый, названный Андреем Андреевичем «нерихонским»; ну, дал Бог такие голосовые связки, не Михайловский оперный, и баста. И не потому, конечно, что Ленин родился за год до освобождения крестьян, а он, Достоевский, двумя годами позже. И не потому, наконец, что Сашенькин супруг был ума недалёкого. Напротив, умный человек, умный. И красноречивый. Так в чем же дело-то? Смушал и раздражал апломб. Не уверенность, а самоуверенность, пограничная с высокомерием. Смущала «истина в последней инстанции», резкость суждений, неприятие чужого мнения, даже и осторожного. Не одобрял Достоевский и ленинской «разбросанности». Полагал, человек и семи пядей во лбу не может равномерно-энергически действовать в нескольких направлениях. А тайный советник, видите ли, действовал и в качестве члена совета министра земледелия, и ученого совета там же, на Марининской площади, и члена ужасно важного, но, правда, временного совета, наблюдающего за народным здравием; и товарища (то бишь зама) председателя комитета по делам кожевенной промышленности, а сверх всего и председателя Общества женского сельскохозяйственного образования.

Не «прикипев» душой к Ленину, Достоевский нынешнее свое посещение успел определить как «экстраординарное» и почти исключавшее общение с детками, с мельканьем вязальных спиц. Необычность его визита имела объяснение. Первопричиною был Бурцев.

Владимир Львович, находясь в конференц-зале «под тиранозавром», вдруг, словно на митинге, разразился гневной филиппикой. Слушателями были и он, Достоевский, и Островский, и Пыпин, и молоденький Коплан. Клинышек бороды у Бурцева прыгал, он слюною пробрызгивал, похож был (мелькнуло Дос-

тоевскому) на Василия Васильевича Розанова, ногой бы еще дрыгал да в бороду к седине рыжину подпустить... Причиной бурцевской филиппики было возвращение Ленина из эмиграции, торжественная встреча на Финляндском вокзале, какие-то шествия, оркестры, броневики, какие-то речи с балкона... Испытывая, очевидно, гнет тираннозавра, Бурцев имел такое выражение козлоподобного лица, будто слышал и трясение сырой земли, и дальний жуткий гул. В душе Достоевского все это отозвалось явлением Князя Тьмы в зале Географического общества, каковой Князь совместился с динозавром, покрытым мягкой, точно фланель, академической пылью.

Вот Андрей Андреевич и появился к Сергею Николаевичу, совершенно сбитый с толку не самим по себе большевистским закоперщиком, а тем, что этот несомненный немецкий шпион был Лениным.

Испытываю некоторую стесненность дыхания. Не оттого, что собеседники затворились в домашнем кабинете Сергея Николаевича. Ничего секретного. Но квартира, хоть и большая, да ведь шестеро, один другого младше — шумы, шорохи, гром кутерьмы. Затворили двери, тишина. А дыхание стесняет постылая необходимость в объясняющем господине. Поэты, сукины дети, чем темнее срифмуют, чем дольше фонарь не зажигают, тем значительней. А несчастный прозаик вечно озабочен «понятностью». А читатель, такой же сукин сын, как и поэты, на него поплеывает: отсталый, дескать, сочинитель, не ему тираж, а его в тираж.

Кабинетный разговор сведуща в абзац. Предваряю лишь одним наблюдением. Ленин, тайный советник, говорил о Ленине-большевике решительно в другой тональности, нежели бурный Бурцев. Но и не в той, в которой Достоевский — *opcle*<sup>\*</sup> живописал бесов. Карикатуры — полагал Ленин. Карикатуры *on call*<sup>\*\*</sup>.

\* Дядя, дядюшка (фр.).

\*\* До востребования (англ.).

В конце концов не мог же он, Сергей Николаевич Ленин, видевший людей насквозь, оказать дружески-либеральную услугу какому-нибудь прохвосту?

Теперь с проселков беру напрямик.

Вьдъ на Неву, к Шлиссельбургскому тракту. Садись в вагон паровичка; он здесь, за Невской заставой, бегаёт, попрыкивая, вместо трамвая. И — до Смоленской школы. Вечерняя, пролетарская, предваряющая ликбез. Увидишь серьёзную-пре-серьёзную, неулыбчивую, совершенно материалистическую Надежду Константиновну... То есть как это — какую?! Крупская она, понимаете, Крупская! А это вот Ольга Николаевна, словно бы луч света в темном царстве. Тоже учителька. И, между прочим, родная сестра Сергея Николаевича, тогда ещё не тайного советника, потому что все мною упомянутые пребывают покамест на пороге столетия — этого, нынешнего, издыхающего. Вот от училок-то и получился Ленин.

Конспирация требовала ксивы. Надежда Константиновна попросила Ольгу Николаевну. Та обратилась к брату Сергею Николаичу, то есть нынешнему тайному советнику, затворившемуся в кабинете с действительным статским Достоевским. Либерально не обирающий помещик, недолго думая, взял папенькин паспорт. Папенька, Николай Егорыч, на заслуженном в пошехонской деревне, минувшее крепостное право хвалит, дочь проклинает — такой уж он жуткий противник женского образования. А паспорт старику без нужды. Разве что на похороны, но и так отпоют. Короче, пасс Ленина достиг Ульянова. Он уже отбыл ссылку, он уже собирался за границу. А там, в Лейпциге... Люблю топонимику, она многозначительна. Там, в Лейпциге, на ул. Гримма, в погребке Ауэрбахова подворья хитрющий Мефистофель чудо сотворил: из дыр в столешницах ударил ток вина, а доктор Фауст ездил на бочке с пивом... Но правду молвить, не вижу сатанинства. Другое дело — спроворить «Искру». К тому ж не где-нибудь, а именно на Руссенштрассе! Один из винопиёц бурчал: «Все было

тут обман, предательство и ложь». Все было так, коль рассуждать о Мефистофеле. Да ведь каков масштаб? Ведь броневик серьезней бочки с пивом.

---

Дельце-то в смысле повальной паспортизации страны обыкновенное. А эффект?! Не догнать Мефистофелю, не перегнуть. Всемирный эффект, эпохально-исторический. Ну, а недавно ученая конференция состоялась: «Ленин как знак чуткости космоса» — тут и вовсе в моей голове бедной черт палкой помешал.

Скверную о н штуку со мной удрал. Жил бы, как все. Поднялся утром, спел на слова Ошанина, музыку Туликова: «Ленин в тебе и во мне» — и целый день свободен.

Так нет, за Достоевским увязался, не в погребок Ауэрбаха попал, а на 12-ю линию, в одиннадцатый дом. Случайность? Да. Только вот, позвольте заметить, не приключайся случайности, и вся история, все историйки оказались бы сплошь мистичными. Это и Блок понимал: нас-де подстерегает случай... Любопытно, однако, именно случайностью, о которой толкую, и воспользовался нечистый со своей палкой-мешалкой. Сисподу, как в горшке с кашей, да и по краям помешивал.

А результат? Не каждый, господа, признается, а я-то, автор, я ведь бабки подбиваю. Понимаете ли, от времени до времени пребываю не то чтобы попросту в зеркальной комнате смеха, нет, в комнате смеха сквозь слезы. Положение горестное, комическое, раздвоенное, мягущееся. То, знаете ли, статный резко-нелицеприятный либерал Ленин выскочит, то косяглазый, плешатый, крепенький в кепочке ручку протягивает: «Ленин». Так вот, чтобы не путать вас, я впредь этого, в кепочке, называть буду: Не-Ленин. Вроде «де» — это вот «не». А то, что он впредь встретится, — это уж обещаю. Призовут в ЧеКа, белый станет, как плат.

Всего мучительней различать Ленина и Не-Ленина. Слы-

шу поют: «Ленин всегда живой, / Ленин всегда с тобой». Дак я ж знаю, его мужики в Пошехонье еще в Девятнадцатом убили. Стало быть, петь-то надо: «Не-Ленин всегда живой, / Не-Ленин всегда с тобой». Или такая ситуация. Поспал немножко и опять взглянул в окошко, а с платформы говорят: «Это город Ленинград». Не до шуток. Ежели переименовали, то отчего же псевдонимом нарекли, ложным именем? А ежели заменили тайным советником, пусть и женатым на родственнице Достоевского, то истинный Ленин, надо полагать, трижды в гробу перевернулся... Опять же гробницу взять. Что же ее называть Мавзолеем Не-Ленина, что ли? И тут уж несусветная путаница, сатанинство какое-то. Отдельного разговора требует.

Великую тайну открыл мне Толик-алкоголик. Мы во дворе сидели, это я уж в Москве жил. Двор тихий, старушечий, грачи прилетели. Пух ложился порошей на радость ребятам-поджигателям; под тополем, за дощатым столиком известного назначения — а) для доминошников; «Рыба!» б) и — «третьим будешь?». Третий, однако, был бы лишним, потому что Толик... Пока с рельсов не сошел, комсоргом в каком-то цехе подвизался, спился и вот, видишь ли, шляпу зеленую (велюровую) ни при какой погоде не снимает... Рассказывал после первой. Был серьезен, даже мрачен, не хухры-мухры, а дело, какого в Белокаменной, может, со времен Лжедмитрия не происходило.

Толик служил тогда в Кремлевском полку. Когда — тогда? Если к рассказу и точно: в октябре шестьдесят первого. И как раз в той роте, из которой отрядили солдат копать у Мавзолея яму.

Приказ командира, говорит Толик, — закон для подчиненного. Копаем, прожектор включили. Уже, значит, темно. С Красной площади гул накатывает. Стихает, опять накатывает. Техника к параду тренируется. А здесь парад начинается. Со Спасской точно кувалдой: бо-ом! Наше дело телячье, а вдруг и страшно. А пробило, точно помню, полдесятого. Выкопали

ямину. Теперь что же? Велят таскать плиты. Железобетонные. Размером сто на семьдесят пять. Натаскали десять штук, восемь в могилу сплошняком уместилось. Две, выходит, застря волокли. Тоже мне начальнички, ведь — арифметика. Потому еще хуже, смех: гвозди, понимаешь... Принимать парад приходит Шверник с комиссией. Шверника помнишь? Я-то его: ну, вот как тебя, за рукав мог потянуть. Стоит Шверник, словно в воду опущенный, и эта комиссия тоже... Вот вы здесь все: «Толик», «Толик», а Толик та-а-кую майну-виру видел, не приснится. Своими глазами видел! Ста-ли-на из мавзолейного саркофага вынули и в гроб положили. Красный. Обыкновенный. Не кольхнул, окостенел. Полковник подходит, отчекрывает от мундира пуговицы. Ножницы, вишь, не забыли, а гвозди... Как ножницы-то забыть, если все, как одна, пуговицы золотые! Не шелохнул. Лицо целое. Но «будто спит», не скажешь; одно слово: мертвец. Его темной материей накрыли по грудь. Положили на гроб крышку. Хват, а гвозди-то где? Чем крышку-то забивать, а? Туда-сюда. Полковники сами себя по карманам сдуру хлопают, а который из хозотдела — кинулся куда-то... Такое, понимаешь, мероприятие, а этот хозотдел, мать его... Мы стоим, на лопаты оперлись и стоим. А Шверник плачет. Старенький, жалко его. Из-за этих гвоздей вскрипывает: парад испортили. Ну, принесли, забили крышку. Старшие офицеры — на плечи и к могиле. Минуту-другую отстояли. Никто ни слова. Да, забыл сказать: родственников никаких... Минуту-другую. И опустили, так, знаешь, медленно, осторожно, а потом и велят — закапывай. Двое, трое из офицеров по горсти земли бросили, а Шверник-то не бросил, забоялся, наверное, нет, не бросил... А тут-то из комиссии этой и донеслось... Я ж рядом, вот как ты... Донеслось, значит: «Совсем осиротел Ленину» — «Ты что, ничего не знаешь?» — «А что?» — «А то, что да-авно уж подменили Ульянова, Владимира Ильи-

\* Шверник Н. М. (1888–1970) — государственный и партийный деятель.

ча Ульянова давно подменили: бальзамированию не поддавался. А тогда и привезли Ленина. Откуда — врать не буду. Не знаю, да и не спрашивал. А с этим, привезенным, бальзамирование удалось».

У Толика в горле пересохло. Думается, от волнения. Послышалось бульканье. Вы не замечали, какое это бульканье? Точь-в-точь иволга. Не замечали... А Толику я во всем поверил. Про золотые пуговицы не придумаешь. И плячущего большевика тоже. А забытые гвозди и вовсе... Вдуматься: очень по-нашенски, какой бы хозотдел ни был. Декабристов вешали — за веревкой в лавку бегали. Это все — ладно. У меня подме-на на уме! Ульянова, оказывается, куда-то увезли. Может, туда, откуда Ленина привезли, — в Пошехонье. Тут бы, конечно, экспертизой решить. Обошлось бы дешевле, чем с останками Романовых. Маску снять с мавзолейной мумии да и с меркурьевской соразмерить. То-то и был бы научный эксперимент... Объяснить не могу, но едва на сей счет помыслию, снова и снова как бы в лейпцигском погребке Ауэрбаха, туда же и тираннозавр, что в конференц-зале, и этот идол из другой залы. И уж совершенно неуместно Ленин с Достоевским, они же в доме на 12-й линии. То есть это не то чтобы неуместно, а как раз очень хорошо, потому что ночь-то январская, подмосковная, лютая. И ветер оказывает гильотинное действие. Вам приходилось на дрезине? Когда она с бешеной скоростью вспарывает январскую ночь с ее лютым морозом... Люди в кожанках, в тулупах, в родном полувоенном... Сутробы, сани-розвальни, двор, печальным снегом заметенный, дом, издали вроде голицынского Дома творчества, но ближе — нет, не очень-то похож, совсем барский, и это Дом в Горках. А в доме мало огня, полумрак углы и мебель съел, все неотчетливо, чьи-то быстрые твердые шаги, слышно, чекист докладывает в телефон: «Меркуров приехал»\*.

\* Меркуров С. Д. (1881—1952) — скульптор.

Он работать приехал — посмертную маску снимать. Он ничего не забыл, как эти-то, из кремлевского хозотдела, гвозди, нет, все свое привез с собою: гипс, стеариновую смазь, клубок суровых ниток. И принялся... Не скажешь — «за работу», «за дело». А так надо сказать, как сам мастер сознавал: должен я передать векам черты Ильича. Всю голову старался захватить. А голова у мертвого, знаю, голова у мертвого имеет какую-то особую, ни с чем не сравнимую весомость, как ни с чем не сравнимый смертный холод, когда губами коснешься лба... Меркуров и маску снял, и слепки обеих рук, правая была судорожно сжата в кулак... А в дверях, на светлом, освещенном была резко очерченная черная фигура; недвижная, казалось, бездыханная, не вздрогнула, не шевельнулась — Мария Ильинична неотрывно смотрела на умершего брата. «Усопший» — тогда еще можно было услышать «усопший», «на смертном одре»...

Маски тиражировали, Каменев списочек составил, родственники получили, заглавные большевики, ЦеКа, ЭмКа; все под номерами, товарищ Сталин, вот уж когда Каменев, вражина, выказался, товарищ Сталин — десятый номер. Вы это можете вообразить? Десятый! Ну, ладно родственники, да и то сказать, почему это Крупская за первым номером? Ну, хорошо, она, собственно, паспорт на имя Ленина раздобыла, а все ж почему первый номер? И впереди товарища Сталина не только Кржижановский, Дзержинский, Куйбышев, а и Цюрупя... Комплект-то уцелел ли? Понятья не имею. А вот кулак — правый, судорожно сжатый — кулак разглядывал на аукционе. За пять миллионов шел. Однако вопрошаю: он чей, кулак-то? Ленина или Не-Ленина?.. А еще и венки есть. Рукоделие флористов. Я знаю, где припрятаны. И укажу, как только мумию отправят в Питер. Впрочем, понадобятся ли венки? Вопрос труднейший, как с царскими останками. Но последними ведь озабочена наука. А здесь, здесь глас Толика, который алкоголик, и посему он требует доверья. А Толик указал: была

промена, была замена; кого-то, дескать, умыкнули в неизвестном направлении; кого-то привезли невесть откуда. Ну-с, пусть гадают за хребтом тысячелетья.

---

Пьют чай!

Не-Ленина уже весь Питер кличет Лениным. Его под динозавром проклял Бурцев. Племянник Достоевского пересказал филиппику Сергею Николаевичу. Что Ленин? И ухом не повел. Ульянова встречал на рубеже столетия — вполне приличный человек. Похож на прасола, но ничего от беса. Э, дорогой Андрей Андреич, не так уж страшен Ульянов-младший, как нам его малюет Бурцев.

Пьют чай!

В Стокгольме, на вокзал в последнюю минуту примчался вдруг какой-то господин из русских. Подбросил шляпу и закричал приветствие Не-Ленину. Тот котелочек приподнял. Оратор продолжал: «Смотри-ка, дорогой, не понаделай в Петрограде гадостей!».

Пьют чай!

Всех обласкай, укрой, перекрести — укладывала деток Сашенька. Ей на роду написано и мужа вскоре потерять, и трех генсеков вытерпеть. А прежде заложить в ломбарде, что на Мойке, и эти ложечки, и подстаканники, и сахарницу, и щипцы — все, все из серебра.

Пьют чай!

Внимая Ленину, не слышит Достоевский ясновидца Мережковского.

Наверное, и вы уж призабыли, как длинным бледным пальцем Мережковский указал на Идола, на Князя Тьмы, на Сатану — в углу, за грифельной доской: «Дождались. Это — он!».

---

Дождались. Он приехал!

---

Торнео, пожалуйста, не путайте с Борнео. На острове Борнео ни снега и ни семги, а также ни единой вейки. В Торнео при реке Торнео снега, снега, хоть на дворе уже апрель. А веек, финских бысролетных санок, как в Питере на маслену. И пахнет семгой крепкого посола. Любой бы прасол оценил. А ежели с мороза да под рюмку водки, то восхитился бы не только прасол. Извольте, буфетец при таможене есть.

Недавно, за чаепитьем, Ленин вскользь отметил, что у Неленина в разрезе глаз, на скулах — азиатский след. Похож-де он на прасола, купающего рыбу в низовьях Волги. Чего же эти скулы внезапно раскраснелись на станции Торнео? Причиною не семга, пускай и крупного посола — нет, пароксизм гнева.

В таможене, в веселой сутолоке людей, проехавших благополучно по вражеской Германии, не утонувших на пароме «Drottning Viktoria», отдохнувших в стокгольмском отеле «Regina», получивших в русском консульстве пособие в шведских кронах, да, сейчас, в Торнео, на первой станции Российской империи, в этой толкотне и шуме Ульянов вперился в газету «Правда» — и процедил: «Иуда... Расстрелять...» Цедил он шепотом, но вещее пропело петухом.

Пора! Уж водокачка напоила паровоз. Уселись на фонарь локомотива крылатые слова: «иуда», «расстрелять». Ударил пар, как из ноздрей циклопа, и обозначились в снегу проплешины — и влажные, и нежные.

Все сущее троично. За триста крон — билеты в третий класс, и три десятка, включая и вождя, располагаются в вагоне. Свисток потемки полоснул по вертикали. Железный лязг взбурлил горизонтально. И началось движение по прямой. Но революции, как и геометрии, необходимо вдохновенье. И пассажиры в третьем классе поют, как санюлоты, надевшие не только длинные штаны, но и пенсне; имея сверх того бородки-клинышки и котелки; поют: «Все пойдет, все пойдет, все наладится, пойдет...» А поезд от похоти воет и злится — хотится, хотится, хотится...

Чего-то больно долго ехали до Белоострова. Сдается, сутки. А там опушка есть, вся заросла смородиной и очень крупной, и очень черной: вот память детства. А вот и память историческая. Не-Ленина встречали сестрорецкие рабочие, почетный караул, соратники из Петербурга.

Пред ним «на караул» взял человек с ружьем, оркестр грянул встречный марш. И самолюбию щекотно, и ощущение прибавки веса. Он козырнул. Но не по-русски, а по-французски: вывернув ладонь. Не для того ль, чтоб были зримы все линии судьбы? Но шаг истории не в этом. Он в том, что на перроне сам тов. Сталин.

---

Жив курилка!

Курейку он оставил в минувшем декабре. Его, как многих политических, призвали под знамена, которые клонила долу немчура. Как жаль мне Лиду! Ее, широкозадую, и мальчика-младенца покинул без гроша тов. Джугашвили-Сталин.

Призванные и вместе званые съезжались в Монастырское. Казна обула и одела — оленьи сапоги, оленьи шубы. Провожало народонаселение. Известный вам Кибиров (не поэт — исправник) брал под козырек — взвейтесь, соколы, орлами. И дарил почтовые открытки, цвет яркий, текст тоже: «Развернись, богатырь, во всю мощь, во всю ширь!». В лошажьих гривах трепетали, как на свадьбе, ленты. Все розвальни претолсто устилало сено, оленьи шкуры, одеяла. И побежали, побежали ледяной дорогой вверх по Енисею. В станках ждала подстава и горячий харч.

В губернском городе, в натопленных казармах, вблизи Великого железного пути, все жили ожиданием отправки на Великую войну. Не сразу, нет, после ученья. Тяжело в учении — легко в бою. А пуля, что там говорить, конечно, дура. А штык, конечно, молодец. Да вот в чем незадача: тов. Сталин-Джугашвили ни дуры не желал, ни молодца. И получил... Гм, полу-

чил недельный отпуск. С ним вместе — не в заслон ли? — и другой из беков. Фамилия — от моря и до моря: Иванов. И что же? Иванов, не сомневайтесь, вернулся в срок. А Джугашвили-Сталин... Он принципом не поступился и сочинил одну или две антивоенные листовки. На Мало-Качинской. В домушке с русской печью был лаз в курятник, оттуда — ко двору соседа. Куда как славно воевать с войной в курятнике. Особенно в те дни, когда всех новобранцев берет в ежовы рукавицы стрелковый полк.

Ту-ту, поехали славяне воевать. Лицо ж кавказское по своему хотению, по щучьему велению, переметнулось из Красноярска верст за двести, в Ачинск — с десятков каменных строений, под тыщу — деревянных, и речки подо льдом блестят. Он, право, учинил бы стачки на салотопном и кожевенном, а также на кирпичном. Но... но предпочел нишкнуть. Ну, словно дезертир. Или безусловно?

В тишайшем Ачинске вдруг грянул фарт: режим антинародный пал. Вперед, заре навстречу. Он сел в экспресс. В Питер! В Питер! Там сменим ксиву, ищи-ка ветра в поле. Но это оказалось без нужды. Взопшла зря свободы.

---

И вот уж Белоостров. По-фински Валксаари. Как хорошо и скромно пахнет мокрым камнем, туманом, влажною землей. Там, помню, продавали крупную пречерную смородину. Сейчас черны смазные сапоги. А фонари враскачку. Они светло пятнают папахи, кепки, бескозырки, медь оркестра. Слова, слова, слова. И снова путь. А там и пересадка из третьеклассного вагона на первоклассный броневик.

От Белоострова до Питера аж два часа? Тут дело не в числе довольно частых остановок. На фонаре у паровоза сидят и не слезают крылатые слова «туда», «расстрелять». И паровоз споспешествует неспешным мыслям человека с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата. Он в купе

Не-Ленина, но очень ему лестно, что он в купе у Ленина. Конечно, не один, как позже на скамейке в Горках, нет, в купе, а все ж в купе у Ленина. Ладони плотно на коленях. Весь внимание. Но скрытно раздражен: жидов-то понаехало, жидов. Все заграничники, ни дать, ни взять контрабандисты. В швейцариях едали сыр швейцарский и пили юфий, а мы тут гибли в каторгах.

Вам наплевать на мнение мое, но все ж скажу, что мне тов. Сталин интересен ничуть не меньше, чем баснописцу Михалкову.

---

Но Ильичу, наверное, не очень: он не позвал чудесного грузина к Елизаровым.

Уж это после броневика «Враг Капитала»; так окрестил машину боевую экономист с ружьем. И после встречных говорений в особняке Кшесинской. О, беломраморная зала, и зеркала огромных окон, и мебели в шелках, и пальмы рослые, и грот в игре проточных вод. Увы, все это не занимало Ильича. Нет, братцы, красота мир не спасет; оставьте-ка и эту слабую надежду. Громадную энергию развил Ильич в особняке Кшесинской; он знал, что простота бывает хуже воровства, да ведь и собственность, известно, кража; всего же поразительней, так это гипногический повтор одних и тех же слов.

Предполагал, что он, тоскующий по русским пролетариям (ну, разумеется, сознательным), на этом самом «Капитале», ревя мотором, ринется туда, на Выборгскую. Ан, нет, подался он в глубь Петроградской стороны.

Есть там, вам, может, и известно, старинная Широкая. Неподалеку, словно бы аккордом, Крестовский, Каменный, Елагин; на Стрелке наблюдаешь фатальные закаты. А на Широкой есть модерн в шесть этажей, там лифт, а лестничные марши, не беспокойтесь, учитывают гробопроносимость, ужасно грубый, но и донельзя прагматичный термин. А глав-

ное, напрасно рьяный Маяковский ронял презрительно: «Вам, имеющим ванну и теплый клозет...». У свояка все это было. И очень, батенька, прекрасно. Довольно нам, задрав штаны, бежать на двор. Гм, гм, идиотизм деревенской жизни...

Но свояк, рожденный в заволжском «идиотизме», одолел курс гимназический, засим университетский. Глубокие математические способности ему дарила мать-природа; стремленья к социальным переменам — подпольный круг. Теперь, когда у него поселилась родня, приехавшая из Швейцарии, Марк Тимофеевич Елизаров ворочал делами Пароходного общества «Волга»<sup>\*</sup>.

Безунывный был человек, бородастый сильный мужчина. Даже и от верности жены своей не стал ипохондриком, хотя, откровенно сказать, Анна Ильинична помнится занудой, мухи дохли.

Ильич испытывал к Тимофеичу чувство особенное. Не скажу, почтительное, хотя Елизаров и был старше лет на восемь; нет, в регистре Ильичевого чувствилища почтительность не замечалась. Может, нежность? Пожалуй, так; похоже, да. Чувство это питало давнее дружество Елизарова с Александром Ульяновым. По одной дорожке ходили; Елизаров едва разминулся с эшафотом... А старший Ульянов как был, так и оставался для Ульянова-младшего непреходящей болью. Такая, знаете ли, крученая струна упруго, долго и остро отзыва-

\* Прошу разделить мое возмущение г-ном Лаверном... То есть как это — кто? Французский военный атташе в Петрограде... То есть как это — ну, и что?.. А то, что г-н Лаверн в связи с приездом четы Ульяновых к чете Елизаровых сообщил парижскому начальству — Второе бюро Генерального штаба, — что Марк Елизаров управляет весьма и весьма подозрительным страховым обществом «Волга»! Вот тебе и фунт! Упомянутым страховым обществом управлял вовсе не Елизаров, а Демкин, Митя Демкин. А помощником служил его загадочный приятель Гессен, Борис Исаакович Гессен. Митя, очевидно, последовал совету, каковой дал русским талантливый анти-семьят публицист и философ Вас. Вас. Розанов: оставьте и мы банки, кассы, финансы — у и и х это лучше получается. Посему ничего подозрительного в страховом обществе «Волга» не было. Надо, однако, признать, что и г-н Лаверн, и майор Тома, и др. резиденты в Петрограде не всегда ошибались. Об этом — позже. — Д. Ю.

лась в душе. Он не нашел в себе сил на то, чтобы заглянуть в следственное дело несостоявшегося царубийцы, удушенного в Шлиссельбурге. А такая возможность представилась, когда он, Ульянов-младший, был председателем Совнаркома. Не заглянул — отпрянул. Подобное резко-болевое отстранение случилось мне наблюдать в читальном зале архива КГБ, где враги народа шуршали давними бумагами, напоминая о шорохе иссохших листьев на безымянных рвах.

Нет, нет, не брошу камень в Ильича за то, что вождь пролетариев не поселился «в гуще». Другое огорчает. Как было не отдать визит на Васильевский — подлинному Ленину? А во-вторых, как можно не замечать весну? Погоды выдались погожие, опять же эти клейкие листочки, на Островах еще нет травостоя, но мурава уж есть. Сухарь из сухарей, смущаясь, выглядит гулякой праздным, в полуполете тросточка, щека под солнечным лучом. А он, Ульянов, но не Ленин, он пишет, пишет, пишет. И говорит, и говорит, и говорит. Помилуй Бог, какое наказание одной лишь думы власть.

Мне скажут: он чурался сентиментов. И будут правы. Примером уклонение от пива или классической сонаты. Они его клонили к утрате бдительности. Ты станешь добреньким, захочешь гладить по головке, тут и откусят тебе руку.

Но надо ль путать сентиментальность с поэтичностью? Ведь память сердца у него была. «Как молоком облитые, / Стоят сады вишневые, / Тихохонько шумят». А липы? Нет не тургеневские, не бунинские, а кокушкинские, в имении за сорок пыльных верст от Казани, — липы чинно спускались к пруду. А эти обрывы над рекой? Плеск плесов, и прибрежная плютва, и плицы пароходов, звучные в ночи, костер и мирная беседа плотогонов на плотах. Эх, Марк Тимофеевич, а хорошо б по Волге прокатиться. Или утром насладиться деревенской простоквашей, а?..

Так отчего ж не прокатиться по Неве? А липы ведь цветут не только там, в «идиотизме», но в «урбанизме» тоже. Пруды тут регулярно чистят, на зеркале прудов фасады зыбятся. Нет,

здесь он ничего не замечает. Все опалила и спалила одна, но пламенная страсть. Ильич ей предавался, пока не получил по-вестку из ЧеКа.

---

ЧеКа имела место в Зимнем.

В чертогах царских царила белизна халатов: там размес-тились лазареты. Во дворце находились и присутствия Вре-менного правительства. Была еще и некая запасная половина. Там имела место ЧеКа.

По утрам в Чрезвычайной комиссии растекался полутю-ремный запах перловки. Сотрудники получали на завтрак яйца вкрутую и некрутую кашу. Перепадало и прислуге упразднен-ной династии, курьерам и камер-лакеям.

В подчинении членов комиссии были барышни. Все в блу-зочках с черными бантиками. Платили им двадцать пять руб-лей в час. Барышни — машинистки и стенографистки — под-жимали губы, но не роптали. Где еще услышишь и увидишь столько любопытного? Кто из них не млеет, отдавая вороха допросов бледному Поэту? Прекрасен и тогда, когда глаза-то кроличьи, как не понять-то? — он «со вчерашнего».

Комиссия возникла в первых числах марта. У Временно-го недоставало времени, чтобы писать коротко. И посему груп-па лиц, наделенных особыми полномочиями, получила ско-ропалительно-многословное титулование: Чрезвычайная след-ственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомств.

Возглавил комиссию почтеннейший адвокат Муравьев: седеющие виски, умные серые глаза, говор небыстрый, мос-ковский, на «а». Здоровался, словно благословляя; ладонь ны-ряла книзу — обыкновенье иереев. Вот входит Блок, Алек-сандр Александрович Блок. Он в штате, он редактор, он пра-

вит стенограммы, преобразованные в машинопись. Трагический тенор эпохи имел крутые яйца и некрутую кашу? Какая проза! Другое дело В. А. Жданов. Он кашу самолично упразднил, а яйца, благо, что крутые, проворнейше совал в разбухший от бумаг портфель. Бо-о-льшой и мрачно-черный, с тисненной золотом фамилией владельца. Портфель типично адвокатский. А Жданов нетипичный. Ведь это же Владимир Анатольевич, вскользь мною упомянутый в том тексте, где Артузов. Да-с, Жданов. Немногим позже ревизор ЧеКа — увы, правительства отнюдь не временного. А здесь, сейчас толкует Жданов с Бурцевым. Витает имя: «Малиновский». В. Л. еще хуже прежнего; сутулится, под мышкою елозит дюжина газет; он сух и сдержан. И Жданов большевик, и Малиновский большевик — невольно в памяти моей парижское: В. Л. всерьез просил мальчонку одного из эмигрантов: «Ты, Коленька, расти и вырастай, да только не подайся в стан Ульянова».

Членом этой комиссии Бурцева не назначили. Не предположить ли неуверенность Муравьева в объективности давнего, закоренелого врага как раз тех, кто подлежал аресту и дознанию? Или председатель был уверен в недостатке знания предмета? Вот это, последнее, достойно восхищения. Муравьев и его соотрудники исходили из презумпции невиновности. И — главное — расследуя деятельность высших должностных лиц прежнего режима, исходили — неукоснительно, строго — из существа законоположений, согласно которым действовали или должны были действовать эти высшие должностные лица упраздненной империи. Вот где корень, зерно, краеугольное. Рассматривалось не общее и не вообще. Рассматривалось, оставалось ли данное лицо в границах, в рамках тогдашнего закона, и если преступило, то лишь в этом случае подлежало обвинению в преступности.

Неуверенности председателя комиссии в объективности Бурцева не откажешь в логичности. Но он, Муравьев, не предполагал в Бурцеве алогичной чувствительности.

Вот эта чувствительность и дала о себе знать. В. Л. шел Фурштатской к Литейному, поравнялся с домом номер 14, да и оказался ненароком свидетелем ареста сенатора Горемыкина. Ивана Логиновича Горемыкина, некогда премьера, какой, собственно, и настоял на том, чтобы Бурцева отдали Туруханску... День веселый, щедро-солнечный, солдаты с алыми бантами запикивали старика сенатора в грузовик с дрожжащими от нетерпенья крыльями; в грузовике жалко жались друг к другу ветхие превосходительства. Голова у Горемыкина моталась; породистое большеносое лицо выражало ужас; он судорожно хватался то за солдат, то за борт грузовика; руки у Горемыкина были в крупных веснушках, и не мотающаяся голова, не ужас на лице, а эти пятна, эти веснушки тронули В. Л. Он испытал и жалость к старику, и страх перед «разгулом народной стихии», такой же страх, какой заставил Радищева написать «Путешествие». А его, Бурцева, понудил опубликовать статью, призывающую свободный народ освободиться от мести безоружным врагам.

А сам-то он освободился ли? Враги были особого разбора, из наихудших, неизловреднейших. Нет, они не то чтобы денно-ночно преступали закон, однако запрет на провокацию и во внимание не принимали, плодили иуд, азефшину плодили и поощряли; и его, Бурцева, избличения, его, Бурцева, требование рассмотреть правительственный метод провокаций в суде особого присутствия Сената только одним и обернулся — Туруханкой... Кстати сказать, теперь-то В. Л. недавние превратности своей судьбы полагал за счастье. Нежданное-негаданное счастье близкого знакомства с народом, от которого он был долгие годы оторван эмиграцией, парижками-лондонами. Давно уж не был он сторонником народовольцев, давно уж примыкал... ну, думаю, к конституционным демократам, был республиканцем, а народническая закваска осталась. Пестрые сибирские впечатления, этапы, возвращение из Азии в Европу, роевое движение всяческого люда, мужиков, мастеровых,

солдат, даже и чиновников, все вместе одарило Бурцева впечатлением, которое он окрестил «енисейским» и которое внушало великую радость и великую надежду, потому что он чувствовал пробуждение могучей силы, сознавал крепкую жизненность, духовное богатство нации, обладавшей большей внутренней свободой, нежели европейцы. Радостному состоянию В. Л. сильно способствовала огромность страны, эти леса, реки, бесконечность равнины; как все мы, он путал величие с величиной, забывая дистанцию от мысли до мысли в пять тысяч верст. (Не я мерил, а поэт Вяземский, его и побивайте камнями.)

Впечатления эти, пронизанные оптимизмом возвращения из ссылки, давали здесь, в столице, трещины, однако покамест несильные, неглубокие, и В. Л. в общем-то пребывал в возбужденно-деятельном состоянии. С вчерашними чиновниками полиции, жандармами, оказавшимися за решеткой, держался с некоторой участливостью, напоминая ему о старческих руках Горемыкина с лилово-чернильными жилами и крупными веснушками.

Публику, вчера еще сажавшую в тюрьмы, а теперь сидящую в тюрьме Трубецкого бастиона, В. Л. навещал нередко. Так сказать, служебно. Он был членом комиссии по разборке архива Департамента полиции, происходившей, как я уже докладывал, «под тираннозавром» в конференц-зале Академии наук. Сотрудничал В. Л. и в комиссии, учрежденной при министерстве юстиции и называвшейся столь же отменно длинно-длинно, как и муравьевская. Особая комиссия для обследования деятельности бывшего департамента полиции и подведомственных ему охранных отделений, жандармских управлений и розыскных пунктов.

Спору нет, епархия В. Л., для консультаций нередко зазывали в муравьевскую ЧеКа. Но к завтраку не ждали. Ах, черт дери, ведь в ссылке он возлюбил вкрутую или всмятку ничуть не меньше Кирпичева. Быть может, повторюсь, да больно уж

уместно. Федя Кирпичев прокладывал в лесах лежневые дороги и за двенадцать лет ни разу не выкупал яичницу, а только чмокал, увидев за кюветом желто-белую ромашку: ни дать, ни взять, глазунья. В кануны окончанья срока, роняя голову к гармошке, мечтательно планировал: сожру на воле двести штук, и все в один присест. Интеллигентик Бурцев на такое способен не был. Но это же не значит, что Бурцева не следовало звать к завтраку. И так почти всегда, почти везде: все сухомятку, наскоро.

Его тут знали, и он знавал тут многих. Вот видите, раскланивается с Блоком. Их отношения туманны для меня. Выяснять ли? Колчак, рассказывали мне, прочел «Двенадцать» и вздохнул: возьмем мы Петроград, увы, повесим Блока. А в городе Москве совсем недавно на Спиридоньевской тот дом, где останавливался Блок, купил какой-то парвеню и ликвидировал дощечку-памятку. Но Блока, кажется, «проходят» в школе, с него довольно.

Другое дело долговязый адвокат Домбровский. Приехал из Москвы и нынче выправил удостоверение на право посещения политзеков. Ей-ей, всплеснешь руками: ну, мать-природа, как он похож на сына своего, на Юрия Домбровского.

---

У нас паролем было слово: «Поговорим...» А отзывом слова: «Поговорим о бурных днях Кавказа...» То было обоюдным приглашеньем к размену чувств и мыслей.

Не «Кряком» он прозвал меня, как кто-то где-то вспомнил. Нет, «Краком». В старинном словаре нашел: водилось в море чудо-юдо-крак. И тотчас произвел аж в каперанги, хотя ваш автор выше ст. лейтенанта не поднялся. Но Юрий Осипыч Домбровский охотно поднимал и рейтинги, и статусы своих приятелей. Ты будешь кандидат, он скажет: член-корреспондент. Ты будешь эпигоном Бунина, он скажет: весь в Бунина не умещается.

Нас случай свел в середине века. Он вернулся из Тайшета, жилплощади покамест не имел, но все ж от площади Лубянской был свободен. Я полагал, что окончательно. Он косо поднимал плечо, он «ха» произносил, и этот жест, и эта интонация являли опытного зека.

Помню «контингент», изведенный под корень и давно забытый. То были люди, которые ходили добровольно в катажки. На праздничные дни! На Первомай и на Октябрь, возможно, так же в день Коммуны. И это называлось «превентивностью». Чтоб, значит, в праздники народ спокойненько гулял, чтоб не смущали бы его ни митинги, ни шествия врагов. Один из такого «контингента», библиотекарь в Орликовом переулке, имел прописку в нашем доме. В тюрьму он отправлялся с узелком. И кепку тронув, говорил «адье» соседям. А дворник, опираясь на метлу, пускал, как камень из пращи: «Тракцист!».

Однокорытники Бронштейна, наивные эсдеки Мартова, правые эсеры, давно затихшие, исчезли незаметно. Они считались первым поколением, а вот ваш автор... В лагерной конторе, где перьями скрипят придурки, логарифмической линейкой лучше всех владел зек-ветеран. Глаза у Аполлона Аполлоновича диаметром с копейку сверлили победитом-сверльшком. Он протянул мне безмозольнейшую руку, смешал приветливость с утрюмством: «А-а, третье поколение русской контрреволюции...»

Домбровского позвольте-ка зачислить во второе. Но приблизительно, условно. Когда-то говорили: бойтесь пушкинистов. Не впору ли сказать: мемуаристов бойтесь. Воспоминатели с веселой снисходительной улыбкой потомству сообщают о винопийстве Юрия Домбровского. От чарки он не бегал, это правда. За поллитровкой ради разговора с другом бежал сквозь полночь-заполночь, и это тоже правда. Но... ах, врете, подлецы, он пил не так, как вы. Иначе. Его романы, повести, новеллы, рецензии и письма — их глубина и блеск, их стиль и

мимолетная неряшливость, подобная соринкам в студеном чистом роднике — тому непреходящие свидетельства. Он говорил вослед за персонажем Вересаева — столяр иль плотник, тот, бывало, вечерком сидел у моря и моржо сокрушенно сообщал: как пью — все видят, а как работаю — никто не видит.

Уж два десятка лет покоится Домбровский на Кузьминском кладбище. Я о любви к нему не написал ни строчки. Мне грустно. Вчера, однако, при виде в Зимнем долговизого присяжного поверенного услышал словно издали: «Поговорим...» И отозвался внятным: «Здравствуй!».

В свои земные дни ты не шагнул в свои семидесятые. Но прожил вдвое больше. Календари, конечно, не пустяк, а все ж формальность. Суть — в судьбе. Твоя звенит, как служба в Заполярье. И мечена багровым отблеском костров в тайге. Маршрут, тебе назначенный, либо крошил душу, либо множил ее прочность до степеней, не обозначенных в учебниках сопротивленья материалов. В Центральном Доме литераторов при виде литераторов, случалось, ты недоуменно спрашивал: «Чегой-то публика обижена?... Та-акая размазня...» Тебе ответят: да все они советские писатели, ан, видите-ль, задержка публикаций. Ты не смеялся. Ты им сочувствовал, хотя ты сам годами ждал, поймите-ка, годами, когда же рукопись возьмет станок. А ждал не в подмосковной, а в Подмоскovie, в Голицыне (опять см. начало этого романа) или на Сретенке, в одном из переулков, сбегавших книзу, к воротам рынка, к полпивной, где класс не утоляет жажду квасом. Иль за заставой, за Преображенкой; там дышалось легче, в рощах по весне грачи, как новоселы, напрягали горло.

У тебя были сильные руки, корявые ладони. Орудя стилем, словно зубилом, ты школьные тетрадки испещрял строками, похожими на клинопись. Природа наделила тебя и острой, как у могикиан, дальностью зрения, и чутким слухом. Неутомимый пешеход, ты спутника брал крепко под руку и сильно подавался вперед, вперед, немножко наискось, и словно бы

наперекор ветрам. И в воду, пусть Алма-Атинка ломит зубы, ты машисто бросался и молотил саженками. От тебя веяло волей, как от кочевника. Ты был свободен от быта. И щедр на дружбу, нередко расточительно. Это не дружелюбие, это любовь к дружбе. Наследство лагерей. Тебе взаимностью платили и конопатенький владелец сизарей, тот голубятник, который принимал тебя за доктора-ветеринара, и Амусин, известный миру историк Кумранской общины, а также зек тридцатых, и мой — после войны — экзаменатор; и даже запьянцовский истопник, он жил в соседней комнате, ты звал его «папулей», приглашал к застолью, бывало, спрашивал со вздохом: «Папуля, когда ж ты перестанешь на нас стучать?». И тот — серебряное благородство седины и ясность ясных глаз — тот отвечал, нисколько не смущаясь: «Да ведь на вас с Давыдовым, видать, рукой махнули: ну, не берут, и все тут. Дай трешку, в гастроном схожу».

Ты дорожил артельностью. Мысль, догадку, знание не прятал, а преломлял, как пайку. Нужную мне книгу цепко выдергивал из тесного ряда на тех некрашенных, чуть тронутых рубанком полках и, выдернув, пришамкивал: «Хватай, соловецкая чайка!». Да, старичок, ты шамкал, небрежничал зубным протезом. То на панель ронял, а то и на пол, совал в карман и забывал, где он, но не сердился на себя, не раздражался, э, черт с ним, как-нибудь найдется. И читал:

И вот таким я возвратился в мир,  
 Который так причудливо раскрашен.  
 Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,  
 На гениев в трактуре, на трактир,  
 На молчаливое седое зло,  
 На мелкое добро грошовой сути,  
 На то, как пьют, как заседают, крутят,  
 И думаю: как мне не повезло!

Не повезло бы, оставайся ты среди гениев трактира. Но дал Господь иные сферы обитания: и Древний Рим, и драма

крамольников России; ихтиология, живопись, нумизматика. И постоянство размышлений о юриспруденции... И вот исполнен долг. Устал ты и спокоен. А если так, то можно ведь и не печатать. Художник, создавший полотно любого жанра, волен поставить его к стене тылом, а не выставить на вернисаже. Картина уже существует. Она есть, и она, даже и сожженная, пребудет в симфонии всеобщего творчества. Но есть и жажда сообщения, сопереживания, обещания. Мечталось втайне: ах, напечатали б в Европе... Не думайте: низкопоклонство. Нет, напечатают у нас, так, значит, цензор дал «добро». А коли так, овчиночка плоха. Твоя мечта сбылась — тебя переводили. Перевели и «Факультет». Ты молча показал друзьям. Как мать — младенца: с влажными глазами. И вскоре умер.

Я не проводил. В Виллойске текла Виллойка, тайгу озеленял май месяц. Я был там на свидании с Чернышевским, за что теперь меня бы оплевали и правые, и левые... Не проводил я, не успел. Не говорю с тоской: тебя уж нет, но с благодарностью: ты был. И, значит, мальчик тоже был. Китаец на бульваре нам продавал игрушки. Пискалявые «уйди-уйди», цветастые вертушки на гладкой палочке, а на резиночке прыгучие шары. А жили вы в Стрелецком переулке. Ни дома, ни квартиры ты не упомянул. Изволь: дом номер четырнадцать, квартира под номером семнадцать. Пожалуйста, и телефон: 2-68-78. Как видишь, есть польза и в моих архивных микроразысканьях. Мою любовь к ним ты хвалил. Но вроде бы не находил достоинств в обработке материала. Да и теперь бы не нашел. Не без лукавства говорю тебе: а материал-то, Юрий Осипыч, ценнее текстов. Но все ж продолжу как умею.

Постой, постой! Еще ведь нет советской власти, а ты уж плачешь, мальчик Юра? Восьмой от роду миновал, а ты топыришь губы и глядишь волчонком, забился в угол и не читаешь книжку. Что так? А-а, ты огорчен — отец собрался в Петроград.

Отца пригласил в Петроград председатель ЧеКа Муравьев. Оба понимали право как частичное воплощение нравственности, считали обязательным щепетильно-бережное отношение к личности, и оба в этом направлении практиковали в Московской судебной палате.

Теперь, однако, Иосиф Витальевич занимался практикой не частной, а общественной и вместе, можно сказать, государственной. Был, знаете ли, такой Земский союз, обеспечивающий нужды действующей армии как интендант и медик. Не без ехидства, свойственного скверным людям, отмечу, что сотрудникам Союза обеспечивались отсрочки от призыва на фронт. Нельзя, впрочем, не признать деятельность Союза разнообразной и полезной. Например, наш присяжный поверенный служил в Центральном аптечном складе, помещавшемся у Яузских ворот и озвученном пятью залиvistыми телефонными аппаратами.

Главный комитет Земского союза не тормозил просьбу председателя Чрезвычайной комиссии. Домбровский отнесся к своему командированию как к возвышению службы до степени служения.

Сборы, огорчившие сына, состояли прежде всего в перемене костюма. Ни земцы, ни адвокаты не имели униформы, но соблюдали внешне-отличительное единство. Как земец Иосиф Витальевич носил френч, галифе, сапоги. Как адвокат — сюртук, на правом лацкане которого белел эмалированный ромбик с синим крестиком и золотым двуглавым орлом. Мог бы надеть и серый костюм, какой носили юрисконсульты фирм и банков, но это требовало коричневых башмаков, непременно коричневых, демократической интеллигенцией отвергнутых. А фрак, и черный галстук, и жилет предполагали публичность выступлений. Однако таковых, он знал, не будет.

Приехал он в Петроград в день невзрачно-серенький. Номер взял в «Париже» — до Зимнего пешком. Императорские интерьеры он увидел впервые. Муравьев встретил земля-

ка с несколько преувеличенной радостью; такова была его манера.

Сотрудник, командированный аптечным складом, получил серьезный документ, придавший своему владельцу вес и значение прокурорского надзора: «Настоящее удостоверение выдано состоящему при Чрезвычайной следственной комиссии присяжному поверенному Иосифу Витальевичу Домбровскому в том, что ему разрешается посещение Петропавловской крепости, Петроградской одиночной тюрьмы, Министерского павильона Государственной думы и других мест заключения для присутствия при допросе содержащихся под стражей лиц».

Министерский павильон? Несколько комнат в Таврическом дворце. Рыдали там сановницы, супруги арестованных сановников. Их вскоре отпустили на все четыре стороны. Ошибку эту не повторили ежовы-берии... О Петроградской одиночной, в просторечии Кресты, сообщая кратко: унылый прагматизм заневской стороны. Куда как романтична Новая Голландия. Она — как сколок старой. Ее черты в коллекции Семенова-Тян-Шанского. Взлет мрачной арки над каналом, пролет под аркою стрижей; гранит не полирован, нет, тесан грубо, и Мойки прозелень густа. На этом острове пакгаузы с припасами для кораблей. И мощная тюрьма для корабельщины. Вся грозная эстетика повиликой повита. Уполномоченному здесь никакой докуки. Узилище для гордых альбатросов в те дни было вакантным. Он ездил в Петропавловку. Вчера — оплот самодержавия; теперь — свободы.

Тюрьма зовется Трубецкой, а бастион зовется Трубецким. Трубит над крепостью архангел. Его не слышно — он очень высоко. Куранты ниже, они слышны. Особенно морозной ночью, когда так тихи серебряная пыль и свет давно умерших звезд. А летом белой ночью... Цигировал Домбровский-сын, не знаю уж кого, что белыми ночами зеки слышат, как белый слон трубит... А что? Вполне возможно. Я объяснил ему, он

Питера не знал, — в тылу у крепости, там, на Зверинской, и вправду был зверинец. И если Пушкину вообразилось: «Под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России», то как, скажите, пленному слону об Африке-то не вздыхать под небом Петербурга?.. Домбровский-сын был реалистом. Однако не настолько, чтоб принимать мои реалистические объяснения. Он смеялся. Раз так (растак), пускай сейчас его родитель, Домбровский-старший, увидит и услышит голый реализм.

А тот в шинелишке солдатской, с физиономией дурацкой желает Аньку-дуру изнасиловать. Спала с Распутиным, спала с самим Николкой. Ну, медлить неча! Все юбки задери и ноги растопырь. Э, Вырубова-блядь, ты расстарайся для нашего слабодного народа... Так ей грозили. А гвоздили так: «Мучить тебя надо, мучить». Срывали крест и били по щекам и по грудям. Как не понять: к Романовым близка... А этот что же? Он на припеке, опираясь на приклад, огромный, звероватый, обличем ни дать, ни взять клейменный, он протянул ладонь, он кормит голубей: «Гуль, гуль, родимые...» Ну, вы, заступники народа, ну, умиляйтесь, как некогда моя учительница. «Дубровского» читая в классе, сияла светом влажных глаз: Антонкузнец сам обгорел, но кошку с крыши снял, всех заседателей спалил, а кошку из огня-то вынес.

К чему я это? А к тому, что все и вся не надо списывать на карлы-марлы бороду. Кузнец Антон был тоже в бороде. Не из местечка он, а из деревни Кистеневки. Кистень — его оружие, у пролетария — бульжник. Что-то слышится родное из недра ЧеКа. Не муравьевской, а той, что несколько позднее.

А Муравьев и «муравьеды», Домбровский-старший в их числе, принадлежали к школе Петражицкого, к психологической, и выше прочего ценили отношение к личности... Послушай, Юрий Осипыч, сейчас вот вспомнилось! На Каменноостровском, где мы с моей свояченицей, бывало, хаживали к Островам, встречая иногда Джунковского, на Каменноостровском, 22, Мария Карловна держала книжный магазин: литера-

тура юридическая. Супруг ее, профессор, был членом Думы, преподавал в университете, жил в том же доме... Ну-ну, ты все сообразил: у вас, в Стрелецком переулке, на полке тесною семьей работы Петражицкого: и перевод «Системы римского права», и «Введение в изучение права и нравственности», и два краеугольных тома — «Теория права и государственности в связи с теорией нравственности»... Слышал ли ты, что Петражицкий сам прекратил свое существование? Да, в 31-м. А год спустя тебя арестовали. Вы убедились в несовместимости теорий с практикой. И в этом лейтмотив твоей Судьбы. Ты сын отца не только кровно; родство по крови — свойство и зверушек. Ты сын отца по духу. Отец твой умер, если я не ошибаюсь, в 19-м, но дух витает долго.

Вы полагали так: и нормы права, и право личности, они не совпадают с природой большевизма. Не спорю, но «расширю». Все мы с младых ногтей народолюбцы. Твердим едва ль не повсеградно: глас Божий. С расхожей ссылкой: об этом, дескать, в Библии. Ну-ну, ищите — не обрящете. Не Библия — грек Гесиод да римлянин Сенека Старший. Они, само собой, не сор, из них растет дидактика. Однако ж кто они? Язычники! Богов же у язычников что карт игральных; как говорится, полсотни два разбойника. Какого бога — глас народа? Какой он масти?

Ага, Юпитер, сердисься: роняешь чуб и тотчас же толчком пихаешь бело-розовую челость в заскорузлую ладонь. И это значит: Ю. Домбровский готов подраться за честь народа. Но я-то уж не столь и робок, как впору заединства народа с партией. Нисколько не дурацкий лозунг. Это было при нас, это с нами войдет в поговорку. Имеет заединство как источник, так и составную часть в ненужности норм права; а также права личности за неимением последней в соборном коллективе. Таков уж фонд психический, который нынче — генетический.

Какой пассаж! Ты голову готов мне оторвать. Куда же девалась свобода мнений? А-а, вон она — худая, длинная — гря-

дет в узилище, имея полномочья прокурорского надзора.

---

Да вот тебе и раз! Читаю: «Многоуважаемый Николай Константинович, я уехал из Петрограда, не высказав главное, а потому прибегаю к письму». Что приключилось? В недоумении ваш автор. Конечно же, беллетристическом — то бишь фальшивом, поскольку мысли и дела он знает наперед.

Следите за Домбровским-старшим. Москвич по-прежнему живет в «Париже», точней, он там ночует. А утром в Зимнем ест перловку. Потом в ландо казенном, пешком или на траме — к воротам Иоанновским будить под сводом краткий гул, сей оттолок рухнувшей державы. Он в крепости не гость и не хозяин. Он наблюдатель и оценщик. Исправность посещений Трубецкой тюрьмы не исправляла нравы солдатни. Лужи, мокрицы и сырость — все это помаленьку исчезало, что, правда, не зависело от прокурорского надзора: весна сменилась летом. Теперь уже не знобкий нездоровый мерзкий холод изгрызывает все хрящики, нет, задуха придавала арестантам выраженья снулой рыбы. И африканский слон, я уверяю вас, трубил в зверинце не от тоски по Африке, а с голодухи.

Господ, сидевших в каземате, Домбровский прежде знал по именам. Теперь узнал и очно: они в глаза искательно глядели, ему было неловко. Обломки самовластья были жалки — больные дети. Никто и на минуточку не помышлял ни о какой реставрации, а находился в слабоумнейшей растерянности: недавно поднимали и хоругви, и знамена по случаю трехсотлетия династии, и чуть не в одночасье утонуло все, и государь всех предал, и все его предали. Да-с, не Шекспир, а выпребная яма, но все ж Домбровский из школы Петражицкого усматривал налицо Личности и там, где оставалось лишь сугубо личное.

Иосиф Витальевич к своим коллегам не имел претензий. Они не должны были торопиться. Но возникала некая несообразность — промедленье с составленьем обвинительного зак-

лючения. Что так? Я говорил: неукоснительности опоры на закон, включенный в Свод Законов, уж не было, а нарушение законов ускользало. Вместо гориллы-преступления была мартьшкина гримаса превышения власти. Всего-то-навсего?! На то и власть, чтоб превышалась предержажшей властью. Попробуй умалить ее, услышишь: «Pereat!» — «Да погибнет!».

Но тут, извольте, кубатуру с квадратурой. Пусть мир погибнет, лишь бы юстиция торжествовала? Прекрасно сказано для западных ушей. Домбровский-старший (как потом и младший) был западник. Однако не настолько, чтоб это рыцарское «Pereat!» душило чувство справедливости, любви, добра. Отсюда и мильон терзаний, и вечный трепет пред относительностью сущего в подлунном этом мире. Ужасно, в истоках рода — убийца Каин. Но тот был в состоянии аффекта. Иуда, провокатор и убийца, обманувшийся в своих расчетах. А все дела с подкладкой провокаторства в основе делопроизводства юридически ущербны. В Стрелецком, дома, в шкафу направо снимка с полки системы права римского. Добудь законы иудейские. И рассмотри под лупой тогдашних норм и правил все это дело с Синедрионом, Понтием, Распятием и Иудой; осведомитель, доносчик в единственном числе был недостаточен. И, значит, был второй. Был некто — по слову Бурцева — из не внесенных в списки иль запертый в особый шкафчик... Ну, Юрий Осипыч, теперь узнал, откуда выростал твой «Факультет ненужных вещей». Последний твой роман издали не у нас, ты должен был скрывать, а ты, родитель, принес младенца на руках и всем показывал в дубовом зале нашего вертепа. Ай, да сукин сын!.. Листаю «Факультет» и слышу подголосок-тенорок московского присяжного поверенного. Я ж говорил про дух, который веет долго.

А Домбровский-старший не обмолвился, упоминая Бурцева. Спознались быстро, коротко. И как-то, знаете ли, безоглядно; с редкостным чувством обоюдного доверия. И часто-часто сходились в крепости Петра и Павла.

В тюремном коридоре с железными дверями плакался в жилетку экс-директор Департамента полиции, весь сладко-сальный г-н Белецкий. Все прочие, кроме Климовича, державшегося прилично, заверяли Бурцева в симпатиях со стажем. В. Л., как и Домбровский, полагал, что и к этим надо относиться как к личностям, хотя, конечно, не вменяя им в вину лишь превышение власти, как это производят по отношению к ежовым-абакумовым. Да погибнет мир, но правосудие свершится? Э, «мир» погиб в тайшетах и печорах, а каждый прыщ, вскочивший на заднице у Правосудия, не что иное, как помет иудин.

ЧеКа вела допросы деликатно; расспросы — архиделикатно. Но тщательно. В. Л. бывал здесь и свидетелем, и вопрошающим: он член комиссии подсобной муравьевской — в архивных катакомбах тайной полицейской практики, расположенных, прошу не забывать, под динозавром. Точней, тиранозавром. И это ведь от Бурцева узнал Домбровский о некоем большевике, который не уступит и Азефу. А также и про шкафчик. Суперсекретный. С надписью предупреждающе-запретной: «Без высочайшего повеления не вскрывать».

Быть может, нет нужды и дальше повышать вольтаж повествовань? Нет, не могу, позыв имею сообщить: в ЧеКа уж ожидали Ленина, который в наших текстах значился Не-Лениным...

Ну-с, Юрий Осипыч, позволь осведомиться: все это зная, как знал отец твой, ты не остался бы на день-другой жильцом «Парижа»? А твой отец так спешно Петроград покинул.

Правда, успел купить тебе... э, не игрушечки в Пассаже, а книги на Литейном. (Мне там был куплен Твен, Марк Твен, в красном переплете; Том Сойер мне в отраду по сей день, хотя и очень ветхий, но дышит не на ладан.)

Отметив отцовское вниманье к кругу чтения Юрочки, мы с пониманием отметим и отъезд Иосифа Витальевича в Москву, в Москву, в Москву.

Он, патриот, он оборонец, служил там, напоминаю, в аптечном складе Земского союза. То было службой, она давала отсрочку от призыва. А муравьевская комиссия была служением Справедливости и потому отсрочки не давала.

Главный комитет по делам военнообязанных тоже стоял за справедливость и сообщил в ЧеКа, что г-н Домбровский будет призван. И тот едва ль не в одночасье покати́л в Москву.

Отсутствие батального в моем повествовании — недостаток важный. Для автора как ветерана непозволительный и пробуждающий сомнения, а вправду ль автор ветеран. Отсутствие батального чревато насмешкой над Домбровским: ну, патриот, ну, оборонец, чего же не спешишь на фронт? Тут горе-то не от ума. Тут горе от воображения. Он мысленно все представлял себе ужасно ярко: смрад пушечного мяса, артиллерийский шквал и лавы кавалерии, наплывы отравляющего газа, гуденье рельс, в окопах грязь и под ногтями грязь, санпоезда воняют... Все вместе иль враздробь вообразив, он находил консенсус в службе на аптечном складе, Николоворобьинский, 9.

Какая прелесть — Николоворобьинский. И стаи галок на крестах. Грозней — Стрелецкий. Но тоже звук московский. А на дворе сирень и верба. Нет, право, вдруг начинаешь входить в согласие с большевиками: «Долой войну!». Зачем нам Дарданеллы? История клонит нас к устройню внутреннему... Глядит Домбровский на белый бланк, в углу чернеет типографское: «Присяжный поверенный и присяжный стряпчий Иосиф Витальевич Домбровский. Прием от 5 до 7 час. веч.». А фиолетовым наш довоенный стряпчий обратился к Муравьеву: «Многоуважаемый Николай Константинович, я уехал из Петрограда, не высказав очень существенное, а потому прибегаю к письму». И, «прибегая», продолжает: «Хотелось бы выразить Вам благодарность за предоставленную мне возможность поработать над большим, интересным делом. Недалеко то время, когда за работами нашей Следственной комиссии будет признано громадное и политическое, и историческое значе-

ние. Мы переживаем время ужасное, bestолковое, нелепое. С лучшими пожеланиями Ваш Домбровский».

Чего это он, извините, раскудаhtался, Иосиф Витальевич? Провидит, предвидит? — не верю... Николоворобьинским избавлен он от фронта. Да втайне на душе-то скверно, ведь он же честный человек, ему присуща и всемирная отзывчивость... Ах, черт дери, родиться бы, как Бурцев, много раньше, да и плевать на Главный комитет... Он пишет Бурцеву — и дай вам Бог, Владимир Львович...

---

А между тем Владимир Львович не одобрял Домбровского. Бурцев, будучи в тылу, остался на позиции, которую он занимал в Париже, когда высоко цепенели цепелины. В. Л. знал власть императива: для фронта все, все для победы, а на аптечном складе вполне уместен слабый пол.

Я намекал недавно на самоволку тов. Джугашвили-Сталина. К отцу народов автор беспощаден. К Домбровскому — отцу товарища и друга — снисходителен. Что ж так-то?

Тов. Сталин-Джугашвили собственное дезертирство ни-почем бы не признал, он-де имеет веские претензии к войне — она, как говорит тов. Ленин, имперьялистская, захватная.

Домбровский же напротив: идет война народная, священная война. И потому он сознавал, что труса празднует. Конечно, трусость как проявление закона самосохранения — вещь естественная. Но быть естественным в открытую и трусость не скрывать — на это требуется смелость. Да где ж такую ты возьмешь? Опять и снова, снова и опять: таись, молчи.

И уж, конечно, бойся Бурцева. Царю он не слуга, не брат он черту. Он сын простого обер-офицера из захолустных оренбургских батальонов, и он ответит без затей: присяга нерушима. Прибавит — собиратель биографий декабристов, судимых в крепости Петра и Павла, прибавит без аффекта: а честь — присяги выше.

Ответного письма он не отправил. Его мотивы Домбровский понял. Не зря ведь обретался в школе проф. Петражицкого, психологической. Мотивы эти счел ура-патриотическими. Однако и обиделся, и огорчился. А все равно следил за ним, как Леонид Андреев (см. начало этого романа), почти с восторгом. Газеты извещали: «Известный Бурцев сообщил...»

Домбровский ждал, когда ж он наконец объявит суперсекретного агента в партии большевиков. Заинтригован был и ларчиком, который открывался лишь с разрешения государя.

Об этом В. Л. действительно упоминал. Но далее, по слову древних, море тьмы. И вышло так, что версию свою я изложил Домбровскому-писателю.

В одном из сретенских проулков зажил он в узкой комнате. И вскоре уж жильцы под руководством заштатного полковника ополчились на Юрия Осиповича. За что? То пьяных подберет на лестнице и пустит ночевать; то голь набьется и ну орать стихами, то телефон трещит: прошу прощенья, мне б Домбровского. От «грамотных» отбоя нет. Так звал он тех, что приходили «грамотно» — со склянкой огненной воды. И все это жильцам, черт их дери, все это было не по нраву. Домбровский возражал им гневно. Не возражал, пожалуй, а вразумлял, учил их милосердию и снисхождению к падшим. Полковник звал милицию. И участковый в первый раз, я помню, спросил, скучая: «Чегой-то тут у вас все происходит?». Вчерашний каторжанин величественно отвечал: «Начальник, я их жгу!». И младший лейтенант отпрянул: «Что-о-о!» Домбровский пояснил: «Глаголом жгу, но нет у них сердец...», и участковый, сознавая бессилье всех глаголов, проговорил: «Смотри-ка мне!» — и удалился.

Так вот, один из «грамотных», а именно ваш автор, и рассказал писателю об этом ларчике, об этом шкафике. Ю. О. держался правила: все подвергай сомнению. Но с версией моей он согласился. Я изложил ее в «Соломенной сторожке». А здесь не стану. Пусть требует народ переиздания романа.

Отец вернулся к сыну. И на аптечный склад. Домбровский-старший осенился сенью николаворобьинских вязов. А Бурцева, его внимание, его расположение привлек другой юрист, командированный в ЧеКа.

Не надо путать Н. А. Колоколова с его однофамильцем и его тезкой. Тот Колоколов обитал на Каменноостровском. Как раз напротив дома проф. Петражицкого и книжного магазина юридической литературы профессорши Марии Карловны. Но тот Колоколов, если и имел он отношение к юриспруденции, то по касательной — в качестве товарища председателя какого-то, мне не известного, «Согласия». По букве и духу профессиональных занятий в данной точке Каменноостровского следовало бы квартировать другому товарищу — товарищу председателя Петроградского окружного суда. Но этот Колоколов жительствовавал в Первой Рождественской, что, впрочем, имело некоторую топографическую выгоду — близость балабинской гостиницы, где все еще числился постояльцем практик психологической школы проф. Петражицкого, то есть Владимир Львович Бурцев.

Бурцев и Колоколов общались часто. Они нуждались друг в друге. Прокурор, направленный министром в помощь муравьевской ЧеКа, и В. Л., копошившийся в конференц-зале с архивными ящиками. Оба старались распознать подноготную одного из депутатов Государственной думы. Занятие всегда необходимое. В случае с Малиновским — архинеобходимое. Колоколов говаривал Бурцеву: «Ты хорошо роешь, Крот», — и В. Л., польщенный, прихлопывал себя по бокам.

А Малиновский, кумир питерских рабочих, был вне досягаемости. Он находился в германском лагере военнопленных. Выходит, «рентгеновские снимки» надо было бы отправлять в архив, на потребу будущим историкам, и шабаш. Но Бурцев и Колоколов усматривали в деле Малиновского серьезное, козырное свидетельство политических провокаций,

имеющих державный «знак качества». От эдакой деятельности теперь уж пятились плаксивые зеки Трубецкого бастиона, вчерашние труженики Департамента полиции. Но Джунковский — и В. Л. прознал об этом, так сказать, «архивно», — Джунковский, служа царю, чурался провокаций. Внедрение агента Малиновского в Таврический дворец, в русский парламент признал он неприличием. И телефонно известил об этом пред. Госдумы. (В. Л. готов был извиниться гласно за то, что сделал некогда безгласно: зачислил генерала в камарилью.) Добавлю от себя. Ужасно изменились нормативы приличий — неприличий. Есть в нашей Думе депутат, главарь какой-то фракции (само собой, народной); ему сказали, и притом прилюдно, что он стукач. И что же, господа? А ничего! Все та же галантерейная приятность, серебряная прядка, и на коралловых устах улыбочивость играет. Поди возьми такого за рупь за двадцать.

Все эдакое возникает на зыбких кочках. Мне тем и интересен Малиновский. И, говоря по правде, не столько сам по себе «дорогой Роман», а... Не стану дальше называть ни Лениным, ни Не-Лениным. Избавлю вас от путаницы. Избавлю также подлинного Ленина, высокопорядочного Сергея Николаевича, от подозрений в каких-либо неприличиях. Заступника Малиновского стану именовать Ильичом, Стариком. Ему это нравилось. Звучало и почтительно, и по-народному. Даже и несколько патриархально, как обращение к пасечнику в заволжском имени.

Именно Ильич-Старик и направил Малиновского к Бурцеву в канун войны, в январе 14-го. На ул. Сен-Жак Малиновский пришел вечером. Высокий, стройный, глаза чистые, серые; взгляд не то чтобы робкий, скорее застенчивый. Речь ладная. Понравился Бурцеву Роман Малиновский.

Любопытная, хотя в общем-то обыкновенная история. Едва изобличили, с внешностью его случилась метаморфоза, как несколькими годами раньше с портретом (словесным) Евно

Азефа. Все оказалось не таким, каким было до изобличения. Глаза серые стали желтыми. Взгляд вовсе не застенчивым, а бегло-беспокойным. Оспины, прежде малоприметные, придали лицу «свирепое выражение». Рыжие волосы были, оказывается, жесткими — ржавая проволока. А кто, спрашивается, по головке-то гладил? Разве что одна только пухлобеложавая Стефания Андревна; некогда кухарила она у полковника, под командой которого Малиновский отбыл солдатчину... Да, походу забыл отметить. Прежде была энергичной, с вольным отмахом правой руки; после изобличения — вкрадчивой, кощачьей.

Тогда, в Париже, в 14-м году Малиновский, исполняя порученье Старика, просил В. Л. участвовать в очередной комиссии — разборка очередного подозрения в шпионстве. Предложение не польстило Бурцеву. Я уж сообщал — большевиков он не терпел. Он отказался. Но все ж рекомендовал «источнику»: за справками вы обратитесь к Сыркину, московская охранка, сошлитесь на меня; мол, Бурцев просил помочь.

Бедняга Сыркин! С ним очень, очень расплатились. Теперь понятно, Малиновский стукнул. И Сыркин на казенный счет отправился подальше, нежели Макар с телятами. А Бурцев, пожалев, сказал: что делать, такова борьба... А вы б, Владимир Львович, наперед бы Сыркина спросили — готов ли он сотрудничать и дальше? Нет, не спросил. И это, в сущности, не что иное, как беспардонное распоряжение чужими судьбами. Партионно-беспардонное, как говорил ваш друг Лопатин.

А вот Роман Вацлавович везде пришелся ко двору. Рабочие его любили. Интеллигенты радовались: ну, наконец-то лидер из рабочих. И все называли его Русским Бебелем. И он взорлил — и член ЦеКа, и депутат Госдумы. А вместе бо-ольшая шишка в агентуре.

Фарт неслыханный! По одним сведениям — сто целковых, а по другим — полтысячи: из тех вот сумм, которые известны государю и тайному советнику Лемтюжникову. Гос-

дума платит депутату триста пятьдесят. Конечно, член ЦеКа эсеров, тот загребал и тыщу, и полторы, чуть менее министра. Да ведь Азеф, он бомбою жонглировал, он Боевой организацией распорядился, мог порешить и государя. Но и Малиновский, скажем прямо, на бобах не сиживал. Читайте и вздыхайте: 4—7 копеек фунт пшеничного; ржаного 2—3 копейки; говядинка вполне приличная за фунт 6—35 копеек; телятина от гривенника до двугривенного. Ну, и так далее, все в том же духе... Квартиру, правда, нанимал он пролетарскую; там были пианино, оттоманка, этажерки, каждому постеля. А было это на Рождественской. Там и теперь Стефания и сыновья ждут не дождутся его писем — он под германцем, он в плену, он унтер-офицер.

А Колоколов, товарищ прокурора, торопит Бурцева. Товарищ прокурора изучает дело Малиновского. И Бурцев в этом направлении работает под знаком динозавра.

Когда-то дважды, трижды запрашивали Бурцева о Малиновском. Он отвечал: нет, нет и нет. Но оказалось: да, да, да. Положим, он видел Малиновского в течение двух-трех часов. Большевики, положим, не делились с ним своими подозрениями, догадками, предположениями. А все же где его чутье, и глазомер, и навык, связи? Ведь он гарпунил крупную и хищную акулу. Так, значит, и на старуху...

Иной строй мыслей, чувств соотносился с партийным начальником Романа Малиновского. Бурцев не звал его ни Стариком, ни Ильичем; он называл его Ульяновым. Но как-то принужденно. Должно быть, не желая оскорблять память брата этого Ульянова. А псевдонимом звать не хотел. Подумаешь, Онегин или Печорин.

В. Л. подозревал, что Русский Бебель имел одновременно двух кураторов. Один теперь сидел в тюрьме. Другой остановился на Петроградской стороне, у сваяка.

В тюрьме сидел Белецкий. Степан Петрович, сорока четырех от роду. Недавно он сидел в довольно жестком кресле

— директор департамента полиции. Лицом был желтоват, как от хинина. Казалось, весь лоснится. Опережая расспросы Бурцева и Колоколова, Степан Петрович сам строчил, строчил, строчил. И слезы лил, и пот... И это ж он, Белецкий, звал еженедельно Малиновского на randevu. В хорошем ресторанном кабинете. Кокоткой пахло, а за стеною, в зале шум и дребезгливость фортепьяно. А третьим, но не лишним, был Виссарионов, брюнет лобастый, чистюля, с брезгливо-белыми руками. Помощник и клевет Белецкого знал стенографию. Ну, успевай — записывай.

Вторым куратором, по мнению Бурцева, и мнению, скажу вам, справедливому, был тот, кто с бронемашин швырял в толпу, как греческий огонь, свои призывы. Теперь он с Надеждою жил, как вам известно, в доме свояка на ул. Широкой. Но вот уж приглашен в ЧеКа. Его помощник и клевет Зиновьев тоже.

---

Для них вокзал Финляндский — почетный караул, революционный держите шаг, кепчонку с головы долой, ну, и так далее. Для Ник. Андреева и для меня — совсем другое.

Он, журналист, однажды летом получил задание — сварганить для газеты очерк на тему: шумит, гудит родной завод, а нам-то что... Нет, серьезно и конкретно: про завод им. Влад. Ильича. Ваш автор в этот день, свободный от дежурств, старательно баклуши бил. Послушай, предлагает Ник. Андреев, легонько занкаясь (контузия под Сталинградом), махнем-ка, брат, на Выборгскую; я матерьяльчик подстрелю, и мы уж сидим на воле, сам понимаешь... Как не понять, черт подери? Вокзал Финляндский нам был известен прекрасными котлетами. Недорогими, вкусными, не хуже, чем в ресторане при севастопольском вокзале, Орлов не даст соврать... Поехали на Выборгскую. Приходим мы к парторгу. Приятель просит пригласить рабочего — тогда еще не изобрели ужаснейшее: «за-

водчанин», — знавшего (видевшего) Владимира Ильича. Приходит. Лицо большое, умное; усы. Фартук длинный в черных дырках и рыжих подпалинах. Темные тяжелые руки неспешно оттирает масляной ветошью. Исполнен достоинства питерского металлиста. Садится. Парторг просит рассказать об Ильиче. Петрович (Савельич? Игнатич?) глядит на парторга внимательно, вполприщура. Отвечает ясно, твердо: «Товарища Ленина на заводе не видел. А вот Гриша Зиновьев...» Парторг, мне показалось, вроде с шелестом на насест взлетел. Руками машет — октись, октись! И опять, будто крадучись, со своим вопросом-просьбой подступает. Вышло рефреном: «А вот Гриша Зиновьев, тот по-о-омню...»

Надо было уносить ноги. И они принесли нас на Финляндский вокзал, где так хорошо, так провинциально пахло деревянным перроном, только что политым водой. В симпатичном ресторанчике мы мало-помалу восстановили доверие к настоящим питерским пролетариям, которые хоть кого заверили бы, что на завод им. Владимира Ильича никогда не приезжал враг народа Зиновьев.

---

А приезжал он, еще не будучи врагом народа, приезжал Гриша Зиновьев в Париж. В начале века приезжал. Рыженький, молодой, а сердечко-то уже пошаливало. Ему бы на Херсонщине, на папиной молочной ферме, среди евреев-колонистов жить-поживать, так нет, черт догадал переступить черту оседлости. Потом и за кордон метнул.

В Париже подался рыженький к Бурцеву. Видать, адресок имел. Бурцев радушно принял молодого человека. Тот диагноз втихомолку выставил: неподкупный фанатик. Он дал Гришеньке корм, дал кров, книги дал, отвел для занятий в Национальную библиотеку. И в Париже помог, и в Берне помог. А потом и пустил дискантом: чур меня! Чур меня! К Ульянову этот Радомысльский прилепился, Зиновьевым обернулся. Ска-

тертью дорога!.. Вот она, камчатая, и расстелилась: назначено и ему, рыженькому, одышливому, и Старику-Ильичу отвечать на вопросы в ЧеКа по делу провокатора Малиновского.

---

Рассыльный из Зимнего унес в своей «разносной» книге автограф Ульянова, может, и теперь еще не разысканный, Ульянов с лица спал. Сильно он, между нами говоря, растревожился. В течение дня выдавались, правда, минуты, когда он бойчился. Похохатывал, на носках прохаживался, в проймы жилетки ладошки вбрасывал. Словно бы находился не у свояка Елизарова, а у Каплера в кинопавильоне. Да вот ночью-то, когда все затихло, ах ты, доннер-веттер. Понимаете ли, мускульная память возникла, будто закричали: «Каза-а-ки!» — и он ударился бежать. Бежал, как заяц от орла-зайчатника. С плешатой головы котелок слетел, как с плахи. Бежал, пока не грянулся в кювет с палостровской водичкой... Никто не побежал от казаков, только он, никто, верно, не заметил, но признать-то надо, что история всю эту сценку вписала в генеральную репетицию, то бишь в хронику то ли пятого, то ли шестого года.

А хихикать неча. Заполошный, слепящий страх он впервые пережил при известии о том, что брата не помиловали, что брата повесили. И он, младший, пережил эту шлиссельбургскую казнь не то чтобы мысленно, но телесно, с тяжелыми ударами сердца и пресекающимся дыханием. Тот юношеский ужас был наивысшим состраданием. Все другие приступы страха, приключавшиеся, правду молвить, редко, были личными, шкурными, телесными. Не мне, пугливому, над этим трунить.

И он над этим не трунил. Не числил по ведомству — ничто человеческое мне не чуждо. Нет, стыдился. И находил какое-то детское утешение в бессловесно-ласковом участии Надежды Константиновны; так жену его звали, Крупскую. Она никогда ни в чем его не винула. Она не понимала, как можно

его винить в чем-нибудь. Они ходили в лондонский зоологический сад на свидание с белым волком. (Лучше бы, конечно, тот был красным.) Все волки, как и кошки, серы. Сторож объяснял: «Этот нипочем не смиритса с неволей. До последнего издыхания будет грызть решетку».

Нравственные заповеди, якобы изобретенные боженькой, были решеткой. Ульянов умело извлекал свое «я» из тенет и ков. Не только заповеданных боженькой. Его марксистский послух отнюдь не всегда был послушанием. Он полагал необходимым мыслить не так, как мыслили Маркс и Энгельс в свое время, а так, как они бы мыслили в его время.

Но теперь, когда ушел рассыльный, теперь, когда курьер из Зимнего унес в своей «разносной» книжке его автограф, Ульянов перепугался до смерти. Он испугался возможности обнаружения подкладки провокаторства Малиновского. Всегда, везде не слишком-то доверчивый Ульянов отметал намеки, подозрения на дорогого Романа Вацлавовича. Оборона эта, упорная эта защита останется ли незамеченной юристами муравьевской комиссии? А ежели не останется, сыщется ли объяснение для юристов, исповедующих не целесообразность, тем паче революционную, а дух нравственных заповедей, воздействующий и на букву закона. Он сознавал, что от «подкладки» в провокаторстве Малиновского шибает Азефом.

Не практикой Евно Фишелевича, а его теоретическим вопросом. Набывчившись, оперевшись зенками в переносицу Бурцева — там, в кафе близ Рейна, во Франкфурте, — Азеф упрямо сказал: прежде чем меня осудить, следовало бы определить, а на чью мельницу Азеф больше воды вылил — на революционную или контрреволюционную? От здакой наглой дьявольщины В. Л. изумленно содрогнулся.

Ульянов понимал Азефа. И принимал такую постановку вопроса. Это ж в первом порыве — там, на пограничной станции Торнео, — читая в «Правде» об иуде, он процедил: «Расстрелять мало!». В первом порыве обыденной укорененной

нравственности. Но и тогда он знал, сколь глубоко зарыл собаку. И теперь, в ожидании завтрашнего посещения Зимнего, этой Комиссии, он думал о том, что ведь, пожалуй, можно и на «собаку» сослаться. Ну, в таком, знаете ли, полуироническом тоне, с каким атеист приводит довод теиста.

А у меня душа мрет, рука цепенеет, уши закладывает. Ведь это ж какой довод богословов, теологов?! Предательство Иуды нельзя считать благим, но следует считать способствующим благому. Слышите? Способствует! Ну, и выходит, что Малиновский-иуда, загнавший в туруханки сотоварищей Ульянова, делал для партии Ульянова очень и очень необходимое дело. Спросите: какое именно? Он ответит: самое главное и самое важное — противодействовал единству социал-демократии, меньшевикам противодействовал, убеждал рабочих, что только партия Ульянова способна установить диктатуру. Разумеется, пролетарскую. Вот вам и стержень, на котором все вертелось.

Ага, знаю, слышу: мол, этого разъединения сил, этой разобщенности социал-демократии и требовалось охранке. Так что из того, милостивые государи? Что из того? Впервые, что ли, совпадали его, Ульянова, интересы с департаментскими? Он после минусинской ссылки за границу уехал. Так? Так. Думаете, паспорт, добытый в семействе Лениных, пособил переправе за кордоны? Полноте! Отпустили, пропустили и даже, можно сказать, благословили: пусть этот Ульянов-Ленин издает «Искру», проповедью социал-демократии, глядишь, и отвлечет от эсеровского террора.

Такова политическая диалектика. Таковы доводы теологии. Однако пойдика толкуй с присяжными поверенными и прокурорами, дипломированными лакеями буржуазии, заседающими в ЧеКа, куда ему надобно явиться утром, предъявив повестку в Советском подъезде.

Не скажу, ночь пошла на убыль, ночь-то была белая. Захотелось оставить в комнате все свои страхи, разбудить На-

деньку да и пойти на Острова, но лучше бы пойти на Острова с Инессой (он имел в виду тов. Арманд, красавицу. Они вместе вернулись из-за границы в Россию), у Инессы, надо полагать, живот не такой дряблый, не такой серо-анемичный, как у Наденьки. Из кухни, а может, из окна пахнуло газом. Газовый завод был неподалеку, запах вызвал в памяти старый грязный цюрихский дом, где была колбасная, тухлятиной припахивало, и они с Наденькой на ночь закрывали окна. А из окна вагона Берлин казался безлюдным, полумертвым, и оттуда возник господин в штатском, выправка прусская, надо полагать, сотрудник Третьего отдела. Наденька во сне простонала. Бедняжка вконец измучена ожиданием завтрашнего, нет, уже сегодняшнего допроса в ЧеКа, а ты идиотически решаешь, в какой подъезд войти — в Советский или Комитетский, хотя это не имеет ни малейшего значения; в тот ли, который ведет в залу заседаний, где бывали те, кто в советах заседать может, но советы подавать не может. Иль в тот, который направляет господ чиновников к ристалищам разных комитетов.

Какие-нибудь пустяки, вы ж знаете, иногда переменяют настроение. Задача с двумя неизвестными подъездами воздействовала на него положительно. Ужасные опасения, словно выпровоженные за ширмы этой комнаты, где он мучился бессонницей, сменились соображениями неожиданными, но очень добротворными, точнее, всегда ему необходимыми и полезными для душевного равновесия. Пусть не покажется вам странным, но он подумал о Джунковском. Том самом шефе жандармов, которого мы со свояченицей иногда встречали на Каменноостровском, и который, теперь уже «бывший», жил на Арбате... Мысль о Джунковском напрямую связывалась с мыслями о Малиновском. Его службу в охранке генерал Джунковский счел неприличием, ибо Малиновский был депутатом Государственной думы. (Экая, однако, щепетильность, не правда ли?!) И генерал, что называется, поставил в известность председателя Думы. Но... Но партию большевиков в извест-

ность не поставил. Хорош гусь!.. Ульянов воодушевился, ободрился. Так происходило всякий раз, когда возникала возможность заушательства, клеймения позором, выведения на чистую воду. Он хохотнул, спустил на пол голые ноги и, выпростав полу длинной ночной рубахи, обратился в муравьевскую ЧеКа: «Под суд Джунковского за укрывательство провокатора!». Склонив к плечу лобастую голову, очень похожий на бурого кога, он словно бы ждал ответа. Однако басистый бой часов, доносившийся из столовой, приблизил к нему Советский подъезд, и он проворно убрался под одеяло, к Надежде Константиновне — так жену его звали, Круппскую.

---

Одноразовые допросы Ульянова и прочих произвел следователь по особо важным делам Петроградского окружного суда. Сухощаая фигура Александрова П. А. отсутствует в высокохудожественной лениниане эпохи Советов. В моей памяти Павел Александрович присутствует. Жил на Б. Московской, 13. Помню потому, что на одной площадке была квартира доброго моего приятеля, потомка декабриста и будущего белогвардейца, офицера лейб-гвардии Московского полка.

Следственные материалы передал Александров прокурору Колоколову. Передавая, приватно делился впечатлениями. На тонких бледных губах следователя то возникала, то гасла полуулыбка. Он был не то чтобы участлив и не то чтобы безучастен. В его замечаниях сквозил интерес завтрашнего контрразведчика.

Ульянов, говорил Павел Андреевич, был очень бледен, очень напряжен. Ульянов оправдывался в своем доверии к Малиновскому, старался объяснить это доверие. А Зиновьев... Общее впечатление: нахальство, разнузданность. Развалился, колыхался, точно без костей. И орал: я вам никакой не Радомысльский! Меня партия знает как Зиновьева, меня пресса знает как Зиновьева. Так и пишите в ваших протоколах — Зи-

но-вьев!.. Господи, Павел Андреевич даже и не предполагал, что евреи столь щекотливы к раскрытию собственных псевдонимов. На языке у Александра вертелось: «Жидовская наглость!», — но с языка не сорвалось.

Кроме Ульянова и Зиновьева подверглись допросам и Рыков Алексей Иванович, 36 лет, из крестьян Вятской губ.; и Бухарин Николай Иванович, 28 лет, сын надворного советника; и Трояновский, весьма и весьма заслуживающий внимания, — см. ниже... И совсем к ним не примыкавший Давид Иосифович Заславский, 37 лет, вероисповедания иудейского, журналист. Тогда он жил в Петрограде, кажется, в Заячьем пер. А под конец своей долгой жизни, осложненной простатой, жил в Москве, поблизости от редакции «Правды».

Показания Заславского в муравьевской ЧеКа примечательны не только тем, что он зорко высмотрел качество, позарез необходимое иудам и часто им свойственное. Заславский сказал: Роман Малиновский — «властный руководитель рабочего движения»... Разматывая несколько иной сюжет, Давид Иосифович приобщил к агентуре германского империализма нескольких иудеев, близких к Ульянову и находящихся в Скандинавии, в частности, в Стокгольме... Нужно сказать, в своих газетных, чертовски хлестких публикациях меньшевик Заславский не жаловал большевиков, а чаще всего — именно Ульянова. Тот называл его «махровым» врагом, нисколько не предполагая, что своей ненавистью разбудит благоволение к Заславскому тов. Сталина.

К выстроенному для сотрудников «Правды» дому, к 6-му подъезду, там деревянная дверная ручка потом, за долгие годы истончилась, иссушилась, будто куриная косточка, к подъезду подавали автомашину, в просторечии «эмку», и он выходил, этот плотный старик в костюме-тройке, при галстуке и сивых моржовых усах. Его толстый кожаный портфель с блестящими замками вызвал уважение цитатами из Салтыкова-Щедрина, верстками статей типа «Собаке собачья смерть» —

о Троцком, сами понимаете; или — «Кнут Гамсун гниет заживо» — о норвежском писателе, впадшем в гитлеровщину. Важный, даже, пожалуй, надменный старик садился в машину и ехал в редакцию «Правды» — автопробег длиной метров шестьсот—семьсот. Взгляд его маленьких глаз, похожих на канцелярские кнопки, ловили правдисты-коммунисты. Еще бы! Махрового меньшевика, хулителя Владимира Ильича, рекомендовал принять в партию не кто иной, как сам генеральный секретарь, он же вождь мирового пролетариата. Тов. Сталин любил устраивать тов. Ленину эдакие не очень крупные, но чувствительные пакости. Однако вот какая преинтересная штукавина. Приспело время — это уж когда дверная ручка истерлась, иссохла — и почти вся партия, кроме, разумеется, старых большевиков еврейской национальности (так и писали), осознала, значит, что еврей, будь он и трижды коммунистом, будь он и трижды кавалером ордена Ленина, еврей он и есть еврей. А точнее, жидок, жид, жидовская морда. Вот так-то, братцы мои, и с Давидом Осиповичем приключилось. Послужил — и хватит. Велел тов. Сталин опустить тов. Заславского. Секретарь райкома на ул. Масловке, где еще домишки избы горбились, но уже шибко ударяло гаражами, механическими станками, в райкоме, стало быть, собрались его, махрового меньшевика, изгонять из отары большевиков; секретарь в родном полувоенном глянул, точно украдкой, на старика «исключаемого» и говорит боевым товарищам: «Прошу голосовать. Кто — за?». На этом самом месте секретарша секретаря с круглыми глазами и красными пятнами на лице шепотом зовет к «вертушке». Через две-три минуты вернулся товарищ секретарь районного масштаба (кажись, Октябрьского), делает ручкой — мол, все свободны. И к тов. Заславскому обращается: рассмотрим позже. Все расходятся в некотором обалдении, а тут и раскатывается черный гром: товарищ Сталин помер...

Никакой, полагаю, мистики, а, как говорится, иероглифы

истории. Стукнув на сотоварищей Ульянова следователю по особо важным делам, будущий ведущий правдист взял извозчика да и поехал в какую-нибудь редакцию, исключая, само собой, «Правду». А ее создатель, нервно измочаленный, ни выступать, ни писать не мог. Весь остаток дня пребывал он в душевном параличе. Вот разве что вяло проглядел свежие гранки очередного номера все той же «Правды», каковая, думается мне, именно с этого дня сделалась невыносимо правдивой.

---

А Колоколов между тем прочел следственный материал, требующий его, прокурорской, оценки, но Николай Александрович почему-то перелистывал толстенно-тяжеленный фолиант, с окраин шершавый, словно типографщики рашпилем прошлись. Фолиант этот не имеет прямого отношения к нашему сюжету.

Прямое отношение имеют показания бека Трояновского. В протоколе, как и полагается, записано: Трояновский Александр Антонович, православный, журналист, бывш. офицер, Александровский проспект, 1, общежитие эмигрантов.

Повторения о Малиновском опускаю. Дьявольски важное предлагаю. Пункты, обозначенные Трояновским. Пункты по поводу партийной комиссии, разбиравшей дело Малиновского еще в эмиграции. Такие вот утверждения: Ленин и Зиновьев были теснее тесного связаны с провокатором; следовательно, самозачислившись в комиссию, разбирали свои же дела. Далее. Не был поставлен вопрос, какие следует принять меры обеспечения безопасности партии; запретили Бухарину сообщать кому-либо о составе комиссии. Допрос свидетелей велся пристрастно. Меня почему-то отказались допросить. Указывая перечисленные здесь неправильности, получал неизменный ответ: исправим. Из резолюции удалены показания Бухарина, а некоторые другие оставлены без внимания. Несмотря на обилие данных, обвинявших Малиновского, комис-

сия даже не усомнилась в его честности. Больше того. Телеграммы о его честности посылались Лениным и Зиновьевым еще в самом начале деятельности комиссии.

Ну-с, что скажет прокурор? Что же наш Колоколов? Основную следственную работу своротил, груду архивного вместе с Бурцевым перелопатил, от дела не бегал. Однако сейчас, право, занимался не делом.

Скажите, пожалуйста, встречался ли вам крупный прокурор, питающий пристрастие к французским гравюрам осьмнадцатого столетия? И это при том, что на его громадном, черном, мореного дуба письменном столе с позолоченным письменным прибором, напоминающим надгробие купца первой гильдии, лежат несколько номеров иллюстрированного журнала «Жизнь и Суд», издающегося при постоянном сотрудничестве В. Л. Бурцева. Николай Александрович, человек здоровый, позвольте сказать, медвежистым здоровьем, спокойный, никакими художественно-эстетическими веяниями не тронутый, листает толстыми пальцами большие, шершавые, под старину, страницы фолианта, изданного сравнительно недавно, за год до европейской войны, в Берлине: «Das französische Sittenbild». Он прикладывает лорнет, театральный, черепаховый, дедушкин, его коричневые глаза маслятятся при виде тонких женщин с выпуклыми грудями, кавалеров в париках и белых чулках, при виде альковов, каминов, собачек, коленопреклонений, поцелуев, легких намеков на финал амурных претензий... Да что же сие значит, черт дери? А? На дворе — Семнадцатый, правительство — временное; все вздыбилось, какой-то Совет рабочих и солдатских депутатов нахально вмешивается в течение дел государственных, а тут, знаете ли, тут, понимаете ли... причуды Николая Александровича, совершенно не соответствующие ни положению, ни профессиональным интересам. Говорю во множественном числе, ибо — вот и еще. Прокурорша и кухарка готовят не то чтобы роскошный, но все же не ежевечерний ужин. Прокурор Коло-

колов, видите ли, однажды в год принимает Колоколовых. Не родственников или свойственников — однофамильцев. Петербургских однофамильцев, обнаруженных в Адресном столе. Их не так уж и много. Есть где упасть яблоку. Среди них, между прочим... Опять, извольте, иероглиф истории... Среди них Колоколов Сергей Александрович, служащий в департаменте земледелия, где он нынче имел служебный разговор с Лениным, Сергеем Николаевичем; представьте, как раз в те часы, когда ненастоящий-то Ленин, волнуясь и спеша, давал показания следователю по особо важным делам. Впрочем, те, кто припожалует на Рождественскую к прокурору Колоколову, нимало не заняты Малиновским, Ульяновым и прочими, даже и Заславским, который пишет хлестко; нет, они читают «Биржевые ведомости», живут обыденно и не желают никаких перемен. Хватит... После свержения царя самое необычное в их жизни — вот эти застолья у Николая Александровича, смысл и назначение которых никто не возьмет в толк, а только чувствует тихую радость. Опять же вопрос: что же это за чудачество такое? В чем сдль-то? Отчего именно гравюры и ежегодные трапезы приторочены к серьезной, основательной натуре черноволосого, тяжелой стати прокурора, говорящего вдумчивым неспешным басом? Станный вы прокурор, товарищ прокурора...

Призадуматься бы, да появился Бурцев. Лучше сказать, вбежал. Взъерошенный, сердитый. И вовремя: за окнами, раскрытыми настежь, пролился ливень — крупный, тяжелозвонкий, такой обильный, что заливным быть не обещал. В. Л. замер у окна. Лицо его имело выражение радостного удивления. Он рассмеялся, как мальчик. Мальчик, который всем делает пакости, оказался просто хорошим мальчиком. Но это замечательное, давно не испытанное состояние независимости от обязательств, принятых, нет, возложенных на собственное «я», было минутным. Давешнее возбуждение вернулось, возвестив о себе двумя восклицаниями: «Улизнул!» и «Надул!»

Оба восклицания, имевшие криминальный оттенок, адресовались не прокурору, не прокурорше с кухаркой, а Владимиру Ильичу Ульянову. По мнению Бурцева, и я это мнение разделяю, бывший присяжный поверенный обвел вокруг пальца следователя по особо важным делам. Объяснениями, оправданиями Ульянов, по мнению Бурцева, опять же мною разделяемому, заманил, завлек, увел следователя с проезжей части на обочину. Умолчал, скрыл, не вывернул главного. А именно? Извольте. Несчастный Малиновский, руководимый Белецким (департамент полиции) и Пломбированным (ЦеКа большевиков), действовал в направлении развала социал-демократии, препятствовал соединению сил, что и было заединством тайной полиции с подпольной, нелегальной партией. Пломбированный попустительством следователя увильнул от чрезвычайно важных расспросов по каждому из пунктов, указанных Трояновским... Как всегда в минуты крайне нервические, В. Л. изъяснялся и не очень внятно, и очень перебивчиво, перегружая язык свой множеством междометий. Сводилось же все к тому, что и Муравьев, и он, Колоколов, обязаны вновь допросить Пломбированного и его тень, его рупор — Зиновьева. И тем самым способствовать исследованиям архиважным. Каким? А таким, каковые имеют быть законспирированы безо всяких «бумажек», а значит, бесследно, архивно бесследно. И, стало быть, играющих роль несоизмеримо-существенную в сравнении с провокаторством несчастного, изнасилованного Малиновского...

На мой взгляд, В. Л. высказывал соображения, заслуживающие серьезного внимания. Колоколов, однако, слушал с опасливой конфузливостью. Понятно! Время-то близилось к семи, к ритуальному ужину однофамильцев, и Николаю Александровичу страсть как не хотелось поразить Бурцева столь неожиданным и труднообъяснимым действием. А тот, хотя и находился в большом возбуждении, даже и ногой дрыгал, отчего еще пуще смахивал на рассерженного козла, а все же улав-

ливал необычное состояние прокурора, ему, Бурцеву, симпатичного. Улавливал, да, однако, как все самолюбивые люди, отнес на свой счет и разобиделся.

В. Л. побился бы об заклад, что Николай Александрович, слушая его, Бурцева, умозаклечения и призывы, мысленно повторяет упрек, давно брошенный ему заочно, упрек, обжигавший В. Л., словно каустик: Бурцев, конечно, неподкупный фанатик, но ради сенсации и личного тщеславия отца родного отправит на эшафот; к тому же чертовски самонадеян, оттого и опасен. Между нами говоря, зернышко правды было, потому-то В. Л. всякий раз и обижался, и злился. Но сейчас не до перекоров! Какая шумиха, какая сенсация? Россия погибнет, как не понять?! Он спросил прокурора запальчиво: намерена ли ЧеКа востребовать материалы контршпионажа?.. Колоколову почудилось, будто сам по себе звук — контршпионаж — заставил бурцевское пенсне испуганно скользнуть к кончику носа. А Бурцев, подхватив пенсне, воздев руки, вдохновенно воскликнул: «Богатейшие данные!». После чего произнес пулеметно: «Да, да, да!» — и, к удовольствию Николая Александровича, без проволочек удалился.

---

### Контршпионаж?

Читатель тотчас обратится мыслью к долгоиграющему предмету художественного изображения. Вашего автора это не прельщает. Личные впечатления — гнуснейшие. Однако именно в контрразведку и отправился Бурцев.

Петроградской заведовал некто В. Принадлежал он к адвокатско-судейскому племени, как и члены муравьевской ЧеКа; стало быть, из новичков, назначенных Временным правительством. Дознаваться, кто именно значился под литерой «В», лень — его роль номинальная. Княжил и правил, идейно и практически, капитан, недавно вернувшийся с театра военных действий.

На мой слух всех милее: капитан-лейтенант. Но и капитан звучит гордо.

Никитин был из тех, о которых говорят, одобрительно улыбаясь: скроен ладно, крепко сшит. Он не окапывался в штабах. Он окапывался в траве-окопник. Капитана контузило. Он оставался в строю. Полковник приказал освидетельствовать Никитина в прифронтовом госпитале. Там боевые качества воинов определяли по числу конечностей. Капитана признали годным. Полковник, старый служака, выразил свою досаду громовым сморканием в огромный носовой платок, после чего отправил Никитина в отпуск, указав в сопроводительной: по личным, мол, делам. Он поехал в Петроград.

Война отменила батальную гордость нации: кивера, каски, ментики, мундиры с шитьем золотом и серебром. Эстетика парадных смотров сменилась эстетикой траншей, окопов, землянок, эшелонов. Даже и на Невском, черт дери, редко звенели шпоры, спадающие до каблука, шпоры савеловские, фирма такая была. Звон заменил запах, прежде неслышанный, то есть, хочу сказать, господа офицеры прежде так не пахли. Брезенто-каучуковый запах непромокаемых пальто-берберри; изделие английской фирмы «Берберри», даже и в ведро наводило на мысль о дождливой погоде.

Никитина как фронтовика можно было, говорю вам, узнать с первого взгляда. На левом рукаве поблескивал знак ранения — узенький золотой галун. Пуговицы были обшиты солдатским сукном, чтобы, значит, не блестели на дальнее расстояние. И погоны не золотые или серебряные, а солдатские, глухого цвета, с зелененькими металлическими звездочками. Размером небольшие — что у прапорщика, что у генерала. А почему так? Не потому ли, что сверх сердца у каждого нагрудный знак: «Армия свободной России»?.. Тут, однако, у меня некоторая запинка. Полагал, что свободная армия свободна от денщиков. Да, но как же тогда сапоги-то с ног стащишь? Сапоги еще удержались истинно офицерские, требующие для

разувания больших мужицких усилий. А вот и еще новшества: на портупее — карманчик для свистка, в руках полевая сумка отличной кожи, ух, какая эластичная и какая военная. И этот прагматический шик: кожаный портсигар на тоненьком ремешке через плечо: папироски всегда под рукой, действуй машинально.

Вообще же следует представить вам одно важное соображение. Начало каждого царствования отмечалось мундирными нововведениями. После чего наступала стабильность. Революция и война, отрицающие стабильность, явили скоротечность фасонов обмундирования. И включение в процесс иностранного влияния. Кителя с накладными карманами сменялись гимнастерками без карманов, вторгались френчи, даже и галифе, хотя их изобретатель генерал Галифе и удушил коммунаров, то есть был врагом свободы. И почему-то с кителем крахмальные манжеты надевай, а с френчем можешь и не надевать.

Нигде не была столь явственна иностранщина, как в Генеральном штабе. Бриджи, мощные ботинки, краги, стеки. Впрочем, камышовые стеки с ручкой слоновой кости — это у английских офицеров. А фуражки с мягким козырьком и у французов, и у британцев. С этакой публикой весьма вскоре наш капитан завел доверительные отношения. И сам стал, как и они, надевать открытый френч, белую рубашку с черным галстуком, заимел кожаную двубортную куртку с отложным воротником черного бархата и с красным кантом. Спросите, что за род войск? Отвечаю: контрразведка.

Не дознавался, служил ли Борис Владимирович Никитин и до войны в контрразведке. Не знаю, кто предложил ему эту службу в Петрограде. Знаю, что он некоторое время колебался. Он боялся товарищей. Тех, кто остался там, на позициях. А-а-а, скажут, Боречка-то наш... Я сейчас примерчик такой ляпну, от которого многие господа брезгливо поморщатся... В мое время на Северном флоте командовал подводной лодкой

«малютка» Фисанович. Израиль, извините, Фисанович. Стояли мы борт о борт к норду от Полярного, в Оленьей губе. Фисанович был Героем Советского Союза. Говорили, что англичане величают Израиля «звездой советского подводного флота». Вообразите: Израиль — и звезда. Ей-ей, не трудно захлебнуться венозной кровью. Его захотели убрать с глаз долой — в Военно-морскую академию. Он отказался. Маленький, ладенький, в неизменно кожаной тужурочке, Фисанович мрачно ухмыльнулся: «Не пойду. Вы же и скажете: жиденок с войны улизнул!». Да, отказался. И вскоре погиб. При обстоятельствах, как у нас рассуждали, несколько странных... Я об этом не к тому, чтобы еврея выставить навывередки, а к тому, что и капитан Никитин опасался «общественного мнения». И он колебался, пока его не вызвал главнокомандующий Петроградским военным округом генерал Корнилов. Лавр Георгиевич просил Никитина озаботиться искоренением германских шпионов, кишящих в Петрограде.

Правду сказать, женили Бориса Владимировича на бесприданнице. Ни кола, ни двора. На Знаменской, в доме контрразведки сильно погулял мартовский красный петух. «Орган» жгли, как жгли тогда полицейские участки; громили, как Департамент на Фонтанке и губернское жандармское управление на Фурштаттской. Контрразведку, опережая время, равняли с охранкой.

Впрочем, задачу квартирьера капитан Никитин решил быстро. Не без участия, однако, иронии истории. Никитин захватил служебную «площадь» у Невы, на Воскресенской набережной. Дом в три этажа еще совсем недавно принадлежал конвою его величества. Но теперь, как вы понимаете, государя окарауливали не статные, школеные-перешколенные кавказцы, а какие-то архаровцы с красными бантами, и потому в двух этажах очень хорошо и удобно разместилось хозяйство капитана Никитина. Так-то оно так, но надо было бы озабо-

таться приобщением и третьего этажа, пустовавшего. Не озаботился. И вскоре вылупил глаза на фанерную указующую стрелку с хулиганской надписью: «Боевой отдел Литейной части большевиков. 3-й эт.». И арсенал, и митинги, и шляются туда-сюда, и отличный наблюдательный пункт за входящими-исходящими контрразведчиками, главная задача которых как раз в том и состоит, чтобы из плотной атмосферы, окружающей этих самых большевиков, выдергивать шпионов кайзера Вильгельма. Диспозиция взбесила Никитина. Он бросился в Генеральный штаб. Нашел, что называется, полное понимание. Увы, платоническое. Все воинские команды, включая казаков, отказались выдворять беспардонных ленинцев из дома на Воскресенской набережной точно так же, как и из особняка Кшесинской на Петроградской стороне.

Капитан смирился. Он жаждал дела. К делу побуждали слова. Об измене отечеству Ульянова и К°. Лично я не вижу в «измене» ничего странного. Какая же измена отечеству, коли у пролетариев оно нет?! А на нет и суда нет. А Борис Владимирович таковую логику понять не умел. И торопился двухэтажно обустроиться.

Нельзя не признать капитана Никитина удивительным администратором: он не раздувал штат. Перво-наперво учредил шефа канцелярии. Поставил шестерых столоначальников. Реанимировал агентов. Рекрутировал сотрудников-чиновников. Какой россиянин-начальник не поймет чудовищные трудности, вставшие на всех стежках-дорожках? От Никитина требовали строжайшего соблюдения законности. Он и сам дал себе зарок ни-ни не нарушать. Это ведь что же, а? Все равно что в забеге участвовать, привязав к ногам чугунные ядра. Как бы ни было, штат он комплектовал. Комплектовать значило уговаривать юристов в том смысле, чтобы они не считали контрразведку синонимом охранки. Именно юристов и приглашал Борис Владимирович на Воскресенскую набережную. А предварительно советовался и с прокурором Петроградского ок-

ружного суда, и с его товарищем Колоколовым. Туда, в окружной суд, капитану Никитину и надлежало препровождать законченные расследования шпионских проделок. И ни на понюх политики. Правда, с неистовыми ленинцами обнаруживается затруднение: политика сливается со шпионством; нет, нет, не агентурным, другим, потоньше, пообманнее.

В его штате числился двадцать один юрист. Он выиграл в «очко». Опытного следователя по особо важным делам он назначил начальником всей агентуры, то есть наиважнейшей отрасли и разведки, и контрразведки. Этим начальником как раз и был Александров. Тот самый Павел Александрович Александров, который в муравьевской ЧеКа допрашивал Ульянова и Зиновьева по делу Малиновского. Тот самый, который, по мнению Бурцева, позволил Ульянову легко отделаться, улизнуть от обвинения в нравственном растлении провокатора, «дорогого Романа».

Неудовольствие Бурцева понятно. Г-н Александров не запустил в оборот показания Трояновского. Но, может быть, у Павла Александровича были какие-то свои соображения на сей счет? Он знал все дела, всех, кто находился в «разработке», в целях которой давал задания ста восьмидесяти агентам; в их числе и таким превосходным ищейкам Временного правительства, как старший агент Ловцов или Касаткин.

Имя последнего напоминает о том, что и на старуху бывает проруха. Касаткин неделю кряду «держал на проследке» Ленина с Васильевского острова, удивляясь его неконспиративности и неполитичности. Касаткина вразумили: мол, этот Ленин и вправду Ленин, в министерстве земледелия служит; а тот... тот Ульянов, а Ленин — кличка.

Между прочим, и в регистрационных карточках упраздненного департамента полиции, и теперь, в конторе капитана Никитина, указывалось: «Ульянов, кличка Ленин», что в данном случае, несомненно, точнее интеллигентского: «псевдоним». (Признаюсь, об этом следовало написать выше. Когда

шла речь о Сергее Николаевиче Ленине. И отметить, так-де простая дворянская фамилия, имеющая онегинско-печеринский оттенок, превратилась в кличку, или, по-нынешнему, в кличку. Да, выше надо было написать, а здесь и сейчас указать другое.)

Видите ли, наш Капитан нуждался в помощи союзников, то есть агентов французского и английского империализма, каковой тогда почему-то считался оплотом мировой демократии. Сказать яснее: хозяйство Никитина нуждалось в «веревочке» из-за границы, из Германии, из Стокгольма, из Копенгагена.

Борис Владимирович сокрушался, по-гвардейски растягивая слова: «До войны мы не успели закинуть в Европу широкую и прочную сеть агентуры». Мне бы, русофобу, ехидненько ослабиться. Однако капитану решительно возражает ветеран КГБ: «До революции у императорской разведки была превосходнейшая агентура, которая осталась нераскрытой — в германском и австрийском генштабах». Вот так-то, господа! — «превосходнейшая». Спасибо ветерану КГБ; впервые в жизни адресую «спасибо» гебисту, да и не могу иначе: истаяли все мои сомнения-недоумения, прорвались все тупики, возникавшие и в дни возвращения Пломбированного из Цюриха в Петроград, и в ту пору, когда сотрудники капитана перехватывали телеграммы, на первый взгляд, совершенно безобидные, и втихую просматривали банковскую документацию.

За наших героев невидимого фронта испытываю патристическую гордость; случается и такое причудливое сочетание с русофобией. Притом не могу не помянуть добрым словом и не наших героев того же фронта. Имею в виду так называемые делегации, французскую и английскую, аккредитованные при Генеральном штабе. Они-то и были источником информации, куда более существенной, нежели та, которой снабдил вашего автора в Голицыне писатель Виктор Фи-к: (см. начало этого романа, длинного, словно очередь будущих зарубежных

издателей). Информации, уточнюю, особенно ценной для капитана Никитина, а также и в известной мере для Бурцева. Надеюсь, понятен характер сообщений, исходивших, как рентгеновские лучи, из указанных выше делегаций? Так точно, господа, о связях Плюмбирова и близких ему человечков с погусторонними бойцами невидимого фронта, с германцами.

Меня просили не нарушать традиции, то есть не называть настоящих имен. Подписки не давал, а просьбу не выполняю — в моей традиции указывать имена подлинные. Разумеется, не пригоршнями швырять, а выборочно.

Начну майором Аллей, хотя бы потому, что майор был близким знакомым замечательного романиста и несколько вялого разведчика Сомерсета Мозма. Этот Аллей почти безостановочно поигрывал стеклом, что наводило на мысль о долгой службе в колониях. Принадлежал он к редкому типу — почти альбинос и почти трезвенник. Русские военные историки вряд ли простят ему то мрачное злорадство, с каким майор порочил наших доблестных юнкеров. Прислали восьмерых охранять британское посольство; выюноши в первую же ночь умыкнули у посольских секретарей ящик виски энд ящик кларета. Последствия? Блевали в вестибюле. К утру легли вповалку — должно быть, ждали, когда спокуют им: «Господа юнкера, господа юнкера...». А интересно то, что майор Аллей, хоть и злорадствовал, весь день возился с беделлагами. Ведь он чертовски опасался выхода России из войны.

Такая же опаска брала французов. Тут как не вспомнить парижскую консьержку в доме Бурцева на улице Сен-Жак, она, бывало, торопила наступление на Восточном фронте. Тут как не вспомнить клуб моряков в Архангельске, где лейтенант-британец уступал нам штурм Берлина.

Союзников-шпионов обнимали крылья зданья Росси. Крестовый ангел склонялся над штабистами. Мне кажется, французы давали фору англичанам. Из очень энергичных подвизался майор Тома, на котором чертовски элегантно сидели

галифе, в России еще редкие. Мизинцем ласкал он эспаньолку. Он был отличным шахматистом. И мастером различных комбинаций вне шахматной доски. Его превосходил, сдается, Пьер Лоран. Этот принадлежал к тем, кого Мишаня, наш лагерный зав. кухней, называл «кластический мужчина». Лорану поручили свить в Петрограде отделение 2-го Бюро Генштаба французской армии. Он свил. И тотчас прицепил агента к управляющему страховым обществом «Волга». И промазал: свояк-то Ленина, Марк Тимофеич Елизаров, служил хоть в «Волге», но другой...

Назвал я нескольких. Разнопородных, разнородных. Но иногда случалось, с общим выраженьем глаз. Точь-в-точь как у полковника Мак-Миллана, у лейтенанта Леви, разведчиков американских. Дурак, вступил я с ними в разговор в питейном заведении на Тверской. Я знать не знал, кто эти парни. Они, наверное, решили, что я подослан Берия или Абакумовым. И я внезапно онемел: глаза их обрели непроницаемость печных заслонок. Наши умели другое: прикидываться проницательными, все ведающими. А эдак закрыться и не пускать — не умели. Чем и озадачивали неприятно Никитина и Бурцева, хотя оба сознавали профессиональную необходимость некоторой игры в прятки.

Бурцев был нужен Никитину. Никитин был нужен Бурцеву. И тот, и другой нуждались в союзных шпионах и контршпионах.

Бурцев шел по следу Пломбированного с упорством прежнего хождения вослед Азефу. В. Л. утверждал, что еще до войны Пломбированный обещал немцам занять позицию «пораженца». В. Л. обладал и знанием «клиентов». Тот, кто для военной разведки имел имя, не имел, так сказать, фигуры. В. Л. не нужны были внешние проследки, чтобы устанавливать связь между фигурами. Но он не располагал фонариком, луч которого шарил бы там, в Швейцарии, Германии, Швеции.

Среди текстов... Вместо «рукопись» нарочито употреб-

ляю «текст» — это почему-то ужасно злит писателей, преуспевавших в пору последних генсеков... Так вот, среди моих текстов есть один или два про возвращение Ульянова из Цюриха в Петроград. Некоторые весьма примечательные штрихи не обозначены: не знал то, что стало известно Никитину с Бурцевым, частью, вероятно, от агентуры во вражеских штабах, частью, несомненно, от «делегаций», расположившихся в Генштабе на Дворцовой.

---

Романы начинались так: «Таинственный поезд с погашенными огнями отправился в путь ровно в полночь». Романы не читали. Их слушали, притаив дыхание, расположившись гуртом на вагонках. Нары издавали незабвенный запах давленных клопов и мертвечины. Тот, кто умеючи «тискал руманы», пользовался благорасположением общим — от паханов до шушеры-крысятников. Как, собственно, все создатели «попсы». Подкармливали, ссужали табачком. В моменты особого восторга предлагали не козью ножку, а сигарету.

Пресловутые поезда уходили в ночь не из какого-нибудь Тамбова, а из Лондона или Нью-Йорка. Париж, сколько помню, почему-то не возникал... Тамбов принадлежал песне: «Шла машина из Тамбова прямо на Москву. / Я лежу на верхней полке и как будто сплю». Слышите? Не паровоз, а машина, что и указывает на старинное происхождение воровской песни. Ныне она забыта. Забыты и те рокамбольные романы, чьи сюжеты питали устные романы, имевшие своей аудиторией многочисленные бараки разных широт и долгот.

Весь этот пассаж ведет к тому, что на одной из станций на швейцарско-германской границе готовился в путь таинственный поезд. Несомненно, с погашенными огнями. И, разумеется, отправляющийся ровно в полночь.

Все вагоны имели по четыре купе с наружными и внутренними дверцами. Однако в хвостовом вагоне три купе были

заперты и запломбированы. Сколько бы впоследствии ни долбили — мол, plomb не было, — они, тяжелые, свинцовые, были. В четвертом, последнем, купе этого вагона находились офицеры спецслужбы. Рядом с хвостовым вагоном располагалось воинское подразделение, имевшее боевую задачу убежать пассажиров, затихших в трех купе, от любопытства вчуже, от каких-либо контактов с подданными кайзера Вильгельма. В отдельном купе головного вагона лейтенант Шюлер (через «ю») временно освободил свою физиономию от неукоснительно-служебного выражения, отчего она, физиономия, имела сейчас выражение почти бессмысленное. Лейтенант Шюлер не расстегнулся, а рассупонился, потому что был он офицером фельдъегерской службы.

Вышеизложенное позволяет заключить, что поезд таки-да отошел от перрона с погашенными огнями. И, несомненно, ровно в полночь. Однако не кромешную, пригодную для выкальвания глаз, какие обычно бывают в романах, а негустую, с просветами, какие бывают весной.

Впрочем, пейзажные зарисовки в лагерных повествованиях отсутствовали; присутствовал, и это очень хорошо, род табличек: «Здесь лес» и «Здесь море». Не наблюдалось и заботы о географической точности. Поезда с погашенными огнями, случалось, мчались из Лондона напрямик в Нью-Йорк, нимало не считаясь с Атлантическим океаном.

Повинуясь этой экспрессии, не стану называть местности и города, озвученные стуком колес и гудками локомотива поезда, на хвосте которого качался красный фонарь, а внизу, на рельсах, дрожал, то отбегая, то приближаясь, светлый зайчик. Назову разве что Карлсруе, где некогда, студентом, учился «сотрудник из кастрюли» Азеф, ныне пукавший в тюрьме Маобит как русский шпион еврейской национальности. Но остановку таинственного поезда в Берлине увязал бы с Моабитом и Азефом только уж очень и очень беспшабашный «тискальщик руманов». Но что верно, то верно. Как раз в Берлине,

казавшемся вымершим, безлюдным, к пломбированному вагону, разверзая предутренний туман, пахнувший дымом походной полковой кухни, в Берлине-то и появился господин в штатском, но, как указали бы романисты, с военной выправкой. И в данном случае непременно последовало бы расхожее уточнение: прусской. Ан вот и нет, не прусской, а саксонской, которую я поостерегся бы назвать образцовой. Шаг у него был легкий, почти грациозный, бледен он был какой-то хрупкой бледностью, и все это вместе — и шаг, и бледность — вызвали ассоциацию с сервизным фарфором. А между тем род его службы исключал и грациозность, и хрупкость. То был Арвед фон дер Планиц. Ротмистр резервного королевского саксонского полка. И, так сказать, по совместительству видный (конечно, невидный) сотрудник Отдела III-б, то есть контрразведки, подчинявшейся, как и русская, Генштабу.

Указанного ротмистра незамедлительно пропустили к пломбированному. Он произвел «опрос претензий». Ротмистр услышал сдержанно-вежливую благодарность за мясные котлетки с горошком и возможность иметь молоко. Как не благодарить, коли в эмиграции до смерти надоела вегетарьянщина вроде супа из кубиков «Магги»?.. Но здесь, оставив гастрономические разыскания, произношу я пресловутое: «Не верю!»

И капитан Никитин, и Бурцев вслед за ним утверждали: исполняя приказ главкома, грациозно-хрупкий ротмистр доставил Пломбированного № 1, и они, генерал Людендорф и Ульянов, приватно беседовали часа полтора-два.

В котлетки с горошком верю, а в очное randevu не верю. Да, какие-то социалисты загодя обращались к Верховному главнокомандованию с просьбой обеспечить безопасность реэмиграции по территории Германии. Да, предтеча Гитлера считал возвращение «пораженцев» необходимым для развала вражеского фронта и тыла. Да, Людендорф поручил контрразведке контролировать беспрепятственное движение поезда. Все так. Но чтобы он снизошел до беседы с глазу на глаз с одним из главарей

грязного преступного сообщества — это уж извините, это уж дудки... Прибавлю от себя: двадцать лет спустя, на смертном одре, когда истекли все сроки давности, старик уверял, что он никогда не видел ни Ульянова, ни Ленина, ни Ульянова-Ленина...

Ну-с, что делать? Приходится пожимать плечами, от чего «тискальщика руманов» избави Бог: спорит, и нет авторитета, не то что сигарету, а козью ножку не предложат.

Сказать вам правду, перемогаюсь этим текстом, словно хворью. Брожу впотьмах, рискуя плюхой от новомодных разгадывателей тайн.

Возьмите пребывание реэмигрантов в прекрасном городе Стокгольме. В Швеции их встретил верный ленинец Ганецкий, он же Фюрстенберг. Накрыл шведский стол, ах, шведские бифштексы Ильич солил, Ильич перчил, все враз опустошили тридцать пилигримов. Потом их поселили в гостинице «Регина» с умопомрачительной свежестью постельного белья и легким запахом вежеталя. Ганецкий-Фюрстенберг был предан Ульянову без лести. Говорил, что все успешнее ведет дело с Парвусом... И что же? Услышав имена, претендующие быть записанными на обломках самовластья, наш неподкупный фанатик Бурцев принимал боевую стойку. По его сведениям, и тот, и другой добывали деньги не столько спекуляциями, сколько махинациями... Ульянов, казалось бы, то есть Ульянов, вроде бы, сам внаглую утверждал, что он на революцию взял бы займы у самого дьявола. Революция, она же разрушение России, партия, она же, по мнению В. Л., могильщица революции, нуждалась в средствах. И Ульянов это понимал очень хорошо. Деньги брал где угодно, когда угодно, от кого угодно. Не в личный карман. Лично-то они, ульяновские, жили скромнехонько. Бурцев в Париже встретил однажды Троцкого; тот сказал, что направляется в театр и, смеясь, выставил ногу: штиблетами у Ильича одолжился... После Октября, помню, разбирали в Питере церквушку. Слышу, бабушка спрашивает рабочих: чего творите, охальники? Смеются: добыча кирпича по методу Ильича... Источники

материальных средств его не занимали. Он восхищался соратником, который ради денег для партии стал с толстомясой купчихой. Вот, говорил, вы не можете, я не могу, а он может — молодец... Вообще, от прямой добычи держался в стороне, в тени прятался. От встречи с Парвусом отказался, отказ велел занести в протокол... Пусть Ганецкий таскает кашганы из огня. И послушный воле вождя идейный Ганецкий таскал совершенно безыдейно.

Стокгольм, полагал В. Л., в конспиративном отношении сильно уступал Парижу. Для слежки за юркими большевиками достало бы нескольких агентов. Капитан Никитин огорченно разводил руками: у них деньги есть, у нас денег нет; слава Богу, англичане пособляют.

Бурцев, что называется, упрощал. Малым штатом согладатаев не обошлось бы. Сообщаю некоторые топографические особенности. Они доселе весьма способствуют плащам отнюдь не чайльд гарольдов.

Он блещет или хмурятся, фьорд Шепсбрун, но он прекрасен при любой погоде. Иди прогулочню по набережной. Она длиною соперница и питерских. Зато числом пивнушек-кро, подобных англичанским пабам, нам не догнать—не перегнать. Ведь это же не молоко, не мясо, а замечательные явки для мастеров и подмастерьев тайных операций. А чем не хороша Тюскабруннсплан площадь? Там посередке стариннейший колодец с башенкой, вокруг кафе, кафе, кафе. Пройдись, играя тростью, и убедись в отсутствии «хвоста», засим ступай-ка смело на randevу с приезжим и связным. Ганецкий же и Парвус избрали для кратеньких свиданий кофейню, учрежденную когда-то Карлом Ларссеном. Ее найти труда не составляет: Престгаттен, 78. На доме — бюст основателя, родившегося в этом доме в середине восемнадцатого века.

Увы, в Стокгольме капитан Никитин был бессилен. Почти всеильны тут были немцы, подначальные Штайнвахсу, резиденту. Давно он сбрил усы а ля Вильгельм и запустил бо-

родку а ля аландский шкипер. И вот, извольте, телеграмма. Срочная. Берлин, Генштаб: «Въезд Ленина в Россию удался».

Подарим тексту завершенность. Вообразите вихрь на нарах, взрыв восхищенной матерщины. Что так? А это лагерный акын в финале «румана» вдруг сообщил братве: мол, жмурик, спящий в мавзолее, когда-то тыпнул у фрицев-фраеров аж семь миллиардов марок!

Необходим постскрипtum. Предслышу возглас недоверья. Предвижу гневную гримасу. Ну что ж, пожалуйста к Элизабер Хереси (Австрия): известны ей коллекции архива Мининдел години кайзера Вильгельма. Есть документы и в архиве банка — имперского, столичного, на Беренштрассе.

---

Контуженный в окопах капитан еще не дожил до контузии души, хотя, что там скрывать, подчас и находился в прескверном настроении.

Причин к тому немало. Контрразведка и законность — противоречие; пусть не кричащее, зато глубинное. И перманентнейшая нехватка средств. Зависимость от спецслужб — пусть и союзных, но все равно обидная для патриота, чья искренность проверена в атаках.

Борис Владимирович знал: Ганецкий-Фюрстенберг, живущий в прекрасном городе Стокгольме, и Парвус-Гельфанд, обитающий в не менее прекрасном Копенгагене, пьют воду не только из германского колодца, но и срывают куш с коммерции; она имеет вектор русский, всего скорее, петербургский.

С тем вместе капитан был несколько наслышан, что денежными средствами большевиков чрезвычайно озабочен некий Карл Моор. Старик был старше Бурцева (давние знакомые) ровнехонько на десять лет. Но этого же явно недостаточно, чтобы счесть его разбойником из «Разбойников» разведке неизвестного Ф. Шиллера. Впрочем, Карл Моор был сыном немецкого аристократа. Однако, незаконным. И, значит, обиженным на

жизнь. Отсюда, из обиды, как случается нередко, произросли и упования на социализм. Пытался я определить его черты. Нет, не социализма, они нам всем известны, а Моора. Их не нашел в рисунках знаменитого Ходовецкого, посвященных трагедии Шиллера, и бросил все на волю случая. Покамест он не подвернулся, сверну-ка не в богемские леса, приют разбойников, а в Берн, сей постоянный двор для эмигрантов из России. Карл Моор там прожил несколько десятков лет: журналист и депутат парламента кантона, клеветет изгнанников и беглых каторжников. Он помогал когда-то и В. Л. Однако Бурцев отплачивал неблагодарностью, которую он черной не считал.

Моор, видите ли, давно и прочно подставлял плечо Ульянову. Поначалу идейное, позднее материальное. Дружество с Моором Ульянов не афишировал. Оно и понятно. Борис Владимирович посредством доброжелателей в хаки разжился сведениями на тот счет, что Карл Моор, простите, подвизался агентом австрийцев в Берне. Такие, стало быть, богемские леса.

Да черт бы с ним и с его соц. воззрениями, и джентльменом-дипломатом, когда бы не текла валюта в прекрасный городок Стокгольм, а там ладошку подставлял куда как ловкий Ганецкий-Фюрстенберг.

Бурцев и устно, и печатно клеймил поставщиков, а получателей вдвойне, втройне презренного металла. Но имени Моора нигде не называл, и это, право, непонятно.

Э-э, ежели бы только это оставалось непонятным. Чтоб Пломбированного брать, им надо было знать — из чьих же рук, в каком дупле происходила, как нынче бы сказали, обналчка? Сотрудники Никитина, дотошные юристы-следователи, пяпились в грессбухи, а надо было женщину искать.

---

Легко сказать: ищите женщину. Нетрудно молвить: ищите да обряцете. Но вот две женщины, и черта с два поймешь их.

Жили они в доме на rue des Beaux Arts — Лотта, мадам

Бюлье, и Маргарет, мадам Стейнхилл. О Лотте речь была. Вторую называю вам впервые. Причиной — письмо для Бурцева, врученное Никитиным. Да и история Стейнхилл весьма... как бы сказать?.. занятная.

Откуда она была родом, Бурцев не дознавался. Он вообще избегал расспросов о мадам Маргарет; его сдержанность на сей счет объяснить не берусь, как и то, что Лотта, хотя и дружила с соседкой, но как-то помалкивала, не распространялась. Нельзя, однако, сказать, что Бурцев, бывая на *vue des Beaux Arts*, не замечал мадам Стейнхилл. Несмотря на близорукость и рассеянность, очень даже замечал. Да и закоренелый женоненавистник не смог бы отвести глаза от богини-блондинки, никогда и не перед кем не потуплявшей синеокого взора, яркого, как новомодные карбидовые фонари на фиакрах.

Женщина эта имела известность европейскую. А может, и заокеанскую. Не потому, что была певицей или танцовщицей. Не потому, разумеется, что муж ее был живописцем. И не потому, что ее любовником был президент Франции. Ни то, ни другое не разнесло бы ее имя столь широко. А вся штука в том, что Феликс Фор, президент, оказался настолько счастлив, что скончался в объятиях несравненной Маргарет. Завидно, конечно. И потому не удержаться от злорадства. О возрасте не следует забывать, об инфарктах следует помнить. И не усердствовать пуще молодого матроса «на блюдке». Беру в кавычках — так говорил в Кронштадте наш сурьезный политрабочий. Он желал, чтобы матрос, уволенный на берег, спешил бы в «арбитраж». Беру в кавычки: наш политрук имел в виду всего лишь Эрмитаж. Про Фора он и не слышал, но это ничего не значит, а если значит, то разве то, что Лувр предпочтительнее «блюдки».

Аморализм личный счастливчик Фор унес в могилу. Полиция для личного блезира-удовольствия «искала женщину», как заповедовал Сартин, ищейка восемнадцатого века. Но в сущности все поиски — проформа. Что было делать с Маргарет? Гильотинировать? Но, видимо, минздрав вмешался, все объяс-

нил, у президента-де шалило сердце, ее оставили в покое.

Мсье Стейнхилл не ревновал к покойному. И к славе Маргарет остался равнодушен. Поговаривали, она своими ласками не обделяла и живописца. И он, и дочь были две капли. Немало лет прожили, как вдруг... мокруха, господа, мокруха!

Сдается, обалдел бы и Анри Бордо. Академик-моралист так завлекательно-психологически описывал семейные бунты, внутрисемейные борения страстей. Он выронил перо. А комиссар полиции — вставную челюсть.

И вправду, странно, странно, странно. Все были дома. Маргарет и дочь музицировали. Мсье Стейнхилл, живописец, запершись, мучился композицией. И там-то, в своей запертой комнате, в квартире четвертого или пятого этажа, там он и был обнаружен без признаков жизни. Не сердце лопнуло, как от натуги у президента, а шейные жилы выпустили кровь. Медики отвергли самоубийство. Стало быть, невозможно было отвергнуть убийство. Комиссар полиции топтался на месте или попадал в тупик. Маргарет путалась в показаниях. Путаница длилась, длилась, длилась... Наконец, все было, как иногда бывало в русских военных судах, отдано на волю Всевышнего. По воле Его эта женщина жила чуть ли не до девяноста годов. Никогда, даже и на смертном одре, Маргарет Стейнхилл и намеком не наводила на след, кто же грохнул несчастного живописца.

Согласитесь, можно понять молчаливую неприязнь В. Л. к дружескому, если не лесбийскому, общению Лотты с женщиной, осторожно выражаясь, загадочной. К тому же она спала с Фором, а Фор сближался с царем, Бурцев тогда всех, кто с царем сближался, на дух не переносил.

Богине-то и впрямь не откажешь в загадочности. Подумать только — она, она, а не Лотта являлась Бурцеву в рублевом доме над Енисеем. Одумайтесь, вы старики... Нет, опять и снова являлась за Полярным кругом роковая женщина. Не обошлось, уверен, без магии Северного сияния.

А самое странное и загадочное вот: именно Маргарет Стейнхилл и в Петербург явилась. В запечатанном конверте, но явилась. Письмо доставили оказией. В переводе с французского — по случаю. Случай олицетворял военный курьер к Пьеру Лорану, «клястическому мужчине», зав. петроградским филиалом французской спецслужбы.

Оказия должна была бы навести В. Л. на подозрение о связи мадам Стейнхилл со спецслужбами. И — согласно привычкам его мысли — обратить к причинам скоростной смерти забытого президента Фора. Но письмо из Парижа извещало о Лотте, Шарлотте, о мадам Бюлье. И В. Л. внезапно осознал себя лунатиком, очнувшимся на карнизе, над бездной.

---

А женщину нашли!

Ее отыскал ст. агент Касаткин. Он простиительно оплошал, установив наблюдение за подлинным Лениным. А теперь подтвердил свою репутацию. Несправедливо было бы умолчать о руководителе и вдохновителе агентуры никитинской контрразведки — о следователе по особо важным делам Александрове. По мнению Бурцева, Павел Александрович оплошал на допросе по делу провокатора Малиновского — не «довел до логического конца» ни Ульянова, ни Зиновьева. Но теперь и он, Александров, подтвердил и утвердил свое реноме.

Обнаружение женщины было следствием пристального рассмотрения как писем, так и телеграмм по линии Петроград—Стокгольм; Стокгольм—Петроград. Рассмотрения, вполне законного в обстоятельствах военного времени. Вообще же говоря, и Никитин, и его сослуживцы-юристы уже втайне допускали, что пусть уж лучше живет Россия, нежели торжествует юстиция. То есть допускали теоретически возможность несколько вольного обращения с законом. Но практически еще удерживались, что называется, в рамках. И, скажем, для уличения Ульянова даже и графологам предъявляли его письма к

соратнику и одновременно сотруднику немецкого отдела Ш-б. А еще, добавим от себя, возможно было бы хватать его за руку и так — Ульянов с гимназических лет возлюбил почему-то древнегреческую приставку «архи»: «архиосторожно», «архисекретно» и т. д.

Женщину выудили из потока переписки. Г-жа Суменсон жила в Надеждинской ул., летом — в Павловске. Там была кровля. Крышей была торговля медикаментами и химикатами, переправляемыми из Копенгагена, транзитом через Швецию, Финляндию и далее в Петроград. То бишь тем же, собственно, маршрутом, коим следовал Пломбированный и его соратники.

Однако ст. агент Касаткин без промедления и промашки установил, что г-жа Суменсон не столько предприниматель, сколько демимодентка. Так и сообщил письменным рапортом: «демимодентка». Сразу видать, не из деревни г-н Касаткин, петербуржец. Определив статус г-жи Суменсон как дамы полусвета, ст. агент не назвал ее — заметьте! — дамой с камелиями. Ведь эта героиня драмы Дюма, хотя и отличалась не слишком тяжелым поведением, страдала от любви истинной. А вот способна ли г-жа Суменсон на истинное чувство, этого ст. агент Касаткин определять не брался. Он был примерным семьянином. Да и специализировался в наблюдении наружном. А тут требовалось, так сказать, внутреннее.

Последнее капитан Никитин и следователь Александров поручили молодому-неженатому, атлетически сложенному и притом весьма сообразительному секретному сотруднику Я. Сближению с объектом способствовал Павловск, укромная дачка, арендованная г-жой Суменсон. А он, Я., нанял у арендаторши комнату с верандой. Комнату — проходную.

Полногрудая г-жа Суменсон показала дачнику дамой приятной, несмотря на нордический лед ее слабо-голубых глаз. Но во всех ли отношениях приятной? С точки зрения Пломбированного — несомненно, ибо служила дуплом. Конечно,

не ради марксизма, творчески развитого Пломбированным, а ради профита, дивидендов, процента и прочего в том же духе и смысле.

Неутомимый Касаткин продолжил наружку. И установил, что г-жа Суменсон наведывается в Сибирский банк. Следовательно Александров и финансовый спец-эксперт ажиотажно полетели в авто на Невский, 44. И что же? А то, господа, что деньги на счет г-жи Суменсон переводил из Стокгольма г-н Ганецкий-Фюрстенберг! Извольте, гроссбухи, расписки, печатки. В последнее посещение она сняла со своего счета ни много ни мало, а ровнехонько 800 000 рублей.

В продолжение «разработки» агент атлетического сложения указал на верткого господина, который выгребал из дупла наличное и который оказался Козловским, давним эсдеком ленинского пошиба. Насвистывая сквозь зубы что-то похожее на полонез, Мечислав Юльевич поспешал к Пломбированному.\*

Там же, в Павловске, близ живописнейшей Славянки, г-же Суменсон предъявили ордер на арест и доставили в Петроград, на Воскресенскую набережную. Арестованной вообразились жестокие пытки. Ее ледяные нордические глаза растеклись мутными лужицами. В пароксизме она признала бы все что угодно. Однако капитан и его штатские помощники оказались сама любезность, хоть сейчас к Дону ужинать. И г-жа Суменсон признала все из чувства глубокой благодарности.

\* Переносчик денежных средств был вскоре арестован и вскоре же выпущен. После Октябрьской — председатель Следственной комиссии. Помер в 1927 году, не дожив десять лет до Больших процессов.

Признаться, автора больше интересовал «атлетический агент». Капитан Никитин аттестовал его «опытным, несравненным». И зашифровал: «Я-нь». Сразу и подумалось, не Геннадий ли Яблочкин? Но Генка служил тогда в автоброневом дивизионе вместе с будущим писателем В. Шеловским... Ну, хорошо. Не Ягодин ли? Но уж больно нарочитая переключка с Ягодой... Обретались в Питере и два Ягодина. Лейба — провизор, Самуил — инженер. Однако г-жа Суменсон не стала бы с ними амуричить... Был еще Ядыгин. Но этот держал чайную за Невской заставой, на Шлиссельбургском тракте. Дешифровка не удалась. Остается уповать на отгадчивых знатоков «совершенно секретного». — Д. Ю.

Не Бурцеву ли торжествовать?

Не повторял ли В. Л. и печатно, и устно: большевики готовят государственный переворот; нам предстоят страшные испытания — разруха, голод, расчленение. Февраль-март Семнадцатого не величайший ли дар истории? Сохранить этот дар — нет ничего важнее для всех республиканцев без различия оттенков. Народ свободной республики имеет право требовать немедленного расследования преступной деятельности Ленина и К°.

Печатно и устно. Печатно и устно. Не верили. Собак вешали. Точно и не было изобличения обер-иуды Азефа. Винили и клеймили, словно вторя Фигнер, ее анафеме черному человеку. Не принимали, отторгали, зажимали уши. Короленко, большевикам чуждый, морщился: предполагать получение тридцати сребреников — пошлость. Не пошлость, разумеется; однако пошлости-то ленинцам не занимать стать. Фигнер прислала частное письмо. Короленку — открытое, в «Русских ведомостях»: вы, Бурцев, «отголосок непроверенной клеветы». Недурно сказано, Владимир Галактионович! Непроверенная клевета, хм... Ничего, сойдет, Россия верит, сойдет. Знай гвоздит: вы, Бурцев, «открываете простор эпидемии клеветничества как орудия политической борьбы». О-о, не спорю, Владимир Галактионович, не спорю: Ульянов отнюдь не платный агент, Ульянов хуже платного агента, хуже провокатора: он — иуда. Иуда и циник... И теперь, когда Пломбированный прижат к стене, надо добиваться ареста, суда. Добиваться, одолевая смущение, нерешительность, деликатность, патетику Керенского, умеренных социалистов. Гибельное прекраснотушие. Ах, мы с ними одни книги штудировали, в одних тюрьмах сидели!.. Не понимают! Не видят в крайних своих завтрашних могильщиков. Крайние потому и крайние, что выжидают все умеренное...

Теперь, когда все сошлось и встало, как мост, на быки

фактов, надо было бы кричать со всех крыш «караул», бить набат, ночей не спать... Странное действие оказало на него письмо из Парижа. Письмо, как сказали бы нынче, доставленное по каналам спецслужбы. Письмо загадочной женщины, которая снилась в сполохах Северного сияния. И притом, извините, голый, хотя дело-то, сами понимаете, происходило задолго до сексуальной революции, совершенно не предусмотренной ни народниками, ни марксистами.

После ссылки женщины не посещали Бурцева ни во сне, ни наяву, ни голые, ни одетые. От макушки до пят, включая подкорку, В. Л. сублимировался в общественном движении, занятиями под знаком тираннозавра, редакционными хлопотами — журнал «Былое», «Жизнь и Суд», газеты; капитан Никитин, немецкие деньги и немецкие шпионы, и проч., и проч. И вдруг вот это ощущение лунатика, очнувшегося над бездной. Ощущение, привнесенное письмом Маргарет Стейнхилл.

Она по-прежнему жила во втором этаже дома на rue des Beaux Arts, 13, но Лотта уже не жила на третьем этаже этого же дома. М-м Стейнхилл похоронила ее неподалеку от Парижа, на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Отчего именно там, а не в городе, Бурцев не раздумывал. Все его внимание сошло, сдвинулось, как сдвигаются брови к переносице, на цитате «из Лотты». Прочие фразы, числом мизерные, принадлежали отправительнице. Она сообщала о скоротечной чахотке, скосившей ее «дорогую младшую подругу». И далее цитировала то, что Лотта просила дословно передать мсье Бурцофф: «Я виновата. Вы виноваты. Но мы любили друг друга. Все другое не стоит и сентима. Прощайте».

Не повторю расхожее — мол, словам тесно, мыслям просторно. Не к месту. Тут ведь что? А то, что итальянцы называют *atutte cordo*, музыкой на всех струнах.

Бурцев мне ничего не объяснял. Маргарет Стейнхилл ушла в мир иной в возрасте Пиковой Дамы, в середине пятидесятых. Я тогда выбрался из иного мира, но полная реабилитация

не обеспечивала полноты бытия: она исключала заграничные поездки; как тогда говорили, вчерашний зек не принадлежит к сегодняшним «выездным».

Понятное дело, ничего не смею утверждать. Смею лишь предполагать. Опять на уме Лоттины предложения петербургской тайной полиции и щелканье замка в каюте марсельской шхуны, Бурцев в английской каторжной тюрьме... И опять в ушах баритональный голос директора департамента, там, на Фонтанке, голос г-на Дурново: «А не затеял ли Бурцев какую-то хитрую комбинацию с этой взбалмошной мадам?».

Я повторяюсь. Но рефрен, рефрен, случается, куда как нужен, иначе не поймешь, что с Бурцевым. Он выбит из седла. Сказал себе: ты, брат, и вправду черный человек. Вот Пломбированный употребил беднягу Малиновского, а ты хотел распорядиться Лоттой как заложницей. Положим, все это давным-давно. Но было, было, было. Таким поступкам нету срока давности.

Было, но не прошло, не сплыло. Как и письмо от Фигнер. Опять шуршали листья в Люксембургском саде, и на краю бассейна с золотыми рыбками тихонько напевала полубезумная старуха, а рядом садился на скамью пределикатнейший из незнакомцев. Да, Рильке. Доселе этого не знал В. Л., и это автору обидно, и ничего уж не поправишь.

Гони обиды прочь. Глядись не в зеркала, они тебе соврнут. Гляди-ка в окна. Своим усердием хозяйки сообщают стеклам блеск живой — так мой поэт еще недавно сообщал простым словам. Ну, хорошо. Теперь ты медленно и плавно разведи-ка створки вправо, влево, вправо, влево. Возникнут отраженья: крыльцо, скамья, большая бочка для дождевой воды, клумба. И встанет Сад. Хоть лето на дворе, ты, улыбаясь, замурлычешь: «Снился мне сад в подвенечном уборе...»

Были распахнутые настежь окна, была веранда, стол круглый под белой скатертью. Старик спросил: «Вам, флота лейтенант, сухие вина не по вкусу?». И я ответил в такт и в лад: «Про-

шу прощенья, да. В особенности хванчкара». В конце концов я был уже не просто лейтенант, а старший лейтенант, что, извините, не одно и то же. К тому же обладал чрезвычайной информацией. Приятель, черноморец, служил на «Молотове», а крейсер посетил тов. Сталин, и оказалось, что генералиссимус большой ценитель хванчкары. И в этом соль ответа.

Прить офицера была нехстаги. Точнее, неприятна стрельному воробью. Ему случалось в клетке сидеть. Чекисты, стряпая очередной процесс врагов народа, «назначили» Тарле министром иностранных дел при реставрации капитализма, которая, как видите, чертовски запоздала. Историк очутился в зоне, в Лодейном поле. Он поле перешел, жизнь продолжалась. В Можинке, вблизи от звонкой Москвы-реки, вблизи Звенигорода, не отдыхал — работал. Меня, архивного старателя, он поощрял. И потому он говорил мне по-старинному, не «лейтенант», а «флота лейтенант»; а «старший» — это ж в корабельной старине не чин, а должность.

Тарле тогда уж был похож на старика Наполеона — на лбу серо-седая прядь, плотная посадка головы и полнота телесная. Что? А-а, Наполеон до старости не дожил? Но я таким его вообразил. И не ошибся.

Все помню, как сейчас.

Известно ль вам, что это значит? По мне, нерасторжимость вечности и дня, момент слияния минувшего с грядущим. Все вместе схвачено — и это: «как сейчас».

В сей час В. Л. отправился в «Былое».

Как прежде, в годину генеральной репетиции, так и теперь, в год первый и последний демократических свобод, журнал «Былое» по справедливости считался детищем В. Л. А детище куда как требовательно. И дела нет ему до самоосуждения учредителя. В. Л. идет в редакцию на совещанье соредакторов. Уже в прихожей слышен бас громаднейшего Щеголева и встречный голос, знакомый не только Бурцеву: «Позвольте вам заметить...» — возражал Евгений Викторович Тарле —

сотрудник, как и Щеголев, В. Л. в издании «Былого».

Опять явление «как сейчас». И это значит, дача в Можинке, и перезвон воды на камешках, и мост в Звенигород, и монастырь, забвенью преданный, и незабвенный лес, столь таповатый на грибы-боровики, что на опушке скупщик-скряга торчал с полудня в лавке от заготконторы.

А хорошо бы вновь и наяву мне посетить тот уголок земли. Однако дьявол дернул произнести на даче Тарле название пресловутого вина. На этот звук о н припожаловал. Неможно речь вести ни о реке, ни о заречье.

В Курейке кавказского вина не пил даже Кибилов (не поэт — исправник). И тов. Сталин-Джугашвили о хванчкаре лишь вспоминал, как Федя Кирпичев, иссохший зек, двенадцать лет все вспоминал яичницу (см. выше). В курейские кануны тов. Джугашвили-Сталин, бывало, пил кавказское вино в отдельном кабинете ресторана — кокотками припахивало, а за стеною, в зале, дребезжало фортепиано. Ну, а теперь... Теперь уж Виссарьоныч не идет на randеву с Белецким или Виссарионовым. И не идет тов. Джугашвили-Сталин в «Правду». Он ищет Бурцева, идет в «Былое».

Давыдов Юрий Владимирович .

**БЕСТСЕЛЛЕР**

Редакторы *О.В. Трунова, Е.А. Шкловский*

Корректор *С.И. Селянина*

Верстка *Л. Н. Ланцовой*

**ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»**

Адрес издательства:

129626, Москва,

абонентный ящик 55

тел. (095) 976-47-88

факс (095) 977-08-28

e-mail: [nlo.ltd@g23.relcom.ru](mailto:nlo.ltd@g23.relcom.ru)

ЛР № 061083 от 6.05.1997

Формат 84x108  $\frac{1}{32}$ . Бумага офсетная № 1.

Офсетная печать. Печ. л. 10.

Отпечатано с оригинал-макета в ППП Типография «Наука»  
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ № 1299

Серия «Научная библиотека»

**О. Проскурин. ПОЭЗИЯ ПУШКИНА,  
ИЛИ ПОДВИЖНЫЙ ПАЛИМПЕСТ**

В книге рассматривается эволюция поэзии Пушкина в ее диалоге с русской поэтической традицией. Встреча Жуковского, Батюшкова и Ивана Баркова в «Руслане и Людмиле»; пародические подтексты южных поэм; Владимир Ленский как поэт-порнограф; деконструкция элегии и баллады в поэзии 1820-х годов; превращение мифа о священном государстве в миф о сакральной личности в поздней пушкинской лирике — таковы некоторые из тем новой монографии. В «Приложениях» вошли работы, в которых показана связь панталонов, фрака и жилета с полемикой о старом и новом слоге («Евгений Онегин»).

**М. Могильнер. МИФОЛОГИЯ «ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»:**  
радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа

Книга посвящена исследованию радикальной мифологии начала XX века, под влиянием которой находилась дореволюционная леворадикальная интеллигенция. Автор выявляет корни этой мифологии, обнаруживая многие из них в художественной словесности того времени. Анализ литературных произведений, героями которых были подпольные террористы, профессиональные революционеры и пр., позволяет проследить связь идеалов и ценностей интеллигенции с политикой, социальное функционирование соответствующих мифов.

**Б. Ф. Егоров. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Ю. М. ЛОТМАНА**

Книга известного литературоведа Б. Ф. Егорова посвящена жизни и творчеству выдающегося ученого-филолога, историка литературы, культуролога, семиотика, пролагателя новых путей в области гуманитарных знаний, основателя и главы знаменитой Тартуской школы Ю. М. Лотмана. В своем исследовании многолетний друг и соратник Лотмана Б. Ф. Егоров соединяет житейскую биографию ученого с обстоятельным анализом его научного наследия. В книгу включены также военные воспоминания самого Лотмана и другие материалы.

Серия «Критика и эссеистика»

Л. Зорин. **ЗЕЛЕННЫЕ ТЕТРАДИ**

Новую книгу известного драматурга и писателя составили записи, охватывающие более чем полувековой период. Если мемуарный роман Леонида Зорина «Авансцена» — биография автора и его времени, то «Зеленые тетради» можно назвать уникальной биографией мысли. Блестящий интеллект, острота и независимость суждений, эрудиция, безусловно, привлекут внимание самого взыскательного читателя.

Г. Чхартишвили. **ПИСАТЕЛЬ И САМОУБИЙСТВО**

Книга посвящена всестороннему исследованию одной из самых драматичных проблем человечества — феномена самоубийства. Рассматривая исторический, юридический, религиозный, этический, философский и иные аспекты «худшего из грехов», книга уделяет особое внимание судьбам литераторов-самоубийц — не только потому, что писателей относят к так называемой «группе высокого суицидального риска», но еще и потому, что homo scribens является наиболее ярким и удобным для изучения носителем видовых черт homo sapiens. Последняя часть книги — «Энциклопедия литературицида» — содержит более 350 биографических справок о писателях, добровольно ушедших из жизни.

А. Генис. **ИВАН ПЕТРОВИЧ УМЕР**

Статьи и расследования

Сборник эссе известного критика, культуролога и публициста Александра Гениса, автора многих популярных книг, посвящен современной литературе и культуре — как отечественной, так и зарубежной. Среди его героев — А. Синявский, А. Битов, В. Маканин, С. Довлатов, С. Соколов, В. Сорокин, В. Пелевин, Т. Толстая, И. Бродский, Э. Паунд, У. Стивенс, Д. Даррелл и другие, анализируется творчество таких художников, как Ш. Окштейн, В. Бахчанян, Ж. Шеф. Со свойственными ему наблюдательностью и остроумием автор размышляет о таких явлениях, как татуировка, американская кухня и советская кулинария, а также о разных прочих увлекательных предметах.

**И Холин. ИЗБРАННОЕ. Стихи и поэмы**

Игорь Сергеевич Холин (1920—1999) — замечательный русский поэт, прозаик, представитель так называемой лианозовской школы, одна из самых ярких фигур российского литературного андеграунда. В советское время издавались лишь его детские книги. Первые две небольшие книжки писателя вышли в 1989 году: «Стихотворения с посвящениями» — в Париже и «Жители барака» — в Москве. Настоящее издание — первое полное собрание поэтических произведений Игоря Холина.

**ЛИЧНОЕ ДЕЛО-2. Художественно-поэтический сборник**

В конце 1980-х годов возникла поэтическая группа «Альманах», одной из целей которой были совместные регулярные выступления. В группу вошли семеро эстетически разнородных, но объединенных многолетним дружеским общением поэтов: М. Айзенберг, С. Гандлевский, Т. Кибиров, В. Коваль, Д. Новиков, Д.А. Пригов и Л. Рубинштейн, а также певец А. Липский. Апогеем существования «Альманаха» стал вышедший в 1991 художественно-поэтический сборник «Личное дело №», ныне почти библиографическая редкость. «Личное дело-2» — своего рода юбилейно-ностальгический сборник, в оформлении которого принял участие художник В. Сулягин.

**Г. Балл. ВВЕРХ ЗА ТИШИНОЙ. Рассказы.**

Георгий Балл — известный прозаик, автор более двадцати книг. Работа писателя в жанре короткого рассказа была отмечена несколькими литературными премиями. В творчестве Г. Балла стирается грань между чудом и явью, между жизнью и смертью. Все, что происходит с его героями, одновременно и обыденно и странно: свобода вдруг оборачивается одиночеством, ощущение полета — чувством безысходной тоски, отчаяние — внезапным катарсисом.

**И. Бродский. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Книга-альбом представляет собой уникальный сплав разнообразного фотоматериала, отображающего современную российскую жизнь, с текстом поэмы И. Бродского «Представление». Неожиданные ракурсы, которые запечатлел объектив известного художника О. Смирнова, в сочетании со стихами великого поэта, особенно ярко приоткрывают драматизм сегодняшней жизни страны.

**А. Каменский. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII ВЕКЕ:  
ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Книга известного отечественного историка Александра Каменского посвящена русскому XVIII веку — веку Просвещения. Именно для этого времени был характерен процесс модернизации, процесс преобразований, постепенно превращавших старую, традиционную Русь в «Россию молодую», новую.

**С. Файбисович. РУССКИЕ НОВЫЕ И НЕНОВЫЕ.**  
Эссе о главном

Эта книга — о сегодняшних метаморфозах нашего общества, о том, как трудно расстается оно со старыми мифами и как легко подпадает под власть новых. Эта книга — о наших нравах, о трудном пути страны в цивилизацию. Написанная остро, иронично, подчас с нескрываемым сарказмом, она дает яркое представление о парадоксах становления демократии, о сложных и противоречивых процессах, происходящих в политике, в общественной жизни, в городском быту, и прежде всего в сфере культуры — в живописи, архитектуре, скульптуре, литературе.

Серия «Россия в мемуарах»

**Н.А. Варенцов. СЛЫШАННОЕ. ВИДЕННОЕ.  
ПЕРЕДУМАННОЕ. ПЕРЕЖИТОЕ**

Воспоминания видного московского предпринимателя и общественного деятеля Н.А. Варенцова (1862—1947) охватывают период с середины XIX в. по 1905 г., в них описывается история становления и развития крупнейших московских фирм, банков, торговых домов, даны яркие характеристики их владельцев; книга содержит также бытовые зарисовки купеческой жизни Москвы и изложение драматических и анекдотических событий из жизни московских предпринимателей.

**В.Н. Харузина. ПРОШЛОЕ. ВОСПОМИНАНИЯ  
ДЕТСКИХ И ОТРОЧЕСКИХ ЛЕТ**

В.Н. Харузина (1866—1931), первая русская женщина, получившая звание профессора этнографии, демонстрирует в своих впервые публикуемых мемуарах не только профессиональную наблюдательность и незаурядную память, но и блестящие литературные способности, которые позволили ей создать выразительную картину быта и нравов московского купечества второй половины XIX века.

**А.Д. Галахов. ЗАПИСКИ ЧЕЛОВЕКА**

В мемуарах известного литератора и педагога середины 19 в. ярко обрисованы помещичий быт и провинциальная жизнь начала 19 в., московский университет 1820-х гг., актерская среда Москвы того времени, литературная Москва 1830—1840-х гг. (в т.ч. Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, М.П. Погодин, М.Н. Катков, И.С. Тургенев, А.А. Григорьев и многие другие). Благодаря выразительному языку, живости описаний и точности психологических характеристик воспоминания Галахова обладают не только информационной, но и высокой литературной ценностью.

## АКАДЕМИЯ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Академия русской современной словесности (Коллегия литературных критиков) учреждена как общественная организация в конце 1997 года.

АРСС — принципиально новая некоммерческая институция, создание которой непосредственно способствует формированию постсоветской инфраструктуры российской культуры.

АРСС ставит перед собой следующие задачи:

- поиск новых форм литературной деятельности в условиях открытого общества;
- повышение общественного авторитета писателя, статуса литературного критика, словесности в целом;
- взаимодействие писателей и критиков из регионов с литературной общественностью Москвы и Петербурга;
- организация независимого диалога литературной общественности с местной и федеральной политической элитами, способствующего формированию в России собственной демократической традиции, которая опиралась бы на лучшие традиции русской культуры;
- формирование цивилизованного книжного рынка;
- содействие сохранению и развитию русского литературного языка.

В центре романа Юрия Давыдова — фигура В. Л. Бурцева, «знаменитого» охотника за провокаторами». Перед читателями проходят также исторические лица, как Азеф, Роман Малиновский, Ленин, Сталин, агенты охраны, революционеры, приоткрываются малоизвестные факты, проливающие неожиданный свет на до сих пор подернутые завесой тайны события российской истории XX века.

Роман «Бестселлер» [книга первая] удостоен Большой премии имени Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности [АРСС] за 1999 год.

ISBN 5-86793-079-3



9 795867 930799

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ